

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ВОПРОСЫ
СЛАВЯНСКОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВЫПУСК

3



ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

И Н С Т И Т У Т С Л А В Я Н О В Е Д Е Н И Я

ВОПРОСЫ
СЛАВЯНСКОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВЫПУСК

3



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Москва — 1958

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

С. Б. БЕРНШТЕЙН (ответственный редактор),
Н. И. ТОЛСТОЙ, В. Н. ТОПОРОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Третий выпуск „Вопросов славянского языкоznания“ посвящен балто-славянским языковым отношениям. Как в кругу общих индоевропейских проблем, так и специально славянских эти отношения занимают видное место. Историки праславянского языка широко привлекают материал балтийских языков, который дает возможность установить ряд важнейших процессов праславянского периода. Широко обсуждаются вопросы, связанные с так называемым „балто-славянским языковым единством“. Однако до сих пор многие важные вопросы еще не решены. По многим из них среди специалистов нет единства во взглядах (об этом подробно см. в статье В. Н. Топорова „Новые работы в области изучения балто-славянских языковых отношений“). Никак нельзя согласиться с утверждением акад. Т. Лера-Славинского, что „вопрос о балто-славянской языковой общности, бывший предметом продолжительных научных споров, ныне можно считать разрешенным в положительном смысле“. В этом направлении предстоит еще большая работа, результаты которой трудно сейчас предвидеть.

Сектор славянского языкоznания Института славяноведения АН СССР уделяет балто-славянским языковым отношениям в настоящее время большое внимание в связи с работой над сравнительной грамматикой славянских языков. К этой работе привлекаются специалисты по литовскому языку, работающие в Вильнюсе. В данном выпуске публикуется большое исследование молодого литовского лингвиста З. П. Зинкевичюса „Некоторые вопросы образования местоименных прилагательных в литовском языке“, в котором автор убедительно показывает, что наличие местоименных прилагательных в балтийских и в славянских языках, близких по словообразованию и синтаксическим функциям, не может свидетельствовать в пользу наличия „балто-славянского языка“, так как „слияние прилагательного с местоимением в одно слово в обеих группах языков (балтийской и славянской) осуществилось независимо и в разное время“. Публикуются также статьи В. Мажюлиса и хроника об изучении литовского языка в Литовской ССР.

Выпуск открывается статьями виднейших польских лингвистов акад. Т. Лера-Славинского и акад. Е. Куриловича, посвященными различным вопросам балто-славянских языковых связей и проблемам славянского этногенеза. В сборнике представлены также статьи этимологического характера (В. В. Иванова, В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева).

Т. ЛЕР-СПЛАВИНСКИЙ

БАЛТО-СЛАВЯНСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ОБЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ЭТНОГЕНЕЗА СЛАВЯН

Вопрос о балто-славянской языковой общности, бывший предметом продолжительных научных споров, ныне можно считать разрешенным в положительном смысле. Все новейшие работы, посвященные этому вопросу в последние годы, прежде всего Е. Куриловича, Э. Френкеля, Я. Сафаревича, А. Вайана, П. Арумаа, Я. Отрембского и написанные несколько раньше мои работы¹ признают эту общность и различаются лишь подбором языкового материала и некоторыми деталями в постановке вопроса. Не будем здесь ни повторять аргументов, выдвигаемых этими авторами, ни приводить дополнительного фактического материала. Со своей стороны, я хочу обратить внимание на другую сторону вопроса, имеющую большое значение для проблемы этногенеза: каким образом и когда произошло распадение балто-славянской языковой общности и вступление славянской группы на путь самостоятельного развития? Помимо моих работ, касающихся происхождения и прародины славян, этим вопросам посвятил внимание один только Я. Сафаревич, который, исходя из наличия (несмотря на основную общность) все же довольно значительных различий между грамматическими системами славянских и балтийских языков, считает, что разрушение языковой связи между этими группами должно было произойти в сравнительно отдаленном прошлом, и ставит вопрос о возможных причинах распадения балто-славянской языковой общности. Автор выдвигает теоретический тезис: „Распадение общего языка на две самостоятельно развивающиеся группы можно объяснить двояким образом: или племена, которые некогда объединял общий язык, разделились на две группы, утратившие друг с другом географический контакт, или же мог произойти раздел на политической почве, который провел границу через населенную ими территорию, так что обе группы, продолжая жить друг с другом в географическом соседстве, утратили языковую связь“². Из этих альтернатив относительно балто-славянских отношений Сафа-

¹ J. Kuryłowicz. L'accentuation des langues indo-européennes. Kraków, 1952, стр. 193 и след.; E. Fraenkel. Die baltischen Sprachen. Heidelberg, 1950; A. Vaillant. Grammaire comparée des langues slaves, I. Phonétique. Lyon, 1950; J. Safarewicz. Przyczynki do zagadnienia wspólnoty bałto-słowiańskiej. „Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności“, t. XLVI, № 7. Kraków, 1945, стр. 199 и след.; T. Lehr-Sławinski. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946; его же. Wspólnota językowa bałto-słowiańska a zagadnienie etnogenezy Słowian. „Slavia Antiqua“, t. III, 1953, стр. 1—22; E. Otrembski. Славяно-балтийское языковое единство. „Вопросы языкоznания“, 1954, № 5, стр. 27—42; № 6, стр. 28—46; P. Arumaa. Die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Baltisch und Slavisch. „Zeitschrift für slavische Philologie“, Bd. XXIV, стр. 9—28.

² J. Safarewicz. Указ. соч., стр. 201.

ревич считает правдоподобной только вторую, „ибо никакие языковые факты не указывают на отделение друг от друга этих групп в географическом смысле. Их взаимная связь несомненна до конца балто-славянской эпохи, а в древнейшую историческую эпоху балты и славяне также являются непосредственными соседями, на что указывают старые славянские заимствования в балтийских языках. Таким образом, данные языкоznания склоняют к выводу, что разрушение языковой общности наступило без утраты географического контакта“³.

Причину распадения балто-славянской общности на две группы, несмотря на продолжавшееся географическое соседство, Сафаревич усматривает в воздействии каких-то внешних факторов: „Следует признать, — пишет он, — что нашествие каких-то других племен повлекло за собой продолжительный раздел населенной ими территории и что на части территории, захваченной этими племенами, образовался центр формирования нового общего языка“⁴. По мнению Сафаревича, на основании данных языкоznания можно допустить только две возможности: это были или германские или иранские племена. Первую из них автор отбрасывает по хронологическим соображениям, считая, что распадение общности балтийских и славянских племен произошло значительно раньше, чем они вошли в соприкосновение с германцами. В пользу нашествия иранских племен говорят, по его мнению, сравнительно многочисленные совпадения между иранским и славянским языками в области лексики. Это склоняет его к выводу, что причиной распадения балто-славянской общности было нашествие иранских племен. При этом он, однако, подчеркивает, что хотя это и единственный вывод, к какому приводят современные данные языкоznания, но „нельзя забывать о том, что с конца эпохи балто-славянской общности (примерно с середины второго тысячелетия до н. э.) и до начала исторической — с точки зрения языкоznания — эпохи (примерно до середины первого тысячелетия н. э.) нет данных, основанных на языковых фактах о судьбе балтийских и славянских племен“⁵. Автор считает, таким образом, что „задачей специалистов других родственных наук является сопоставить данные языкоznания с их собственными выводами“⁶. Окончательное разрешение проблемы причины распадения балто-славянской общности автор предоставляет, таким образом, представителям других наук.

Окончательные выводы, к каким приходит Сафаревич, требуют уточнений, касающихся двух пунктов:

1. Его справедливое мнение о том, что нашествие германских племен не могло быть фактором, сыгравшим решающую роль в разрушении балто-славянской языковой общности, находящееся в полном противоречии с точкой зрения А. Вайана, который в своей „Сравнительной грамматике славянских языков“ приписывает столь важную роль именно этому нашествию, требует более тщательного обоснования, чем то, какое дает Сафаревич в своем опять-таки справедливом, но слишком общем замечании, что „это предположение мало правдоподобно по хронологическим соображениям“⁷. Нетрудно найти решающие с точки зрения языкоznания аргументы в его пользу. Если принять во внимание факт, что слова германского происхождения подверглись у праславян во всех случаях, где имелись соответствующие фонетические условия, так называемой второй палатализации заднеязычных согласных (ср.

³ J. Safarewicz. Указ. соч., стр. 201.

⁴ Там же, стр. 202.

⁵ Там же.

⁶ Там же.

⁷ Там же.

праслав. *cíky*, герм., м. б. готск. *kyryko, chiricha*; праслав. *cēta*, герм. *kinta*, готск. *kintus*; праслав. *къре́зь* — готск. *kunings*; праслав. *rēnēzь*, герм. *rening-*; праслав. *scylēzь*, ст.-церк.-слав. *stiblēzь*, готск. *skilings* и т. д.), тогда как нет примеров такого рода, указывающих на явление так называемой первой палатализации⁸, то следует принять, что в эпоху близкого соприкосновения праславян с германскими племенами, способствующего более сильному воздействию языка германских племен на их язык, процесс преобразования смягченных *k'*, *g'* в *c*, *z* или еще происходил, или недавно завершился и еще был живым процессом. В развитии праславянского языка это был сравнительно поздний процесс, которому во всяком случае предшествовали два требовавших несомненно продолжительного времени фонетических процесса — монофтонгизации двугласных, результаты которой повлекли за собой именно вторичное смягчение заднеязычных согласных, и еще более ранний процесс так называемой первой палатализации этих согласных, результатом которой был переход *k'*, *g'* *χ'* в *č*, *ž*, *š*. Вследствие того, что оба эти процесса во всяком случае совершились на почве уже выделившегося праславянского языка, ибо оба, как известно, отсутствуют в балтийских языках, не подлежит сомнению, что в эпоху распространения германских влияний на славянские языки в области лексики балто-славянская языковая общность уже была давно разрушена. А ввиду того, что распространение этих влияний можно объяснить единственно лишь появлением готов и гепидов в низовьях Вислы и переходом этих племен в юго-восточном направлении через территории, занятые славянами (что, соответственно историческим и археологическим данным, приходится на первые два-три столетия нашей эры), не подлежит сомнению, что нашествие этих германских племен нельзя считать фактором, сыгравшим решающую роль в разрушении балто-славянской языковой общности: оно наступило во всяком случае значительно раньше. Можно ли его объяснить „нашествием иранских племен“ на славянские территории, как это предполагает Сафаревич, оставляя, впрочем, место для других — не языковедческих толкований, — вот вопрос, возникающий в связи с положениями Сафаревича.

2. Если принять, исходя, как это предлагает Сафаревич, исключительно из языковедческих соображений, что нашествие иранских племен, начиная с VII в. до н. э. скотов и в IV—III вв. до н. э. сарматов, на земли, населенные славянами, было подлинной причиной разрушения балто-славянской языковой общности, надо было бы указать на наличие в славянской языковой группе таких элементов граммати-

⁸ В качестве аргумента против этой точки зрения здесь можно было бы указать на три славянских заимствования из иностранных языков с переходом согласных *k*, *g* > *č*, *ž*: *ceršnja* (др.-в.-нем. *kirsa*), *tećь* (готск. *tēkeis*), *križь* (др.-в.-нем. *chrusi*). Однако ни один из этих примеров не может быть серьезно принят в расчет: *ceršnja*, *cerša* происходит не от др.-в.-нем. *kirsa*, а от нар. лат. *ceresia* (ср. Bergkener (EW, I, стр. 149), ибо в противном случае следовало бы ожидать в первом слоге этого слова развития праславянского *г* (а не *-er-* (*tert*); ср. готск. *kirika* — праслав. *cíky*); звучание *с* в начале этого слова следует, таким образом, приписать не первой праславянской палатализации, а его романскому произношению. Германское происхождение слова *tećь*, как известно, не бесспорно [Bergkener (EW, II, стр. 30), учитывая фонетические трудности (готск. *tēki* перешло бы в слав. *тēćь*, а не *tećь* или *тēbъ*), склоняется к заключению, что это или коренное славянское слово (с корнем, близким лат. *mactare*), или общее для славян и германцев заимствование из какого-то более раннего, не известного нам источника]. Последнее из этих слов *križь* — если принять, что оно происходит от др.-в.-нем. *kruzi*, *chrusi* — должно было бы принять славянскую форму *križь*, а не *križь*, исходя из чего Бернекер (EW, I, стр. 619) усматривает здесь романский источник (Бартоли предполагал юн-тридент *kruž* < нар. лат. *crucem*), а во всяком случае это столь позднее заимствование, что его нельзя безоговорочно считать праславянским.

ческого строя и лексики, которыми она отличалась бы от балтийской языковой группы и которые сближали бы ее с иранскими племенами, — элементов столь существенных для ее языковой системы, чтобы они в достаточной степени объяснили различие между системами славянских и балтийских языков. Однако можно, не колеблясь, сказать, что такого рода элементов мы не найдем.

Из элементов грамматической структуры, общих для славянских и иранских языков и отсутствующих в балтийских языках, заслуживает внимания в сущности лишь только большее число случаев перемещения назад места произношения первичного *s*, имевшее место у славян и у иранцев не только в положении после *r* — как и в балтийских языках, — но также и после *i*, *u*, *k*, чего не было в балтийских языках. (Ср., например, праслав. *trъхъ* — лит. *trisū*, праслав. *ухо*, лит. *ausis* и т. п.) Однако это явление не касается самых основ языковой системы и недостаточно характерно для обособленного развития этих двух языковых ветвей. Так же обстоит дело и с явлениями в области лексики: в результате продолжительной дискуссии, которая велась десять с лишним лет назад по вопросу славяно-иранских лексических связей, в сущности, только одно слово праслав. *torog* было признано несомненным заимствованием от иранцев, а все другие, которые обыкновенно приводятся в этой связи (praslav. *vatra*, *korguj*, *sobaka*) вызывают обоснованные сомнения — не столько относительно их иранского происхождения, как в отношении того, попали ли они к славянам непосредственно от иранцев, или значительно позже через посредство других — турецких или финских — языков. Кроме того, бесспорно иранского происхождения имя славянского божества *Svarožitj* или *Svarog*, что несомненно связано с иранскими влияниями на славян в области религиозного культа, о чем свидетельствуют совпадения значений таких слов, как *бог*, *свет* и т. д.⁹. Это, наряду с некоторыми археологическими данными, свидетельствует о довольно сильных культурных влияниях на славян иранских племен, особенно скифов, но, однако, не дает достаточных оснований приписывать иранцам столь существенную роль в формировании комплекса этническо-языковых отношений на территории, занятой славянами, чтобы можно было считать их нашествие на эти территории *causa efficiens* разрушения балто-славянской языковой общности. В пользу такого положения надо было бы поискать аргументов вне языкоznания, учитывая, что эта роль могла основываться на политических условиях, сложившихся в результате нашествия иранских скифов на территории, населенные славянами. Нашествие скифов и образование ими мощного государства на этих территориях могло способствовать разрушению культурно-языковых связей между балтийскими и славянскими племенами. Но у нас нет достаточных оснований для такого рода выводов, а, наоборот, имеются данные, которые им противоречат. Все, что мы знаем на основании археологических материалов об экспансии скифов на территории славян, говорит единственно лишь о том, что набеги скифов в V—IV вв.

⁹ Славяно-иранским взаимоотношениям в области языка вслед за более ранним очерком Розводовского (*„Les rapports du vocabulaire entre les langues slaves et iranienes“*. *Rocznik orientalistyczny*, 1, стр. 95—110) посвятил специальную работу Г. Арнц (*„Sprachliche Beziehungen zwischen Arisch und Baltoslawisch“*. Heidelberg, 1935), содержащую полный обзор всех совпадений в грамматическом строе и словарном составе арийских (индо-иранских) и балто-славянских языков, не учитывая, однако, в достаточной степени различий употребления этих элементов в пределах балто-славянской языковой группы. Ср. также замечания на эту тему в моей книге *„O происхождении и прародине славян“* (*„O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian“*. Poznań, 1946, стр. 31, 150).

до н. э. простирались далеко на запад — до Моравии, Силезии и Лужиц, а на севере до Кuyав и до Поморья, — но что они носили временный характер, исключающий возможность установления господства скифов на этих землях. По всей вероятности, только в восточной части территории лужицкой культуры (т. е. позже — славянских земель) можно признать временное существование какого-то скифского государства¹⁰. Но такой лишь временный захват иранскими племенами восточной части территории, населенной славянами, не может быть достаточным подтверждением выдвинутого Сафаревичем предположения, что их нашествие было причиной выделения славян из прежней балто-славянской языковой общности. Для разрешения проблемы разрушения этой общности надо обратиться к более отдаленному прошлому и соответственно с мнением того же автора — вследствие отсутствия языковых данных, касающихся древнейших периодов, которые могли бы пролить свет на судьбы балтийских и славянских племен, поискать ответа у других наук, в первую очередь у доисторической археологии, стремясь согласовать их данные с выводами, доставляемыми сравнительным языкознанием.

В книге „О происхождении и прародине славян“ я выдвинул предположение, что фактором, повлекшим за собой выделение праславян из общего с предками балтийских племен этническо-языкового комплекса, была экспансия племен, создавших так называемую лужицкую культуру. Эта культура сложилась в третий период бронзового века (т. е. между 1300—1000 гг. до н. э.) и охватила в течение двух-трех столетий обширные пространства, значительно превосходившие первоначальную территорию своего распространения (Лужица, Силезия и южная часть Великой Польши), она распространилась на территорию по обе стороны Судетских гор, включая Моравию, Словакию, Малопольшу, остальную часть Великой Польши, а также Поморье по обе стороны низовьев Одера и Вислы, западную часть позднейшей Восточной Пруссии и все первоначальное Мазовшче. Ответвления этой культуры простирались еще дальше на северо-восток вдоль Балтийского побережья, ее следы встречаются на Самбийском полуострове и в районе Гродно, а по всей вероятности, могли бы быть обнаружены и еще дальше на севере, если бы там были проведены археологические раскопки. Однако в этом направлении экспансия лужицкой культуры была, по-видимому, значительно слабее, и вскоре лужицкая культура растворилась среди других местных культур. Более мощной была экспансия лужицкой культуры в юго-западном и южном направлениях, где она перешла через Карпаты и охватила Словакию и Венгерскую низменность, а также Саксонию, Чехию, центральную и южную Германию. Там она везде оставила отчетливые следы, которые, однако, не стали преобладающим элементом в культуре этих стран, как в бассейне Одера и Вислы. Несколько позже (примерно в VIII—VII вв. до н. э.) экспансия лужицкой культуры направилась также со значительной силой на восток и в ранний период железного века (т. е. приблизительно в 700—400 гг. до н. э.) распространилась на территории Волыни, Подолии и части Украины. Здесь лужицкая культура вошла в соприкосновение с издавна существовавшей там, по крайней мере с древнего периода бронзового века (т. е. 1500—1300 гг. до н. э.), так называемой комаровской культурой, которая несомненно была создана фракийскими племенами и связана своим происхождением с древнейшим

¹⁰ Cp. I. Sulimierski. Kultura Łużycka a Scytowie. „Wiadomości Archeologiczne“, t. VI, str. 76—97.

кругом так называемой трипольской культуры. Это наслаждение привело в конце бронзового века и в начале железного (т. е. примерно 800—600 гг. до н. э.) к образованию культурного комплекса смешанного характера, но с отчетливым преобладанием „лужицких“ элементов, комплекса, известного в науке под названием высоцкой культуры (по могильнику в Высоцке, Бродского района). Этот комплекс, зачастую отождествляемый с упоминаемым у Геродота в V в. до н. э. племенем невров, некоторые советские ученые, в первую очередь М. И. Артамонов, вполне справедливо считают переходным звеном, весьма способствовавшим распространению лужицких элементов на востоке и в результате этого — в конце периода гальштатской культуры — значительному сближению в отношении культуры между средним Поднепровьем и бассейнами Одера и Вислы. В VI в. до н. э. здесь появляются изделия из бронзы и керамики лужицкого типа и высоцкого типа, и — что особенно важно — распространяется похоронный обряд трупосожжения, который на территории лужицкой культуры является преобладающей формой задолго до его распространения на территории расселения скотов¹¹.

На этой почве в последние столетия до нашей эры происходит столь сильное сближение культуры среднего Поднепровья, т. е. так называемой культуры „полей погребений“, с господствовавшей в то время на территории бассейнов Одера, Вислы и среднего Днестра так называемой культурой „ямочных погребений“, являющейся косвенным продолжением лужицкой культуры, что обе эти культуры вместе взятые надо считать археологическим эквивалентом славянского этническо-языкового комплекса.

Развитие этих процессов отчетливо говорит о том, что этнический комплекс, создавший лужицкую культуру и способствовавший ее столь широкому распространению, был одновременно тем фактором, который путем сравнительно долгой, длившейся несколько столетий эволюции и своей экспансии на всем пространстве от бассейна Одера до среднего Поднепровья привел к кристаллизации праславянского комплекса.

Следует признать, что именно эта экспансия „лужицких“ элементов, которая, если не считать небольших и временных ответвлений, не охватила своим влиянием территории балтийского этническо-языкового комплекса, была причиной распадения прежней балто-славянской языковой общности в результате разрушения социально-экономических связей между входившими в состав этой общности и продолжавшими находиться в непосредственном географическом соседстве друг с другом юго-восточными племенами, подвергшимися воздействию лужицкой культуры, и остальными северо-восточными племенами¹².

Мне кажется, что такое понимание исторической роли этническо-культурного комплекса, представляемого лужицкой культурой и культурами, являющимися ее продолжением, дает наиболее правдоподобное объяснение причин распадения балто-славянской языковой общности. Однако считать такое объяснение вполне достаточным было бы своего рода методической ошибкой, так как вопросы лингвистического по-

¹¹ М. И. Артамонов. К вопросу о происхождении восточных славян. „Вопросы истории“, 1948, № 9, стр. 97—108.

¹² Связь между распадением балто-славянской общности и выделением праславян, с одной стороны, и экспансии племен, причастных к лужицкой культуре — с другой, признают также, несмотря на расхождения в деталях, два польских ученых: языковед Т. Милевский и историк К. Тыменецкий в своих недавно опубликованных работах. Ср. T. M i l e w s k i. Zarys językoznawstwa ogólnego, cz. II, 1. Lublin-Kraków, 1948, стр. 293—295; K. T y m i e n e c k i. Ziemia polska w starożytności. Ludy i kultury najdawniejsze. Poznań, 1951, стр. 291—296, 302—320.

рядка нельзя решать при помощи данных, относящихся к другой области развития материальной культуры, если мы одновременно не можем доказать параллелизма развития в обеих областях. И хотя между языком и материальной культурой, как результатом деятельности определенных групп, должна существовать непосредственная связь, развитие и распространение языка и развитие и распространение материальной культуры совершаются согласно своим особым специфическим законам, обусловливающим существующие между ними различия, увеличивающиеся зачастую до полной утраты следов первоначальной связи между этими обоими проявлениями общественной жизни. Это объясняется тем, что тогда как явления материальной культуры подвергаются иногда весьма быстрым и далеко идущим изменениям, зависящим от присущих данной эпохе очередных изменений в социально-экономическом строе, язык развивается гораздо медленнее, сохраняя в течение долгого времени без существенных изменений свой грамматический строй и словарный состав, приспособливая их лишь постепенно к изменяющимся общественно-культурным и экономическим условиям жизни. Если мы, несмотря на это, принимаем процессы из области развития материальной культуры в качестве основы, позволяющей косвенно осветить некоторые этапы развития языка, мы должны установить, имеются ли данные, свидетельствующие о существовании параллельных связей между развитием языка и материальной культуры соответствующих этнических групп также и в более отдаленные эпохи, предшествующие интересующему нас этапу развития. Отсутствие таких данных нельзя считать доказательством отсутствия связей, но установление реальных, более или менее отчетливых следов такого параллелизма уже на более ранних этапах развития дало бы весьма серьезную методическую основу для извлечения выводов, касающихся также и более поздних процессов развития языка.

В таком случае, принимая, что решающую роль в разрушении балто-славянской языковой общности сыграла экспансия этнических групп, связанных с лужицкой культурой и культурами, являющимися ее продолжением, надо поставить вопрос, имеются ли данные, относящиеся к хронологически более ранним, „долужицким“ периодам на территории, населенной славянскими и балтийскими этническими элементами. Ответ на этот вопрос надо искать в первую очередь в сведениях, касающихся культурных комплексов, существование и распространение которых могли установить археологические исследования эпохи, предшествовавшей экспансии на этой территории лужицкой культуры, т. е. в начале бронзового века и до него. Если результаты этих исследований приведут к выводу, что территория балто-славянской языковой общности до этой экспансии представляла собой картину более или менее однородного развития культуры, дающую основание считать, что ее население в этническом и культурном отношении в основном составляло однородную группу, соответствующую установленной на основе лингвистических исследований балто-славянской языковой общности, тогда и дальнейшие наши выводы, касающиеся разрушения этой общности в результате экспансий лужицкой культуры и ее продолжений, основанные исключительно на археологических данных, получат соответствующую методически оправданную основу. В связи с этим надо отметить, что несмотря на сравнительно скучные данные, касающиеся этой эпохи, которыми мы располагаем благодаря археологическим исследованиям, проведенным главным образом в восточной части этой территории, их результаты не оставляют ни малейших сомнений в положительном ответе на поставленный нами вопрос.

Относительно начала второго тысячелетия до нашей эры исследования, проведенные как западноевропейскими, так и польскими и советскими археологами, показывают в период примерно 2000—1700 гг. до н. э. взаимное проникновение двух больших культурных комплексов на территории северо-восточной Европы между линией Одера на западе и верхним течением Волги на востоке — так называемой культуры гребенчатой керамики (или уральской культуры) и культуры шнуровой керамики, причем вторая из них обладает значительно большей устойчивостью, а первая ослабевает по мере своего распространения на запад и подвергается все большему заглушению со стороны культуры шнуровой керамики, которая, несмотря на свое раздробление на ряд местных групп, в течение нескольких веков — на переломе неолита и бронзового века — определяла характер культурного развития этой территории¹³. А ввиду того, что культура гребенчатой керамики, которая на территории северо-восточной России, а также Эстонии и Финляндии в своем дальнейшем развитии сочетается с раннеисторической культурой финских и угорских племен, она приписывается предкам этих племен и считается праугро-финской, а культура шнуровой керамики, распространившаяся на территории, на которой позже расселились племена, говорившие на индоевропейских языках, считается материальным эквивалентом культуры индоевропейских племен, — ее широкое распространение на территории между Одером и Волгой можно считать отражением также и языковой индоевропеизации этой территории, населенной до этого праугро-финнами¹⁴.

Разумеется, население, принадлежавшее к этническим элементам, говорившим на близких друг другу индоевропейских диалектах, на территории, населенной в тот период (и до него) праугро-финскими в языковом отношении племенами, должно было в ходе ее языковой индоевропеизации¹⁵ способствовать проникновению в эти индоевропейские диалекты некоторого количества уgro-финских грамматических и лексических элементов. И этот факт действительно можно установить в языковом комплексе, сложившемся на упомянутой территории: балтийские и славянские языки, являющиеся континуантами

¹³ J. Kostrzewski. Od mezolitu do okresu wędrówek ludów. „Encyklopedia Pol. Akad. Umiejętności”, t. IV, cz. 1. Kraków, 1939, стр. 168 и след., 186 и след.; П. Н. Третьяков. Восточно-славянские племена. Изд. 2, М., Изд-во АН СССР, 1953; М. И. Артамонов. Указ. соч., стр. 367 (примеч. 5) и след.

¹⁴ Проблему индоевропеизации территории восточной Европы не могли ясно ставить работавшие в период господства марксизма советские ученые, такие, как П. Н. Третьяков и М. И. Артамонов, хотя собранный ими фактический материал относительно формирования в ту эпоху этническо-культурных условий в восточной Европе фактически совпадал с представленным нами положением. Также и в опубликованной накануне преодоления марксизма работе Х. Моора. „Вопросы этногенеза народов советской Прибалтики по данным археологии” („Краткие сообщения Института этнографии АН СССР”, 1950, вып. XII, стр. 29—37) высказывается сомнение по поводу возможности отождествления „гребенчатой” культуры с „финно-угорским праонародом” и вообще не принимаются во внимание этническо-культурные отношения прибалтийских стран, так как в подобной постановке вопроса автор усматривал проявления буржуазных политических тенденций. Новейший труд советских ученых, посвященный доисторическим проблемам населения Европы (Г. Ф. Дебед, Т. А. Трофимова, Н. Н. Чебоксаров. Происхождение человека и древнее расселение человечества. „Труды Института этнографии АН СССР”, III, вып. 15. М., 1951, стр. 409—468), обходит этот вопрос молчанием.

¹⁵ Возможно, что индоевропейские этническо-языковые комплексы, распространившиеся на этой территории и составившие базу формирования балто-славянской группы, имели даже общее название *венеты*. Это название, бывшее, несомненно, индоевропейского происхождения и служившее в раннеисторических эпохах для обозначения славян, я приписывал в моих прежних работах („O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian”. Poznań, 1946; „Początki Słowian”. Kraków, 1946; „O pierwotnych Wenetach”.

этого комплекса, обнаруживают в своем грамматическом развитии некоторые характерные тенденции, присущие также угро-финским языкам, но чуждые другим индоевропейским языкам. К этому относится, в частности, тенденция к скоплению многочисленных суффиксов, служащих развитию и уточнению различных смысловых отношений между родственными словами, что в других индоевропейских языках выражается при помощи синтаксических средств; сюда относится использование творительного падежа в качестве именной части сказуемого, применение родительного вместо винительного падежа после отрицания и т. п.¹⁶ То, что эти тенденции были переняты у подвергшихся в отношении языка ассимиляции праугро-финских племен, причастных к культуре гребенчатой керамики, явилось одним из факторов унификации грамматического строя в пределах всего комплекса индоевропейских диалектов, составляющих балто-славянскую языковую группу. Этот факт наглядно свидетельствует о тесной связи, существовавшей в то время между этническо-культурными отношениями и развитием в области языка у предков балтийских и славянских народов: по-видимому, она представляет собой более или менее однородный в этническом и языковом отношении комплекс, объединенный общими тенденциями развития как в области материальной культуры, так и в области языка.

К этим двум элементам культурной и языковой балто-славянской общности следует еще добавить относительное единство антропологического типа, преобладавшего в то время и позже на территории, населенной этими племенами. Результаты палеоантропологических исследований западноевропейских, польских и советских ученых, несмотря на многочисленные различия в методах и в подходе к предмету исследований, сходятся в одном отношении: все они свидетельствуют о существовании на территории от Эльбы до верхнего течения Волги и даже еще дальше на восток одних и тех же антропологических типов, преимущественно долихоцефала — узкоголового или широкоголового (по Чекановскому — нордического и субнордического типов), а отчасти брахицефала — лапоноидального этапа с примесью других антропологических типов¹⁷. Это приводит к выводу, что население этой территории, будучи

Inter arma. Księga pamiątkowa ku czci prof. K. Nitscha. Kraków, 1946) комплексу племен, создавших и распространявших лужицкую культуру. Но теперь, учитывая замечания Я. Сафаревича (в рецензии на мою книгу — „Rocznik Sławistyczny“, t. XVI, стр. 30—31) и после появления работы Ф. Буяка „Wenedowie na wschodnich wybrzeżach Bałtyku“ (Instytut Bałtycki. Gdańsk—Bydgoszcz—Szczecin, 1948), которые указывают на сравнительно многочисленные географические названия, имеющие в корне *Ven(e)t-*, также на территории балтийского побережья, не охваченной экспансией лужицкой культуры, я готов пересмотреть свое мнение и считаю вполне возможным и даже правдоподобным, что название венетов, известное в разных частях Европы, населенных индоевропейцами, было принесено на территорию Прибалтики и бассейна Вислы появившимися здесь индоевропейскими племенами и лишь позже, когда большая часть занятой ими первоначально территории была заселена племенами с лужицкой культурой, это название соседи стали применять к последним, а впоследствии оно перешло к их географическим и этническим наследникам — славянам. Этот вопрос требует еще более тщательного изучения. Во всяком случае мало правдоподобным кажется мне предложение К. Тыменецкого („Ziemie polskie w starożytności“. Poznań, 1951, стр. 140—141), что первоначально название *венеты* принадлежало якобы населению адриатического побережья — лигурям, было ими перенесено на территорию альпийских стран, а оттуда — в Прибалтику. Этому противоречит бесспорно индоевропейский характер названия *венеты*, связи которого с альпийским названием *vindasca*, приписываемая автором вследствие какого-то недоразумения Т. Милевскому (который, приводя это название — см. „Zarys językoznawstwa ogólnego“, t. II, 1, стр. 187 —, отнюдь не ставит его в связь с названием *венеты*), ничем не оправдана.

¹⁶ Ср. J. Pokorný. Die Substrattheorie und Urheimat der Indogermanen, II. Substratfrage im Balto-Slavischen. „Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien“, Bd. XIV, стр. 71 и след. Ср. также T. Lehr-Saławiński. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian, стр. 136.

в антропологическом отношении смешанным, уже со временем неолита носило вполне однородный характер и не обнаруживало никаких признаков дифференциации, на основании которых можно было бы установить отчетливо выделяющиеся своими физическими чертами компактные группы, наличие которых говорит о более глубоком этническом раздроблении.

Таким образом, нет существенных препятствий к тому, чтобы признать, что балто-славянская общность не ограничивалась исключительно только общностью в области развития языка, но охватывала также и материальную и духовную культуру, на основе общего на всей своей территории в равной степени смешанного антропологического состава населения, и что существовал особый этнический и языковой комплекс, от которого со временем произошли как балтийские, так и славянские племена. Образование этого комплекса можно отнести примерно к началу второго тысячелетия до нашей эры, когда экспансия близких друг к другу по языку и культуре индоевропейских племен в результате их смешения с рассеянными на территории между Одером и верхним течением Волги угро-финскими племенами, принадлежавшими к культуре гребенчатой керамики, повлекла за собой образование нового этнического комплекса племен, пользовавшихся индоевропейской речью специфически модифицированного типа, из которой образовались позже славянская и балтийская языковые группы. Этот комплекс, обозначаемый обыкновенно условным названием балто-славянского, древнейшие центры кристаллизации и направления экспансии которого нам не известны, подвергся в западной части занимаемого им пространства (по всей вероятности, главным образом в бассейнах Одера и Вислы) сильной инфильтрации в отношении языка новых, несомненно также индоевропейских этнических элементов, которые в первом и втором периоде бронзового века образовали комплекс, представленный в археологии лужицкой культурой. Экспансия племен, принадлежавших к этой культуре, явилась причиной распадения балто-славянской общности на две группы: славянскую и балтийскую, которые с того времени, т. е. в период приблизительно 1500—1300 гг. до н. э., вступили на путь самостоятельного языкового и культурного развития, сохранив, однако, и в дальнейшем немало общих черт и тенденций в области языка, равно как и в других сферах человеческой культуры. Следы этой общности сохранились в исторические времена и до настоящего времени главным образом в грамматическом строе и в лексике балтийских и славянских языков, а в меньшей степени и в области материальной и духовной культуры, как об этом свидетельствуют археологические материалы, касающиеся далекого прошлого и отчасти также — как это указывалось недавно советскими учеными С. А. Токаревым и Н. Н. Чебоксаровым — некоторые современные этнографические данные¹⁸.

Таким образом, не подлежащий сегодня сомнению факт балто-славянской языковой общности является одним из важнейших звеньев, которые могут послужить основой для исследований древнейшего периода этногенеза славян и балтов. Одних исследований в других областях материальной и духовной культуры — без привлечения лингвистических данных — было бы недостаточно для освещения древней эпохи формирования основ исторического размещения племен восточной и центральной Европы.

¹⁷ Ср., с одной стороны, J. Czekanowski. Polska — Słowiańska. Perspektywy antropologiczne. Warszawa, 1948, стр. 218 и след.; с другой стороны, Г. Дебец, Т. А. Трофимова, Н. Н. Чебоксаров. Указ. соч., стр. 458—459.

¹⁸ С. А. Токарев, Н. Н. Чебоксаров. Методология этногенетических исследований на материале этнографии. „Советская этнография“, 1951, вып. 4, стр. 24—25.

Е. КУРИЛОВИЧ

О БАЛТО-СЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКОВОМ ЕДИНСТВЕ

В пределах индоевропейской языковой семьи некоторые языки, как правило соседящие географически, образуют близкие подгруппы, как например языки индийские и иранские, балтийские и славянские, итальянские и кельтские, греческий и армянский. Но несмотря на то, что разница в степени родства сразу ясна для исследователя, объективные критерии для определения степени этого родства представляются неуясленными или уясненными недостаточно.

Обычно перечисляют все черты в области фонетики и грамматики, а также словообразования, общие сравниваемым языкам, причем в доказательство более близкого родства приводятся те черты, которые не повторяются в других языках (индоевропейских), общие же черты, известные и другим языкам, служат только вспомогательными, второстепенными аргументами. Так, например, утрата аспирации в фонемах *bh*, *dh*, *gh* не характерна для балто-славянского в такой степени, как рефлекс индоевр. *r*, *l*, *n*, *m*. Так, утрата аспирации имеет место также в кельтском, албанском, иранском, тогда как рефлексация *r*, *l*, *n*, *m* с их двойкой вокализацией, не зависящей от последующего сонанта (*ir: ur*, *il: ul*, *in: un*, *im: um*), нигде не имеет соответствующего рефлекса.

Это разделение на характерные и нехарактерные („банальные“) черты переплетается с другим: рассматриваемые общие черты могут быть или новообразованиями, или архаизмами. Причем опять-таки на первый план выдвигаются новообразования как доказательство языковой общности, проявляющейся позитивно или действенно; наоборот, общие архаизмы, свидетельствующие об общем отсутствии изменений на соответствующем участке языковой системы, имеют негативными характер и соответственно с этим ценность лишь дополнительного аргумента.

Разница между положительными и отрицательными чертами представляется важной. Приписывание отрицательным аргументам самостоятельной доказательной ценности явилось, например, причиной попыток найти связь между языком и расой. Если на протяжении многих веков люди, говорящие на семитских языках или на китайском языке, представляют в основном постоянно тот же антропологический тип, то это только потому, что ни антропологический склад народности не изменился принципиально, ни язык не был заменен каким-либо другим, относящимся к другой языковой семье. Эта историческая инертность в обеих областях создает впечатление взаимозависимости (корреляции) человеческих черт, не находящихся ни в какой внутренней связи: расы

и языка¹. Само сосуществование не образует такой связи. Нет внутренней связи между Сфинксом и песками окружающей его египетской пустыни, хотя они существуют рядом в течение нескольких десятков веков.

Внушительные по своему количеству сопоставления сравнительного словаря Р. Траутманна включают как балто-славянские новообразования, так и архаизмы. Но ясно, что сохранение старых слов (например, так или иначе модифицированных названий брата и сестры) представляет собой более слабый аргумент языковой общности, чем образование общих названий для понятий головы или руки. Такие сопоставления, как лит. *brolis, sesuð*: слав. *brat(r)ъ, sestra* можно считать нехарактерными, поскольку консерватизм в области названий родства допускает отождествление форм в двух произвольно взятых индоевропейских языках (славянский : германский; славянский : латинский и т. д.). Поэтому перечисленные Траутманном в предисловии балтийские архаизмы, такие, как лит. *dantis* — 'зуб' или *sēnas* — 'старый', не являются аргументами, говорящими в пользу балто-славянской общности, хотя автор правильно считает, что их исчезновение произошло только на почве уже выделившейся славянской общности. На первый план здесь выступает языковое выделение славянской общности, вытеснение этих слов другими, столь же древними, но с измененным значением: *zōbъ* (вероятно, 'колышек' или 'коренной зуб') и *starъ* (собственно 'большой', ср. скандинавское *stóðr*). Таково же отношение, например, лит. *diēvas* к слав. *bogъ* (представляющему собой заимствование или кальку с иранского). Напротив, например, славянским архаизмам *šijъ* и *lēvъ* соответствует балтийское новообразование **krair(ij)os* (лит. *kaīrias* и т. д.). Все эти индоевропейские архаизмы, сохранившиеся только в одной из обеих групп, не имеют самостоятельной ценности как доказательства к интересующему нас здесь тезису.

Нехарактерные факты, такие, как общность или сходство фонетических и грамматических изменений банального типа, а также аргументы негативного свойства, такие, как сохранение без изменений старых фонетических или грамматических черт, должны быть приняты во внимание только в другом плане, как подтверждение решающих аргументов, такими являются общие характерные новообразования. Схематически это можно представить так:

	Новообразования	Архаизмы
Характерные	<i>a</i>	<i>b</i>
Банальные	<i>c</i>	<i>d</i>

Из этих четырех рубрик только *a* заключает основные аргументы для доказательства языковой общности. Две другие (*b*, *c*) не могут быть самостоятельными доказательствами, а *d* практически не имеет доказательной ценности (ср., например, сохранение названий чисел, родства, местоимений и т. п.). Однако следует сразу отметить, что в то время как установление новообразований и архаизмов благодаря сравнительной грамматике не представляет особых трудностей, эти трудности часто возникают при определении характерных и нехарактерных изменений. Так, например, палatalизация согласных под влиянием *i*, которую находим как в балтийском, так и в славянском, представляет собой вообще довольно распространенное явление. Однако специфиче-

¹ В действительности взаимозависимость можно было бы доказать только в том случае, если таким-то и таким-то изменениям языкового склада соответствовали бы определенные изменения языковой системы.

ские условия, в которых она осуществляется, одинаковые морфологические последствия, которые она вызывает, говорят о том, что ее следует признать важной балто-славянской изоглоссой.

Но и в области характерных новообразований (рубрика *a*) важность отдельных аргументов неодинакова. Конечно, трудно отдать предпочтение огульно либо фонетической эволюции, либо изменениям морфологического строя или функций. Чем более специфично и сложно изменение, тем более будет поражать соответствие между обнаруживающими его языками. Наиболее же характерны, по нашему мнению, те изменения, которые идентичны в обоих языках не только по своим конечным результатам, но и в промежуточных стадиях. Мы имеем здесь в виду прежде всего просодическую эволюцию (количество, интонации), которая не только изменила фонетический облик балтийских и славянских языков (по отношению к индоевропейскому), но прежде всего повлекла за собой важные сдвиги в морфологическом строе слова, параллельные и даже идентичные в обеих группах. Они касаются как именного и глагольного словообразования, так и типа парадигм, словом, центральных черт языковой системы. Именно на эти совпадения до сих пор обращали слишком мало внимания.

Кроме просодических изменений заслуживают внимания преобразования в области апофонии „полная ступень : ступень редукции“, такие, как исчезновение апофонии $\tilde{a}^x : \tilde{a}$, замена $Re : R$ на $Re : Ri$, черты, которые балто-славянская группа разделяет с германской². Очень интересной балто-славянской особенностью является возникновение двух вариантов ступени редукции eR (iR и uR). Непосредственные или косвенные фонетические причины, приведшие к этим сдвигам, так же важны, как вытекающие из них морфологические изменения.

В итоге, в качестве основных аргументов в пользу балто-славянской языковой общности, я предложил бы следующие явления (сгруппированные соответственно их возрастающей важности):

- I. Преобразование апофонии „полная ступень : нулевая ступень“.
- II. Образование двух типов противопоставления $eR : iR$, $eR : uR$.
- III. Количественные изменения (возникновение новых долгот).
- IV. Акцентно-интонационные изменения. (Изменения II—IV в связи с их последствиями в области морфологии. Черта I характеризует балто-славянскую позицию в пределах северной группы индоевропейских языков)³.

Был бы напрасен вопрос, произошли ли перечисленные здесь изменения на балто-славянской основе, или „независимо“ в балтийском и славянском.

В наших выводах о первоначальном единстве двух языков мы опираемся на изоглоссы и считаем единственным рациональным вопрос, являются ли эти изоглоссы более древними, чем новообразования, принадлежащие (по общему мнению) уже к эпохе языковой обособленности балтийского или славянского. Подвижность ударения в именных и глагольных парадигмах мы относим к балто-славянской эпохе, поскольку не находим никаких изменений специфически балтийских или славянских, хронологически более древних⁴.

² *R* обозначает сонанты (*r*, *l*, *n*, *m*).

³ Пункты I—III — почти точная копия наших выводов, помещенных в работе „L'apophonie en indo-européen“ (§ 24, 26, 35—39), находящейся в печати и не доступной до сих пор читателям. Вместе с тем, в пункте IV мы ограничились изложением существенных пунктов раздела „Le balto-slave“, опубликованного в книге „L'accentuation des langues indo-européennes“. Kraków, 1952.

⁴ Так, например, действие закона де Соссюра в литовском языке проявляется на парадигмах уже подвижных, как установил сам автор этого закона.

Общность в смысле идентичности языков является устарелым понятием. Новое понятие общности определено еще недостаточно четко, но представляется, что оно должно опираться на характерные общие новообразования, более ранние в общей цепи относительной хронологии, чем новообразования различные для обоих языков.

I

Балто-славянская группа входит в состав североевропейских языков, к которым относится и германский и, возможно, также предшественник современного албанского языка (независимо от того, как мы назовем его — фракийский или иллирийский). Эти языки характеризует отсутствие различий *ā* и *ō* (= *ā*), ср. герм. *a*, балт. *a*, слав. *o*, алб. *a*. Точно те же рефлексы находим для индоевр. *ə* в начальном слоге: готск. *fadar* < **p̥ater-*, *staps*, др.-инд. *sthiti-*, греч. *stáσις*, лат. *statio*; готск. *lats* — ‘ленивый’ < *letan*; др.-в.-нем. *slaf* — ‘вялый’ < *slâfan*; др.-сканд. *blap*, др.-в.-нем. *blat* — ‘лист’ < герм. *blōjan* — ‘вести’. Алб. *dašë* — ‘я дал’, *dqne* — (гегийск.) ‘дар’; *l'q* (гегийск.), *l'z* — (тоскийск.) ‘оставляю’ < **lădnō* < **lădnō*, ср. *l'od* < **lēdō* (герм. *letan*) — ‘устать’. Лит. *statai* — ‘ставить’, слав. *stojo* наряду с *stoti* (*stati*); лит. *plakū*, *pläkti* — ‘бить’, ‘сечь’; ст.-слав. *plačo*, *plakati(se)* — ‘хόπτομαι’, *χλαίω*, *πενθέω*, *θρηνέω*; возможно также ст.-слав. *sporō* — ‘плодородный’, ‘обильный’, ‘полезный’ < *spēti*, инд. *sphira-*; слав. *glogъ* наряду с греч. *γλῶχες* — ‘концы колосьев’, *γλῶσσα*, *γλάσσα* — ‘язык’. Количество примеров очень незначительно.

В противоположность южным языкам (греческий, латинский, кельтский) *ə* внутренних слогов выпадает на севере. Ср. готск. *arms* — ‘плечо’ < **arəmo-*; др.-сканд. *arþr* — ‘плуг’ < **arətro-*; др.-сканд. *ande* — ‘дыхание’, ‘дух’ < **anət-*; готск. *full* < **pləno-*; готск. *daúhtar* — ‘дочь’ < **dhuŋgæter-* и т. д. В ст.-слав. *rame*, *radlo*, *plъnъ*, *dъsti*, лит. *irm-ėdė* — ‘артрит’, ‘грипп’, *árklas*, *pilnas*, *duktē* как соответствия германским формам; далее лит. *témti* — ‘темнеть’, ср. инд. *támi-srā* — ‘тень’; *vémti* — ‘рвать’, инд. *vámīti*; *ántis* — ‘утка’, лат. *anas*, *anātis*; *jentė* — ‘невестка’ (жена брата мужа), греч. *ἐνάτηρ*.

Рассматривая данное явление в плане фонологии, следует говорить не об утрате редуцированного гласного (*ə*) в северных языках, но скорее об отсутствии вокализации неслогового *ə* во внутренних слогах. Южные языки все без исключения вокализуют *ə* (>*ə*>*ā*), даже в конце слова, ср. греч. *-μεθα*, *γένε-**α*. В северных языках результаты различны в зависимости от позиции: вокализация имеет место только в начальном слоге слова.

Решающей причиной отсутствия вокализма *ā* в северных языках является совпадение *əō* (т. е. *ə₂o*, *ə₄o*) с *o*. Балтийский сохраняет различие между старой долготой *ō* и новой долготой *ā*, происходящей из трех источников: 1) *ə₂o*, *ə₄o*; 2) *oə₂* или *oə₄* перед согласным (например, балт. **stātei* = лит. *stoti*); 3) *oRə>āR* перед согласным (например, балт. **mältei* = лит. *málti* — ‘молоть’ < **molātei*). В славянском языке только некоторые отдельные факты как будто указывают на старое различие *ā*: *ō*⁵, ср. различие окончаний в дат. п. ед. ч. *vylki* и *vylnē* = лит. *vilkui*, *vilnai* с индоевр. *-ōi*, *-ai*.

Исчезновение отношения *ō*:*ō* из-за новой долготы *ā* (откуда *ō*:*ā*) объясняется известным в других случаях явлением замены в морфологических чередованиях старых долгот новыми, происходящими из стяже-

⁵ A. Vaillant. Grammaire comparée des langues slaves, I. Paris, 1950, стр. 112.

ний или заменительных удлинений. Ср. частичное вытеснение чередования $\epsilon : \eta$, $\circ : \omega$ чередованием $\epsilon : \epsilon'$, $\circ : \circ'$ в греческом ($\pi\circ\circ\circ$ вм. $*\pi\circ\circ\circ$). Чередование $\bar{e} : \bar{a} (< \bar{o})$ вызывает, со своей стороны, восстановление ступени o до первоначальной долготы \bar{e} , откуда балт. $\bar{e} : \bar{a}$ вм. $\bar{e} : \bar{o}$. Старое чередование $\bar{e} : \bar{o}$ сохраняется в литовской форме $\bar{e} : io$ лишь в небольшом количестве примеров, как лит. *sēdžiu*, *sēsti*—‘сидеть’; *sūodžiai*—‘сажа’; *ēdu*, *ēsti*—‘есть’: *īodas*—‘комар’ (Траутманн. Указ. соч., стр. 66) и несколько других, в которых семантическая связь между основой и дериватом утратилась уже в доисторическую эпоху. С другой стороны, чередование $\bar{e} : \bar{a}$ засвидетельствовано как регулярный апофонический процесс оппозициями типа лит. *bēgu*, *bēgti*—‘бежать’, ‘убегать’: *boginti*—‘нести’, ‘уносить’; *glēbiu*, *glēbtī*—‘обнимать’: (старый итератив) *glōbiu*, *glōbtī*—‘окутывать’, ‘покрывать’; *répliōju*, *répliōti*—‘ползать’, ‘ползать на четвереньках’: *už-si-rópti*—‘вскарабкаться’ (ср. лат. *rēpere*); *sprōgstu*, *sprōgti*—‘лопаться’ (лат. *sprāgstu*, *sprāgt*): лат. *sprēgāt*, старый итератив к *sprēgt* (= *sprāgt*); лит. *sēdžiu*, *sēdēti*—‘сидеть’: *sodinti*—‘садить’, ‘сажать’ (растения).

Совпадение \bar{a} и \bar{o} в славянском не зависит от отсутствия разницы между \bar{a} и \bar{o} . Подобное слияние обеих долгот имело место и в кельтском, возможно, даже в аналогичных условиях. В кельтском именно \bar{o} переходит в \bar{a} в неконечном и в \bar{e} в конечном слоге, отсюда следы разницы $\bar{a} : \bar{o}$ в конце слова. Например, др.-ирл. *tuatha*—‘народы’, *tná*—‘женщины’ <-*as*, *fíru*—‘мужчины’ (зват. п. мн. ч.) <-*os* (Cр. Thurneysen, Handbuch d. Altir, 1909, стр. 33 и 52). Различие находим также в бриттской группе, указывающей конечное *-i* из *-u* (происходящего из индоевр. \bar{o} , например кимр. *uſh*—‘вол’ < **uksð*).

Переход ϑ_2 , ϑ_4 , а также ϑ в o , далее исчезновение ϑ во внутреннем слоге — все это вызвало важные апофонические явления в северных языках, особенно на месте старого чередования ‘полная ступень: нулевая ступень’. Сюда входят:

- 1) утрата чередования o (исключительное): нуль;
- 2) утрата чередования \bar{e} , \bar{a} , $\bar{o} : \vartheta$.

Эти особенности северных языков частично завуалированы самостоятельным развитием, приводящим, однако, к тем же результатам, какие мы находим в южных языках, что касается пункта первого, тогда как второй и в историческую эпоху остается долгое время чертой, отличающей север от юга (где чередование \bar{e} , \bar{a} , $\bar{o} : \vartheta$, как правило, сохранилось).

Перечисленные здесь ограничения унаследованной нулевой ступени выделяются еще более на фоне консервативной тенденции сохранения старого чередования *ei : i*, *eu : u*, *er : r*, *el : l*, *en : n*, *em : m*.

Что касается генетического объяснения утраты чередования (п. 1 и 2), ср. „L’apophonie en indo-européen“ (глава V, § 24).

1) Надежные примеры апофонической неподвижности для корней с исключительным гласным o представляет германский. Ср. прежде всего флексию так называемых сильных глаголов с корневым *e*:

Инфинитив	Единственное число	Множественное число	Причастие	Индоевр.
			страд.	
готск. <i>steigan</i>	<i>staig</i>	<i>stigum</i>	<i>stigans</i>	<i>ei : oi : i</i>
„ <i>-biudan</i>	<i>-baup</i>	<i>-budum</i>	<i>-budans</i>	<i>eu : ou : u</i>
„ <i>bindan</i>	<i>band</i>	<i>bundum</i>	<i>bundans</i>	<i>en : on : n</i> (перед гласным)
„ <i>niman</i>	<i>nam</i>		<i>numans</i>	<i>en : on : n</i> (перед гласным)
„ <i>giban</i>	<i>gaf</i>		<i>gibans</i>	<i>e : o : e</i>

Глаголы с исконным гласным *o* (герм. *a*) не имеют специальной формы для нулевой ступени.

Инфинитив	Причастие с трад.
готск. <i>haitan</i>	<i>haitans</i>
" <i>stautan</i>	<i>stautans</i>
" <i>haldan</i>	<i>haldans</i>
" <i>faran</i>	<i>farans</i>
" <i>skaban</i>	<i>skabans</i>

Такое же положение в дериватах на *-ti-*, представляющих в индоевропейском, как правило, ступень редукции корня: готск. *ga-plaihts* — 'утешение' <*ga-plaihan*; *aihts* — 'владение', 'обладание' <*aih*; *alds* — 'возраст', 'жизнь' <*alan*; др.-сканд. *ferþ* (< **far-di-*), др.-англ. *fyrd* <*faran* и т. д. О том, что здесь идет речь не об унаследованных фонетических формах, свидетельствуют немногочисленные отдельные архаизмы, такие, как готск. *ga-faúrds* — 'собрание', 'совет' (**furdi-* в противоположность упомянутому **fardi-*); готск. *mulda* — 'прах', 'земля', др.-англ. *molde* <*malan* — 'молоть'; нем. *Sülze* — 'раствор соли', 'суп', др.-сакс. *sultia* <*saltan* — 'солить'.

В балто-славянском апофоническая неподвижность корней с гласным *o* оставила ясные следы. Ср. сначала корневой гласный *e*:

Настоящее время	Претерит	Инфинитив	Причастие с трад.
лит. <i>vejù</i> — 'догонять'; 'вить'	<i>vijaū</i>	<i>výti</i>	<i>výtas</i>
" <i>kemšù</i> — 'напихивать'	<i>kimšaū</i>	<i>kimšti</i>	<i>kimštas</i>
" <i>kerpù</i> — 'стричь'	<i>kirpaū</i>	<i>kiřpti</i>	и т. д.
" <i>kremtù</i> — 'грызть'	<i>krimtaū</i>	<i>kriṁsti</i>	
" <i>lendù</i> — 'влезать'	<i>lindaū</i>	<i>l̄sti</i>	
" <i>mélžu</i> — 'доить'	<i>milžau</i>	<i>milžti</i>	
" <i>renkù</i> — 'собирать'	<i>rinkaū</i>	<i>riñkti</i>	
" <i>sergù</i> — 'болеть'	<i>sirgaū</i>	<i>siřgti</i>	
" <i>slenkù</i> — 'ползать'	<i>slinkaū</i>	<i>sl̄inkti</i>	
" <i>telpù</i> — 'поместиться'	<i>tilpaū</i>	<i>tilpti</i>	
" <i>trenkù</i> — 'мыть'	<i>trinkaū</i>	<i>triñkti</i>	
" <i>velkù</i> — 'тащить'	<i>vilkaū</i>	<i>vil̄kti</i>	
" <i>gemù</i> — 'родиться'	<i>gimaū</i>	<i>giṁti</i>	
" <i>genù</i> — 'мчаться'	<i>giniaū</i>	<i>giñti</i>	
" <i>menù</i> — 'помнить', 'угадывать'	<i>miniaū</i>	<i>miñti</i> ⁶	

Но:

<i>áugu</i> — 'растить'	<i>áugau</i>	<i>áugti</i>
<i>kándu</i> — 'кусать'	<i>kándau</i>	<i>kásti</i>
<i>malù</i> — 'молоть'	<i>małau</i>	<i>málti</i>
<i>barù</i> — 'брюзжать'	<i>bariaū</i>	<i>bárti</i>
<i>kalù</i> — 'вбивать', 'ковать'.	<i>kalaū, kaliaū</i>	<i>kálti</i>

⁶ Дериваты на *-ti-*, образованные от глаголов на *-ie/io-* с корневым вокализмом *e*, показывают в ряде случаев нулевую ступень, хотя инфинитив ее уже утратил. Так, например, *kéliù, kélti* — 'поднимать': *kiltis* и *kiltis* — 'происхождение'; *lēji, lieti* — 'лить': *lytis* — 'форма'; *periù, peřti* — 'купать': *pirtis* — 'байя'; *sveriù, sveřti* — 'взвешивать': *svirtis* — 'рычаг у колодца'; *šlejù, šliěti* — 'опереть': *šlitis*; (*pa)velmi, -velti* — 'хотеть', 'позволить': *viltis* — 'надежда'. Точно так же для некоторых прилагательных на *-to-*, утративших связь с соответствующими глаголами, таких, как *girtas* — 'пьяный' <*gérti*, *skýtas* — 'плавный' <*sklesti*, *tvirtas* 'сильный' <*tvérti*, соответствующие причастия звучат уже как *gértas, sklestas, tvértas*.

В славянском находим апофонию в словах *bljujo*, *bljubati*; *kljujo*, *kljubati*; *pļjujo*, *pļjubati*; *žijo*, *žubati* (везде старый вокализм *e*), в то время как *kujo*, *kovati*; *sijo*, *sovati* (гласный *o* без апофонии). В противоположность **pelzō*, **pъlzati*; *steljō*, *stъlati*; **serbljō*, **sъrbati* (везде старый гласный *e*) глаголы с гласным *o*, такие, как ст.-слав. *glagoljō*, *glagolati*; *koljō*, *klati*; *borjō*, *brati* — ‘бороться’, не подвергаются апофонии. Далее находим ст.-слав. *mylzo*, *mlěsti* — ‘доить’, но *vladō*, *vlasti* — ‘владеть’; *rjō*, *piti*, но *rojō*, *rēti* — ‘петь’ (*ě* <*oi* перед согласным). Глаголы *plovō*, *pluti* — ‘плыть’; *rovō*, *ruti* — ‘кричать’; *slovo*, *sluti* — ‘называться’, *snovo*, *snuti(sę)* — от *snovъ*; *truvō*, *truti* — *čvališčetъ* обязаны отсутствием апофонии гласных старому изменению *eu* > *oi*.

2) Утрата *ə* во внутреннем слоге не повлекла за собой в германском никаких последствий, в балто-славянском вызвала заменительное удлинение (см. III черту). Другими словами, так называемые корни *se!* (типа *TeRə*, ступень утраты *T̄Rə*) или идентифицируются с так называемыми корнями *ani!* (типа *TeR*, ступень утраты *T̄R*) в германском, или образуют новый тип с долгим гласным: *TeR*, *T̄R* (в балто-славянском). Это исчезновение разницы между полными типами, заключающими сонант *TeR(T)* и *TeRə*, приводит к изменению чередования между соответствующими редуцированными типами (без сонанта) *TeT* и *Teə* (т. е. *Teē*). Тип *Teə* (первоначальная нулевая ступень: *Tə*) уподобляет свою апофонию типу *TeT* (нулевая ступень *TeT*), откуда *Teə* (*Teē*) на месте *Tə* как новая нулевая ступень, равная полной ступени:

$$\frac{TeR(T)}{T̄R(T)} : \frac{T̄eR < TeRə}{T̄R < T̄Rə} = \frac{TeT}{TeT} : \frac{Teē}{Teē (\text{вм. } Tə)}.$$

Апофоническая неподвижность, устойчивость глагольных корней со старым долгим гласным очевидна как в германском, так и в балто-славянском. Приведенные выше примеры параллелизма *ā*:*ə* представляют собой немногочисленные пережитки, объясняющиеся ослаблением морфологической связи между глаголом и дериватом.

В германском отсутствие разницы между нулевой и полной ступенью в **geban*: **gifti* влечет за собой совпадение гласных в **sējan* — ‘сеять’ и **sēbi-* (вместо **sādi-*) — ‘семя’, так как в корнях с сонантом исчезает различие между *ani!* и *se!*; например, *bairan*: *ga-baurps*, *tairan*: *ga-taurps* (корни индоевр. **bher* относительно **derə*).

В германском претерит множественного числа и страдательные причастия сильных глаголов с коренным гласным *ē*, *ō* (класс VII) сохраняют гласный настоящего времени в противоположность классам I—V (см. выше): готск. *ga-saizlepur* — ‘заснули’, *fai-flokun* — ‘оплакивали’, *saian* (< **sējanaz*) — ‘засеянный’. Дериваты на *-ti-*: готск. *manna-seps*, др.-в.-нем. *sât* — ‘посев’ < **sējan*, готск. (*ga*)-*deps*, др.-в.-нем. *tât* — ‘дело’ < *dhe*. Производные глаголы на *-pan*: готск. *and-letnan* — ‘уйти’, ‘умереть’ и т. д.

Приведем примеры устойчивости глагольных корней с гласными *ē*, *o*, *io* в литовском (I класс Лескина): *bēgi*, *bēgau*, *bēgti* — ‘бежать’; *sēduos*, *sēdaus*, *sēstis* — ‘садиться’; *sōku*, *sōkau*, *sōkti* — ‘скакать’; *pūolu*, *pūoliau*, *pūlti* (вторичное сокращение < **pūolti*) — ‘нападать’. Инфинитивы *dēti*, *sēti*, *stōti*, *dūoti*. В слав. *lēzō*, *lēsti*; *sēkō*, **sēkti* (ст.-слав. *sēsti*); *padō*, *pasti*; *rēzō*, *rēzati*; *strēčō*, *strēkati* — ‘хенчтей’; *mažō*, *mazati*; производные формы: *bēgnōti*, *sēknōti*, *bēžati*, *sēdēti*⁷, эти последние в противоположность греческим (*πήγυνι*:) *έπάγ-η-ν*, (*σήπομαι*:) *έσάπ-η-ν* и т. д.

⁷ В некоторых приведенных примерах долгий гласный только балто-славянского происхождения. Эти примеры, разумеется, попали под апофоническую схему унаследованных долгот.

Параллельное развитие апофонии в иранском („L'apophonie en indo-européen“, § 27) является доказательством тесной внутренней связи между утратой *ē* во внутреннем слоге и морфологической элиминацией чередования *ē*, *ō*:*ə* в начальном слоге.

3) Судьба сонантов *r*, *l*, *n*, *m* перед гласными в группе северных языков иная, чем на юге. Только на севере результаты изменений перед согласными и перед гласными одинаковы. Это дает основание допустить, что на севере *r*, *l*, *n*, *m* были самостоятельными фонемами, отличными от согласных *r*, *l*, *n*, *m*, а не их комбинаторными вариантами. В северных языках группа звуков *TR̥-o*- прошла через стадию *TR̥-o*-с *R̥* в качестве самостоятельной фонемы, совпадающей с *R̥* группы *TR̥-to*- и противостоящей согласному *R̥* в *TR-o*.

R̥ в группах *TR̥-o*- и *TR̥-to*- дает, следовательно, одинаковые результаты в исторических северных европейских языках: герм. *ur*, *il*, *in*, *im*, балт. *ir*, *il*, *in*, *im*, слав. *ъr*, *ъl*, *ъn*, *ъm* (а также реже балт. *ug*, *il*, *in*, *im*, слав. *ъr*, *ъl*, *ъn*, *ъm*), с вторичным переходом *ъn*, *ъm* > *ɛ* (*ъn*, *ъm* > *ø*) в славянском. Это важная черта в северных языках по сравнению с южными, где *TR̥-o* дает одинаково во всех языках *TaR-o*-, в то время как *TR̥-to*-, сразу сохраняясь, распадается на гласный и согласный (согласный + гласный), различно в зависимости от языка (например, *r* = греч. *ρα*, лат. *or*, кельт. *ri*, арм. *ar*) и от сonorного (например, *r*:*n* = греч. *ρα:α*, лат. *or:en*, кельт. *ri:an*). Следовательно, в южной группе имеем два хронологически различных явления, старое (общее всей группе) и новое (особое для каждого отдельного языка).

Подобно тому как на юге на месте унаследованного *TR-* распространяется *TaR-*, в северных языках встречаем вместо *TR* в герм. *TuR-*, в балто-слав. *TiR-* (балт. *TiR-*, слав. *TъR-*), поскольку речь идет о продуктивных образованиях. Первоначально форма *TR-o*- была свойственна только корням *sẹt* (<*TR̥-o*-), а форма *TR-o*- — корням *anīt̥*. Однако главное в том, что это новообразование не является индоевропейским и что прототип **m̥nē* предшественника греч. *μανῆται*, готск. *tinan*, лит. *minēti*, слав. *тьнēti* в индоевропейском еще не существовал. Единственной возможной реконструкцией является **m̥nē* (*m̥-ē*), а исторические эквиваленты являются результатом параллельного, южного и северного преобразования этой формы. Приведем несколько балто-славянских примеров.

Настоящее время в балто-славянском типа *TiRe/o*- (так называемый тип инд. *tudāti*) построено как от корней *anīt̥*, так и *sẹt*. Ср. лит. *gīnū*, *gīnti* — ‘защищать’; *imū*, *iṁtī* — ‘брать’; *pīnū*, *pīnti* — ‘заплетать’ < **ghen*, **(i)em*, **pen*-, наряду с *minū*, *mīnti* — ‘топтать’, *pīlū*, *pīlti* — ‘лить’, ‘сыпать’, **menə*, **pela*. Слав. *сыпə*, *(j)ьмтə*, *тьмə*, *ръмə*, *žьмтə* < **ken*, **(i)em*, **mer*, **pen*, **gem* — но *dъmə*, *тьмə*, *ръмə*, *тъмə*, *žъмə* < **dhemə*, **menə*, **sperə*, **temə*, **terə*, **gerə*. Славянский аорист на *ā* типа *TiRā*: *bъra*, *dъra* (страд. прич. сербо-хорв. *dřt*, жемайтск. *diřtas*), *gъna*, (*j)ьma*, *ръra* < **bher*, **der*, **ghen*, **(i)em*, **per*, но *styla*, *zъva* < **stelə*, **ghēia*. Претерит литовский на *ē* типа *TiRē*: *gimiaū*, *giniāū*, *miniaū* < **gem*, **ghen*, **men*, а также настоящее время типа *birēti* (*byrēti*), *minēti*; слав. *тьнēti* < **men*, но *ръrēti* < **sperə*. Так же в именных основах, например, лит. *giminē* — ‘род’; *iškila* (*iškyla*) — ‘вознесение’, ‘возвышенность’; *niōmirulis* — ‘эпилепсия’; *žilas* — ‘серый’, ‘синий’ < **gem*, **kel*, **mer*, **ghel*-, но *ātskiras* — ‘отдельный’; *girā* — ‘напиток’, ‘квас’; *milinŷs* (наряду с *malinŷs*) — ‘меливо’; *pāminos* — ‘вычески’ (льна и т. д.) < **skerə*, **gerə*, **melə*, **menə*.

4) Исчезновение унаследованного *samprasāraṇa* (*Re*:*R̥*) в южноевропейских языках произошло морфологическим путем вторичной вставки *ā* после сonorного *R* (а именно *Re*:*R̥* > *Re*:*Rā*), ср. „L'apophonie en indo-

européen“, § 20. На севере двузначность *R* (как нулевой ступени или от *eR* или от *Re*) утратилась только после перехода *r, l, n, m* в *ur, ul, un, um* или *ir, il, in, im*; например, балто-слав. *eR:iR=Re:Ri*.

Чередование *Re:Ri* сохранилось в первичном глаголе лит. *bredù, bridaū, bristi* — ‘брести’, слав. *bredo, bresti*, но ст.-сл. еще *neprēbr̥domъ* — ‘^жперахтос’; церк. (русс.) аорист *pribr̥de* и польск. *brnać* (< **br̥dnōti*). Другие примеры: лит. *dreskiù, drēksti* — ‘рвать’, ‘дергать’, но *dryskū, drīksti* — ‘рваться’; лит. *grīdyti* — ‘блуждаться’, ‘бродить’, ст.-слав. *grēdō, grēsti*,ср. лат. *gradior*; др.-прусск. *auklipts* — ‘укрытый’; греч. *λέπτω*, лат. *clepo*, готск. *hlifan* — ‘красить’; лит. *knebēti* и *knabōti* — ‘ковырять’ = *knibinti* и *knýboti*; *lšplečiu, išplēsti* — ‘расширять’, *splintù, splisti* — ‘расширяться’; лит. *trepšiù, trepsēti* — ‘топтать’, *trypiù, trýpti* (с вторичным удлинением) — ‘топтать’, ‘попирать’. В слав. *lbg̥t̥kъ* соотв. др.-инд. *raghū*, греч. *ελαχύς* — ‘маленький’, ‘ничтожный’, лат. *levis*; ст.-сл. *nъzъ* — ‘вбить’: *nožъ*. К этому можно прибавить итератив типа (*T*)*RiT* наряду с (*T*)*RēT*, свидетельствующий о старом чередовании (*T*)*RēT*: (*T*)*RiT* в спряжении глагола-основы. Так, например, ст.-сл. (сербо-хорв.) *ugnitati* при *-gnētati* < *gnetō*; *-gribati* : *-grēbati* (ср. также др.-чешск. *hřiú, hřbieti* — ‘быть похороненным’, ‘лежать’) < *grebo*; *-plitati* : *-plētati* < *pletō*; *-ricati* : *-rēkati* < *rekō*.

Разумеется, менее древним типом утраты апофонической двузначности *R* является различие *eR* от *Re:Rē* (вместо более древнего *Ri*). Ср. лит. *metù, mēsti*, страд. прич. *mētas* — ‘бросать’; то же *nešù, nēsti, nēstas* — ‘нести’; *vedù, vēsti, vēstas* — ‘вести’ (*samprasāraṇa* **uḡh* отмечено еще в индийском). Слав. *klepljō, pleščō, pleskati* и т. д. Старое чередование сохранилось в *rišō, rysati; pljujō, pljyvati* и т. п.

Приведенные выше апофонические преобразования 1), 3) и 4) совершились независимо на юге и на севере Европы. Тем не менее трудно установить, в какой мере независимо они совершились в германском и балто-славянском. Только утрата *samprasāraṇa* могла произойти на обособленной балто-славянской почве, поскольку она предполагает предварительный переход *R>iR*.

II

Довольно многочисленные и надежные этимологии доказывают существование в балтийских языках противопоставления *iR:uR*, соответствующего единой рефлексации *r, l, n, m* во всех индоевропейских языках. В предисловии к своему словарю (стр. V) Траутманн справедливо подчеркивает это характерное явление⁸, хотя нельзя согласиться с выдвинутым им объяснением: *iR* < индоевр. *ेR*, *uR* < индоевр. *॑R*. Из других источников известно (‘L’apophonie en indo-européen’, §§ 1 и 9), что переход *e>o* перед сонантами относится к древнейшим индоевропейским чередованиям гласных, какие в состоянии охватить лингвистический анализ. Кроме того, утрата, точнее ‘вокализация’ редуцированных гласных *e, o*, являющихся самостоятельными фонемами, более древняя, чем утрата ‘ларингальных’ (?) и тем самым — чем распад индоевропейского языкового единства (там же, § 19). Именно гипотеза И. Шмидта о том, что фонетические группы греч. *ῥα* = лат. *or* = герм. *ur* и т. д. выводятся непосредственно из *ेr, ॑r*, а не из *r*, tolknula некоторых учёных на приписывание балто-славянскому чередованию *iR:uR* индоевропейского происхождения. Этот взгляд укоренился, впрочем, прежде

⁸ Важность которого несправедливо, по моему мнению, Френкель подвергает сомнению в ‘Die baltischen Sprachen’, 1950, стр. 79.

всего у балтистов⁹. Слависты были более осторожны: в „Slave commun“ (1934, стр. 73 и 76) авторы указывают на двоякое объяснение *r*, *l*, не высказываясь о древности этого различия. А в своей „Grammaire comparée des langues slaves“ (стр. 171) А. Вайан выражает взгляд, с которым мы солидаризируемся, о том, что появление *ur* и т. д. можно подтвердить в славянском с полной уверенностью только после задненёбных (*k*, *g*, *x*). В той же позиции находится и в балто-славянском большая часть примеров с *ur*, *ul*, *in*, *im*.

Важен прежде всего тот факт, что палатальная рефлексация (*iR* и т. д.) преобладает не только в числе. Результаты *ir*, *il*, *in*, *im* появляются вопреки гипотезе Эндзелина и Траутманна даже в непосредственной апопонии до ступени *o*, например **dhuor-/*dhūr-* — ‘дверь’: слав. *dъvri*; **pont-/*pnt-* — ‘дорога’: слав. *pоtъ*, но др.-прусск. *pintis*; **ketuor-/*ketūr-* — ‘четыре’: лит. *ketuīrtas*, русск. *četvērtyj*; слав. *gora*: лит. *giriā* — ‘бор’; греч. πόλις: лит. *pilis* — ‘замок’; **(de)kōmt-/(de)kmt-* — ‘десять’, ‘декада’: лит. *dēšimt*, *simtas*; *-om/-m* (окончание вин. п. ед. ч.): лит. *mōter-i*, слав. *mater-ъ* и т. д.

Так как двойная рефлексация балто-славянского *iR*: *uR* обусловлена (по нашему мнению) фонетическим окружением, а именно предшествующим согласным, приведенные ниже примеры расположены по месту или артикуляционному характеру предшествующего согласного. Здесь приводятся только слова с *uR*, имеющиеся у Траутманна (что в известной мере гарантирует их древность)¹⁰.

После задненёбного согласного:

1) слав. **kъlejь*, **kъlyjь* — ‘клей’: греч. κόλλα, ср.-в.-нем. *helan* (<**haljan*) — ‘克莱ть’. Но возможно, по Кипарскому¹¹, заимствование из германского;

2) лит. *kuliū*, *kulti* — ‘молотить’, слав. **kъlъ* — ‘кол’; родственное лит. *kálti* — ‘ковать’, ст.-слав. *klati* (<**kolti*) — ‘колоть’;

3) лит. *kùlsis* ж. р., *kùlsé* — ‘бедро’, *kułnas* и *kulnis* — ‘пята’, слав. (болг.) *kъlka* — ‘бедро’, лат. *calx*, *calcis* — ‘пята’;

4) лит. *kimpas* — ‘кривой’, родственное *kam̄pas* — ‘угол’, ср. лат. *campus*, греч. κάμπτω — ‘гибать’;

5) слав. **kъtu*, **kъtene* — ‘пень’, чешск. *kten*, родственное **kōmъ* — ‘ком’, ‘клубок’ и т. п.;

⁹ Я. Эндзелин. Славянско-балтийские этюды. Харьков, 1911, стр. 13; его же Lettische Grammatik. Heidelberg, 1923, стр. 59. Ср. также статью К. Буга в „Švietimo darbas“, 1921, № 7-8, стр. 33.

¹⁰ Статистика числового отношения *iR*: *uR*, составленная на балто-славянских корнях словаря Траутманна, представляется следующим образом:

после задненёбного (<i>k</i> , <i>g</i>) <i>iR</i>	38 раз	и <i>uR</i>	21 раз, или <i>uR</i> в 35,6%	случ.
” зубных (<i>t</i> , <i>d</i>) <i>iR</i>	31	” <i>uR</i>	7 ” <i>uR</i>	18,4 ”
” губных (<i>p</i> , <i>b</i>) <i>iR</i>	24	” <i>uR</i>	6 ” <i>uR</i>	20 ”
” <i>s</i> <i>iR</i>	5	” <i>uR</i>	4 ” <i>uR</i>	44,4 ”
” <i>š</i> , <i>ž</i> (слав. <i>s</i> , <i>z</i>) <i>iR</i>	16	” <i>uR</i>	0 ” <i>uR</i>	0 ”
” <i>m</i> <i>iR</i>	15	” <i>uR</i>	8 ” <i>uR</i>	34,8 ”
” <i>n</i> <i>iR</i>	2	” <i>uR</i>	1 ” <i>uR</i>	33,3 ”
” плавного <i>iR</i>	22	” <i>uR</i>	6 ” <i>uR</i>	21,4 ”
” <i>u</i> <i>iR</i>	35	” <i>uR</i>	3 ” <i>uR</i>	7,9 ”
” <i>î</i> <i>iR</i>	2	” <i>uR</i>	1 ” <i>uR</i>	33,3 ”
в абсолютном начале <i>iR</i>	10	” <i>uR</i>	1 ” <i>uR</i>	9 ”
Итого	<i>iR</i> 200 раз	<i>uR</i> 58 раз	<i>uR</i> 22,5% случ.	

¹¹ „Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen“, 1934.

6) ст.-слав. *krъčiji* — ‘кузнец’, ср. кимр. *prydydd* — ‘поэт’ < **q̥rti̥jōs* < **q̥er* — ‘делать’;

7) слав. **k̥erjь* — ‘корень’, русск. *kor*, чешск. *keř* — ‘куст’, ср. ст.-слав. *korenjь*, родственное лит. *keriù* и *kerēju*, *kerēti* — ‘разрастаться’ (о деревьях);

8) лит. *kūrmis*, лтш. *kuñmis* — ‘крот’, ср. др.-инд. *kārmá-* — ‘чепчаха’;

9) слав. **k̥ernō* — ‘с отсеченными ушами’, лит. (с другим суффиксом) *kuñcias* — ‘глухой’: др.-инд. *karná-* — ‘с отсеченными ушами’, авест. *karna-* — ‘глухой’;

10) лит. *kūrpē* — ‘башмак’, слав. **k̥erpja* (сербо-хорв. *k̥plje*, польск. диалекн. *kierpcę*): греч. *κρυπτός* — ‘башмак’;

11) слав. **k̥ertvъ* — ‘вол’ (др.-польск. и совр. диалектн. *karw*), др.-прусск. *curwis*, родственное слав. **korva*, лит. **kárve* — ‘корова’;

12) лит. *gūlbis*, м. р., *gūlbē* — ‘лебедь’, лтш. *gūlbis*, слав. **k̥ylrb*;

13) др.-прусск. *gulsennin* — ‘боль’, но лит. *geliù*, *gélti* — ‘болеть’, *gilstu*, *gilti* — ‘заболеть’;

14) лит. *gūmulti*, *gūmurti* — ‘месить’ (*gūmulas*, *gūmuras* — ‘комок’, ‘шарик’ = *gāmalas*), но слав. **ž̥ytm̥o*, **ž̥et̥i*;

15) слав. **g̥erbъ* — ‘горб’, др.-прусск. *garbis* (Vocabularium: *grabis*) — ‘гора’ (в названиях местностей: *-garbs*);

16) лит. *gurklýs* — ‘зоб’, слав. **g̥erdlo* — ‘горло’; с палатальной вокализацией лтш. *dzirklis* — ‘Trichter im Fischkorb’, слав. **ž̥erdlo*, ср. ст.-слав. (русс.) *vozopi žerlom* — ‘exclamavit voce’ и укр. *žorlo* — ‘русло реки’; полная степень в лит. *gerklē* — ‘горло’ и слав. **ž̥erdlo*: словенск. *žrēlo* — ‘пасть’, ‘пропасть’, др.-чешск. *žriedlo* — ‘источник’, др.-русск. *žerelō* — ‘устье’. Корень **gerə* — ‘поглощать’, ‘глотать’, как в греч. *βάρχθρον*, диалектн. *ζέρεθρον* — ‘бездна’;

17) слав. **g̥ernbъ* — ‘очаг’: лат. *fornus* — ‘печь’, др.-инд. *ghṛṇā* — ‘зной’;

18) слав. *g̥erstbъ* — ‘горсть’ < **g̥ertati* — ‘сгребать, собирать’, лтш. *gürste* — ‘Flachsknocke’;

19) др.-прусск. *paskulit* — ‘напоминать’, родственное лит. *skeliù*, *skeléti* — ‘быть должным’, *skolà* — ‘долг’, *skilù*, *skilti* — ‘задолжать’, готск. *skal*, *skulan* — ‘быть должным, долженствовать’;

20) жемайтск. *skuñbtı* — ‘быть в нужде’, *nuskuñbęs* — ‘обедневший’, *skurbę* — ‘огорчение’, ст.-слав. *skrъbbъ* ‘θλίψις, λύπη’, сербо-хорв. *skrb*, русск. *skorbbъ*, родственное слав. **ščerbъ*, **ščyrbā* — ‘щель’, ‘зарубка’, лтш. *šķirba* — ‘щель’, ср. др.-в.-нем. *scirbi* — ‘скорлупа’, др.-англ. *sceorfan* — ‘грызть’;

21) лит. *skurdūs* — ‘несчастный’, ‘плохой’, *apskuñdęs* и *suskuñdęs* — ‘захирелый’, ‘истощенный’, *nuskuñdęs* — ‘оборванный’, вост.-лит. *skurstū*, *skuñsti* — ‘жить в нищете’, родственное лит. *skerdžiù*, *skeřsti* — ‘заколоть’ (свинью), *skérđziu*, *skérđeti* — ‘лопаться’ (о коже), *iskiñdusios*, *suskiñdusios* (*rañkos*, *nāgos*); др.-прусск. *surdis*.

Другие примеры с предшествующим *k*, *g* ср. Бернекер под *kъlbъ*, *kъrkъ*, *kъrma*, *kъrsbъ*, *kъrtbъka*, *gъlkъ*, *gъrčo*, *gъrdbъ*, *gъrtanъ* (возможно, тот же корень, что **g̥erdlo*).

После взрывных зубных:

22) лит. *tūlpinti* наряду с *talpinti* — ‘сделать место’ < *telpù*, *tilpti* — ‘уместиться’, ср. ирл. *tallaim*;

23) лит. *tulžtù*, *tułžti* — ‘размягчаться’, *patułžęs* — ‘подмоченный’, ‘влажный’ наряду с лит. *iſtilžtù*, *iſtilžti* — ‘промокать’ и перех. *िtelžiù*, *िtelžti* — ‘намочить’, ‘заливать’ (сл. **telstbъ* — ‘παχύς’ ?);

24) лит. *itumpas* — 'размах', *itampas* — 'напряжение', 'усилие' <*tempiù*, *tempti* (итерат. *tampaū*, *tampýti*) — 'натягивать', а также *timpstū*, *timpti* — 'тянуться';

25) лтш. *tumsta*, *tumt* — 'темнеть', *túmsa* наряду с *timsa* — 'темнота'. *túmss* — 'темный', лит. *tamsà* и *tamsús* (<*témsta*, *témti* — 'темнеть');

26) лит. *duriù*, *dúrti* — 'колоть' = лтш. *dúru*, *duřt* наряду с жемайтск. *derù*, *dírti* — 'сдирать', 'раздирать';

27) лит. *dumiù*, *dúmti* — 'дуть', ст.-слав. *dъmo*, *doti*;

28) лит. *stul̄pas*, *stul̄bas* — 'столб' = слав. **stъlpъ*, **stъlbъ*, с чем сопоставляется лтш. *stulbs* — 'ошеломленный', 'остолбеневший', 'столб', лит. *stalbiótis* — 'задержаться' и лтш. *stilbs* — 'предплечье'.

После взрывных губных:

29) слав. **pərxъ*, *ryrxъ* ср. русск. *perchátъ* — 'порхать', *pérchotъ* — 'перхоть', укр. *pérchaty*, *pórchaty* — 'рассыпаться', *perchkýj*, *porchkýj* — 'хрупкий' (русск. *pórchlýj*);

30) *buriù*, *búrti* — 'гадать': греч. φάραχον (?) ;

31) лит. *burnà* — 'губы', лтш. *riñns*, *purna* — 'морда', болг. *бърна* — 'губа', ср. арм. *beran* — 'губы';

32) лит. *burzdús* — 'резвый', слав. **bъrz(d)ъ* — 'быстрый';

33) лит. *spùrgas* — 'пучок', *spùrga* — 'шишка' (хмеля) <*sprógtu*, *sprógti* — 'лопаться', *sprāga*, *spragéti* — 'трещать', ср. др.-инд. *sphürja-*, авест. *fra-sparəγa-*, греч. ἀσπάραγος;

34) др.-прусск. *spurglis* — 'воробей' наряду с *spergla-wanagis* — 'кречет'.

После s:

35) ст.-слав. *sъljo*, *sъlati*, ср. готск. *saljan* — 'жертвовать';

36) лит. *siunčiù*, *siūsti* — 'посылать', лтш. *sùtu*, *sùtłt*, ср. готск. *sandjan* — 'посылать', др.-в.-нем. *sind* — 'дорога' = др.-ирл. *sét*;

37) лит. *sunkiù*, *suñkti* — 'выжимать', 'цедить', 'фильтровать', лтш. *súcu*, *súkt* — 'сосать' (итерат. *súkât*) <*señka*, *sékti* — 'высыхать', 'спадать' (о воде), ст.-слав. *iséknoti* — 'ξηραίνεσθαι', кауз. *isóčiti* — 'ξηρᾶναι';

38) лит. *surbiù*, *suřbtı* — 'громко всасывать' (жидкость), но слав. **serbljo*, *syrbati*.

После т, н:

39) лит. (*su)muldyti* — 'толочь', 'разбивать' при *malù*, *málti* — 'молот', *miltai* — 'мука';

40) лит. *mulkis* — 'глупец' = лтш. *mul̄kis*, др.-инд. *mürkhá-*, дорич. βλάξ < **mlák-*;

41) ст.-слав. *mləniji* — 'молния', ср. др.-прусск. *mealde*, кимр. *mēllt* — 'fulgor' (< **meldna*), др.-сканд. *Miøllnir* — 'молот Тора' (< **mel-luniR*);

42) лит. *mulvas* — 'красноватый', 'желтоватый' = лат. *mulleus* < **muluejos* (?), лит. *mùlsta*, *mùlti* — 'испачкаться';

43) ст.-слав. *тьпё* (дат. п.), *тьпојо* (инстр. п.), жемайтск. *tmùn*, *tmùnim*, вост.-лит. *tin* (дат. п.);

44) ст.-слав. *тьпогъ* — 'πολύς', ср. готск. *manags*, ирл. *menicc* — 'частый', лит. *minià* — 'множество';

45) сл. *tm̄rgati* (польск. *mrugać*, русск. *morgátъ*), лит. *murgai*, лтш. *mùrgi* — 'фонтомы', но лит. *mirga*, *mirgéti* — 'блескливый', 'блестеть';

46) лит. *smùrgas*, *smùrglis* — 'сопли', слав. **smъrkъ*;

47) ст.-слав. (русск.) *nyrjati*, кауэ. польск. *nurzyć*, укр. *núryty* при лит. *neriuos*, *nértis* — 'нырять', *arpírū*, *-nirti* — 'нырять', ст.-слав. *užpýrō*, *užprěti* — 'пареизднєсфай'.

После *l, r*:

48) др.-прусск. *lunkis* — 'угол', лит. *lunkausis* — 'nulenktomis ausimis', лтш. *lunkans* — 'гибкий' при лит. *lenkiù*, *leñkti* — 'гнуть, склонять', *linkstù*, *liñkti* — 'сгибаться';

49) лит. *sluñkius* наряду с *slinka* и *slankà* (общий род) — 'лентяй', 'бездельник' <*slenkù*, *slinkti*;

50) лит. *grumù*, *gruméti* — 'гриметь' при слав. **grymeti*;

51) лит. *grùmulas* — 'глыба' и т. д. = *gramanta*, *grāmatas* — 'груда', 'совокупность';

52) лит. *rum̄bas* — 'зарубка', 'шрам', но лтш. *rùobs* (< **rambas*) — 'насечка' наряду с лит. *rémbèti* — 'зарубцовываться'.

53) лтш. *trûdu*, *trûdēt* — 'распадаться', 'разлагаться', но лит. *trandēju*, *trandēti* и *trêndu*, *trendēti* — 'быть изъеденным молью или червем', 'гнить', 'рассыпаться';

После *v, j (u, i)*:

54) лит. *uřkia*, *uřkti* — 'ворчать', но *verkiù*, *veřkti* — 'плакать', *pravirkstu*, *-virkti* — 'расплакаться', слав. **vyrčati* — 'ворчать';

55) др.-прусск. *urminan* — 'красный' = *wormyan* и *warmun*, лит. *vařmas* — 'комар': др.-русск. *vermije* (слав. **vyrmbje*) — 'насекомые', укр. *vermjanyj* — 'красный';

56) ст.-слав. (русск.) *doužlénþ*, ст.-слав. *veljø*, *veléti* — 'Воуљеўсѧѳа', Ѱéлєи, ѱелєи, єпітаззеи, ѡéчєи; *volja* — Ѱéлја, ѡудохіа, лит. *pavelmi* — 'хотеть', 'позволить', *viliúos* — 'надеюсь';

57) лтш. *jumis* — 'двойной (близнецовый) плод или колос', индо-иранск. *umatá* — 'близнец', ср.-ирл. *etuin* — 'близнец'.

В начале слова:

58) лит. *ungstu*, *ungti* — 'визжать', но (с различием как в гласном, так и в согласном) слав. **ęčø*, *ęčati* — 'стонать', ср. греч. ὀγκάωμα — 'кричать' (об осле), лат. *incare* (о медведе), алб. *angoj* — 'стонать', 'жаловаться', ирл. *ong* — 'стон', ср.-н.-нем. *ankan* — 'стонать'.

Здесь не учтены такие формы, как лит. *bužbulas*, слав. *bøbøljø*; лит. *bužbtı* и *bižbtı*, слав. **bъrbotъ*; лит. *kužkti*, слав. **kъrknoti*; лит. *murméti*, слав. **търмърати* и т. д. (Траутманн. Указ. соч., стр. 39, 145, 190), гласный которых не представляет старой нулевой ступени, но скорее ономатопоэтического происхождения.

Здесь следует исправить положение того же автора относительно славянских форм *už/uø* (стр. 69) и *zž/sø* (стр. 249 — 250). Формы *už* и *zž* (предлоги и префиксы) совсем не представляют собой старой нулевой ступени к (*v)ø*, *sø*, выступающим в именных образованиях. Как в случае *už:(v)ø*, так и в случае *zž:sø* первоначально единая звуковая форма наречного значения распалась в славянском соответственно с фонетическими условиями своего употребления.

Именные образования были унаследованы из индоевропейского. Наречие, выполняющее функции первого члена образования, нормально подчиняется фонетике середины слова. Независимо от того, было ли старой формой *on-*, *son-* (<*som-*) или *in-* (<*ŋ-*), *sun* (<*sŋ-*), славянскими соответствиями внутри слова могли быть только *(v)ø-*, *sø-*. Срастание наречий с личным глаголом представляет собой, однако, позднее явление

и относится уже к истории отдельных языков. В формах *uþ*, *sþ* находим фонетический рефлекс, свойственный концу слова, ср. *uþlk-þ* (<-*-on*), *t-þ* (*t-on*), *syn-þ* (-*ip*) и т. д. Формы *uþ*, *sþ* соединились с личным глаголом только после редукции конца слова. Понятно, что именные производные, образованные от сложных глаголов, принимали редуцированную форму глагольного префикса, т. е., например, *sþ-tþrtb* (вм. **sþ-tþrtb*). Формы с полным префиксом *uþ-*, *sþ-*, хотя довольно многочисленные и ощущаемые как сложные, как правило являются типом морфологически мертвым.

Рефлексация конца слова очевидна в предлоге *kþ* (*kþl*), точном соответствии др.-инд. *kat*, авест. *kat* (Траутманн, стр. 145, неверно принимает старую апофонию **k_om*: *kom*).

Приведенная выше сухая статистика примеров с *i*+сонорный и *u*+сонорный не благоприятствует мнению, что окраску *i* в *uR* следует приписать предшествующему задненёбному. Задненёбные занимают место, следующее после *s* и едва превышают *t*, *n*, *i*, хотя можно было бы справедливо отметить, что слишком ничтожное число образований типа *seR(9)*, *neR(3)*, *ieR(3)* снижает доказательную силу этих сочетаний.

Прежде всего некоторые из приведенных примеров не надежны, хотя бы в фонетическом отношении. Как в литовском, так и в латышском следует считаться с диалектными формами: группы *-ip-*, *-im-* могут представлять диалектную (восточную) рефлексацию старых *-an-*, *-am-*. (Ср. №№ 4, 14, 24, 25, 37, 49, 51, 52, 53, 57, 58). Сопоставление *siunciù* — 'посыпать': *siuaciù* — 'просеивать' представляется обоснованным, если говорить о первоначальном корне **seut*. В славянском сочетания *-yl-* и *-el-*, которые всегда смешиваются в южной и восточной группе, не всегда различаются даже в польском языке (например, *dlugi* < **dylgþ*, *dlug* < **dylgþ*). Славянский прототип *þl* ненадежен в случае №№ 23, 28 или 41. В самом старославянском слабые *ь* и *ъ* часто путались в зависимости от палatalности и непалatalности гласного последующего слога. Прототип с *ъ*, приведенный в №№ 43 и 44, следовательно, сомнителен. Кроме того, весьма не надежны некоторые этимологии, по мнению Траутманна (№№ 30, 35, 36), в других унаследованное чередование *eR/uR*, *oR/uR*, *iR/uR* представляется неправдоподобным (№ 29 *rþxþ*: *rþxþ*; № 34 *spergl-a*: *spurglis*; № 55 *wormyan*: *urminan*). Слав. *pyrgati* (№ 47) относится к *pþrg* как польск. *-rychać* к *rchać* < **rþxati*, а *dovzleti* (№ 56), поскольку несет старый *-þ*, можно, по Траутманну, вывести из **uþlē-* < **ulē-* (ср. др.-инд. *urāná-*).

Лучшей гарантией унаследованного тембра *uR* является в славянском предшествующий задненёбный (*k*, *g*, *x*); предшествующий палatalный (*č*, *ž*, *š*) является верным доказательством старого *iR*.

После сделанных выше исключений из общего числа примеров процент *uR* с предшествующим задненёбным возрастает свыше 50% всех примеров с *uR*. Однако ясно, что только статистика не может привести к окончательной ясности, т. е. разрешению проблемы происхождения типа *uR*, древность которого представляется неоспоримой.

Мы утверждаем, что балто-славянское *uR* представляет собой фонетическое последствие *R* после задненёбных *k*, *g*, *sk*. Переход *R* в *uR* после задненёбных, в *iR* после всех остальных согласных произошел после общей палatalизации йотированных согласных (согласный + *i*), которая изменила фонологическую позицию задненёбных по отношению ко всем остальным согласным.

Слависты и балтисты до сих пор дружно признавали, каждый в своей области, палatalизацию всех согласных при столкновении с последующим *i*. Но никто не искал в этом очень старой и важной балто-сла-

вянской изоглоссы. До некоторой степени это понятно, если принять во внимание неоднородность литовских и славянских результатов. Поскольку мы выводим слав. *š*, *ž*, *č* непосредственно из *s̄i*, *z̄i* и *x̄i*, *ḡi*, *k̄i*, т. е. пропускаем главную фонологическую стадию, стадию оппозиции *s:s'*, *z:z'*, *g:g'*, *k:k'*, дальнейшее развитие которой (*z', g' > ž* и т. д.) представляет собой вторичную стадию, принципиально отличающуюся от предыдущей, мы лишаем себя возможности сравнивать первоначальную стадию с современным литовским *s'*, *g'*, *k'* и т. д.¹²

В фонологическом процессе палатализации как славянской, так и балтийской следует различать последовательные фазы. Огромной помощью в этом отношении является сопоставление литовского с латышским. Представляется несомненным, что в общебалтийском существовала серия палатальных согласных, обладающих фонологической самостоятельностью. В то время как литовский сохраняет ее в основном без изменений, модифицируя, самое большое, *t'*, *d'* в *č(i)*, *dž(i)* (на севере жемайтский сохраняет *t'*, *d'* в середине слова), латышский пошел дальше, заменяя иногда унаследованные палатальные артикуляции по способу, очень напоминающему славянскую эволюцию:

Общебалт.	Лит.	Лтш.	Общеслав.
<i>k'</i>	<i>k'</i>	<i>c</i>	<i>č</i>
<i>g'</i>	<i>g'</i>	<i>dz</i>	<i>ž</i>
<i>t'</i>	<i>č(i)</i>	<i>š</i>	<i>t'</i> ¹⁴
<i>d'</i>	<i>dž(i)</i>	<i>ž</i>	<i>d'</i> ¹⁴
<i>s'</i>	<i>s'</i>	<i>š</i> ¹³	<i>š</i>
<i>p'</i>	<i>p'</i> ¹⁵	<i>pl'</i> ¹⁶	<i>pl'</i>
<i>b'</i>	<i>b'</i> ¹⁵	<i>bl'</i> ¹⁶	<i>bl'</i>
<i>v'</i>	<i>v'</i> ¹⁵	<i>vl'</i> ¹⁶	<i>vl'</i>
<i>m'</i>	<i>m'</i> ¹⁵	<i>ml'</i> ¹⁶	<i>ml'</i>
<i>n'</i>	<i>n'</i>	<i>n'</i>	<i>n'</i>
<i>l'</i>	<i>l'</i>	<i>l'</i>	<i>l'</i>
<i>r'</i>	<i>r'</i>	<i>r'</i>	<i>r'</i>

Вторичная палатализация литовских согласных перед гласными переднего ряда *i*, *y*, *e*, *ē*, *ie*, *ei*, *j*, *ē* — явление очень позднее, не имеющее связи с балтийской палатализацией. Вероятно, здесь влияние соседних славянских языков (белорусский, польский). Хронологическая разница между этими двумя смягчениями очевидна (*t'e*, *t'i*, *d'e*, *d'i*, но *č[i]*, *dž[i]*), что освобождает нас от анализа современного литовского языка.

Таким образом, нам представляется, что ничто не противоречит гипотезе о балтийской палатализации йотированных согласных, образующей самостоятельные палатальные фонемы. Но еще остается исследовать, можно ли считать одинаковыми условия и распространение палатализации в этих двух языковых группах.

Фонологическая палатализация последующим *j* представляет собой результат частичной или полной утраты *j*, стоящего после согласного. В случае частичной утраты (т. е. только перед некоторыми гласными) противопоставление „твёрдый:мягкий“ распространяется на все места

¹² С другой стороны, литовская орфография, изображающая палатальность согласного с помощью *i* перед задним согласным, может привести к ложному представлению, что первоначальный *j* сохранился, а мягкость согласной — только комбинаторный вариант ее нормального произношения (твердого).

¹³ То же в др.-прусск. *schuwalkis* — ‘сапожник’.

¹⁴ В диалектных группах (южной, восточной, западной) последствия различны.

¹⁵ Вторичное распадение на губной согласный + *j* в начале слова (*pjáuti* и т. п.).

¹⁶ В начале слова.

артикуляции (на все согласные). Напротив, полное исчезновение *i* после согласного (т. е. исчезновение перед всеми гласными) дает в результате противопоставление „твёрдый: мягкий“ только для некоторых мест артикуляции (обычно только для задненёбных). Пример на первый случай — балто-славянская палатализация, речь о которой будет ниже. Пример на второй случай — староанглийская палатализация, состоящая в полной утрате *i* после согласного и дающая в результате противопоставление „твёрдый: мягкий“ только для *k*, *g*, *sk*. Принципиальное различие этих двух типов палатализации заключается в зоне нейтрализации, необходимой для существования фонологического противопоставления „твёрдый: мягкий“. Такой зоной является или последующий гласный (например, *e*), или место артикуляции согласного (например, всякая артикуляция за исключением задненёбных).

Известно, что в балтийском *i* после согласного утратился без следа перед *ē*, тогда как перед *ā*, *o*, *ū* он палатализовал предшествующий согласный (перед *ī* в унаследованных словах *i* выступать не мог). Относительные чередования до сих пор существуют в литовской флексии. К им. п. *uýras* — ‘муж’ имеем эв. п. ед. ч. *uýre*, но к *svēčias* — ‘гость’: *svetē* (в настоящее время диалектная форма вм. *svetŷ*), а к *vélnias* — ‘чорт’: *vélnē*. К *pilnas* — ‘полный’ им. п. мн. ч. звучит *pilnī*, *pilnīeji*, дат. п. мн. ч. *pilnīems*, но к *tūšcias* — ‘пустой’ соответствующие формы таковы: *tuštī*, *tuštīeji*, *tuštīems*. Твердому типу *liekū* — ‘оставляю’ (2-е лицо *liekī*, возвратная форма *liekīes*) соответствует мягкий тип *verciū* — ‘переворачиваю’, *vertī*, *vertīes* и *lēidžiu* — ‘пускаю’, *lēidi*, *lēidies*; такое же положение в уступительном наклонении *te-liekiē*, но *te-vertīē*. Сравнительная степень *sald-ēs-nis* от *saldūs* — ‘сладкий’ содержит старый суффикс *-jes-*. В причастии претерита *mātēs*, род. п. *māčiusio* (наряду с *vedēs*, *vēdusio*), мы также должны признать исчезновение *i* перед *e*¹⁷.

На первый взгляд представляется, что балтийское развитие отлично от славянского. Славянская рефлексация групп типа *Tie* ($> T'e$) параллельна рефлексации *Tio* ($> T'o > T'e$) или также *Tiū* ($> T'ū > T'i$). Но историческое состояние славянского вторичное. Уже до эпохи древнейших текстов палatalные согласные модифицировали последующие задние гласные: *T'ō > T'b*, *T'y > T'i*, *T'o > T'e*, *T'a > T'e*. Таким образом, сочетание *T'e*, отсутствующее в балто-славянской фонологической системе (поскольку *Tie* перешло в *Te*, а не в *T'e*), появляется в славянском. Более того, *T'i*, которое ни в коем случае нельзя выводить из индоевр. *Tū* (поскольку группы этого рода там не существовало), также становится допустимым в славянском, ср. вин. п. ед. ч. м. р. *berōštī*, им. п. ед. ч. ж. р. *berōštī*, лит. соответствия *-anti*, *-anti* (индоевр. *-ont-m*, *-ont-i*).

Вследствие сказанного выше чередование согласных балто-слав. *T*+гласный заднего ряда: *Te*, сохранившееся до сих пор в литовском, исчезло в славянском, где находим, например, *češō:češetō* (а не **česetō*), *klepl'ō:klepl'etō* (а не *klepetō*), *klopot'ō:klopot'etō* (а не **klopotetō*) и т. п.

Коль скоро комбинация *T'e* стала допустимой, *T* было здесь автоматически заменено *T'*, так как было лишь фонологическим заменителем *T'* перед *e*¹⁸.

¹⁷ В жемайтском мягкость утрачивается даже перед *e* вторичным, происходящим из *a*. Лит. *jáučiai* — ‘волы’: жемайтск. *jáutei*, дат. п. *jáučiams*: *jáutems*; лит. *mēdžiai* — ‘деревья’: жемайтск. *mēdei*, дат. п. *mēdžiams*: *mēdemis*.

¹⁸ Подобное распределение встречаем в полабском (утрата мягкости перед гласным переднего ряда, перед согласным и на конце слова), а также в японском (*T* и *T'* перед *a*, *o*, *u*, но только *Te*, *Ti*). Ср. N. S. Trubetzkoy. Grundzüge der Phonologie. Polabische Studien. Wien und Leipzig, 1929, стр. 139; „Travaux du Cercle Linguistique de Prague“, 7, 1939, стр. 92—93.

Историческое состояние славянского не противоречит, следовательно, гипотезе балто-славянской палатализации, основанной на изменении $T\acute{e} > Te$ (с твердым T). Эту гипотезу подтверждают, с одной стороны, факты литовского языка, а с другой — общефонетические взгляды. При такой предпосылке балто-славянская система согласных опиралась бы прежде всего на противопоставление „твёрдые : мягкие“:

непалатальная серия: $k \ g \ t \ d \ s(z)$ ¹⁹ \check{s} ²⁰ \check{z} ²¹ $p \ b \ v \ m \ n \ l \ r$;
палатальная серия: $k' \ g' \ t' \ d' \ s'$ $\check{s}' \ \check{z}' \ p' \ b' \ v' \ m' \ n' \ l' \ r'$.

Существенным моментом является древность фонологического противопоставления „твёрдый : мягкий“. Оно возникло, по нашему мнению, до перехода R в iR ($R = r, l, n, m$).

Для наших целей важна позиция задненёбных k, g в пределах этой системы. Перечисленные здесь согласные были твёрдыми или мягкими перед гласными заднего ряда, только твёрдыми перед $\check{\text{e}}, \check{\text{i}}$ и перед согласным. Задненёбные занимали особую позицию. Перед гласными $\check{\text{e}}, \check{\text{i}}$ они были точно так же палатальными, как их первоначальные йотированные формы. Общеизвестен факт, что задненёбные особенно чувствительны к воздействию последующего гласного переднего ряда. Так, например, в романских языках или в шведском \dot{i} палатализует все согласные, но воздействие $\check{\text{e}}, \check{\text{i}}$ и других гласных переднего ряда распространяется только на велярные.

Приняв во внимание эту поправку, можно следующим образом представить балто-славянскую систему согласных:

противопоставление T (перед всеми гласными, а также перед согласным) : T' (только перед гласными заднего ряда) для $t, d, s(z), \check{s}(<\hat{k})$, $\check{z}(<\hat{g})$, p, b, v, m, n, l, r ;

противопоставление k, g (перед гласными заднего ряда, а также перед согласным) : k', g' (перед всеми гласными).

Такое распределение велярных засвидетельствовано славянской группой, где k, g перед палатальным гласным развиваются так же, как старые k_i, g_i ; например, *placq* (< **plākiō*) и *rečetъ* (< **reketi*), *mogъz* (< **mongio-*) и *mogžetъ* (< **mogheti*) и т. д. Его подтверждает также латышский. Например, *lieci* — ‘сгибаю’ = лит. *lenkiū*, *stēidzu* — ‘тороплюсь’, ср. лит. *steigīuos* — ‘стараюсь’, как лтш. *lūocīt* = лит. *lankýti*, лтш. *aūdzināt* — ‘воспитывать’, ср. лит. *auginti*.

Что же касается литовского, то идентичность в произношении k, g в *lenkiū* и *lankýti*, *steigīuos* и *auginti* ничего не доказывает, так как в современном языке идентичность в произношении существует так же для \acute{n} (например, *miniù* и *minēti* — ‘вспоминать’), \acute{r} (например, *periù* и *perēti* — ‘выводить’, ‘высаживать’ (птенцов) и т. д.). Но славянские языки, а также латышский достаточно доказывают существование специального противопоставления твёрдости и мягкости для задненёбных.

Следует прибавить, что балто-славянское распределение твёрдых и мягких согласных означает одновременно соответствующее разделение гласных на мягкие ($\check{\text{e}}, \check{\text{i}}$), перед которыми задненёбные согласные всегда мягкие, а все остальные согласные всегда твёрдые, и твёрдые гласные ($\bar{a}, \bar{o}, \bar{u}, \bar{r}, \bar{l}, \bar{v}, \bar{m}$), перед которыми существует противопоставление твёрдых и мягких.

Изменение r, l, v, m в *ir, il, in, im* не касается в общем артикуляции предшествующего согласного: в таких группах, как *tiR, diR, siR, <tR, dR, sR* и т. д. согласный в дальнейшем непалатальный (твёр-

¹⁹ Комбинаторный вариант *s* перед звонким взрывным.

²⁰ Результат индоевр. *k*.

²¹ Результат индоевр. *g(h)*.

дый). Но в частности в группах *kR*, *gR* развитие *R* > *iR* повлекло бы за собой фонологическое изменение *k*, *g* в *k'*, *g'*, если бы вокальная окраска не сформировалась под влиянием предшествующего задненёбного согласного. Поскольку этот последний был твердый, краткий гласный, развивающийся перед *R*, мог быть, следовательно, только заднего ряда: *u(R)*.

Мы должны считаться с возможностью распада под влиянием фонетических условий вновь образовавшейся фонемы или фонологической черты. В современных языках мы находим аналогии этому. В польском *ŕ* (палатальное) совпадает в общем со старым *ž*, но переходит в *š* после согласного, фонологически глухого, хотя нормально ассимиляция звонкости регрессивная. Например, польск. *rzadki* [ʐatk'i], *grzać* [gʐać] < слав. *rědъkъjь*, *grēti*, но польск. *krzak* [kʂak] < слав. *kъrakъ*. Это значит, что спонтанным результатом *ŕ* является *ž*, но что фонологическая глухость *k* затормозила это развитие, которое повлекло бы иначе фонологическое озвончение *k* в *g*. Подобно этому в слове *kwiat* [kf'at], слав. *kuětъ*, *v* утратило свою нефонологическую звонкость (*f* не существует в славянском), чтобы совпасть с *f*, возникшим в родственных формах вследствие комбинаторных изменений (*ufać* < *ipъvati*, *obfity* < *oplъviti*).

Следовательно, балто-славянское *R* переходит в *iR* после велярных, в *iR* после всех остальных гласных.

Это распространение не совпадает с историческим состоянием, хотя преобладание *kuR*, *guR* над *iR* после других согласных оставило в исторических языках отчетливый след. С одной стороны, не только после заднеязычного появилось *iR*, но также, хотя и реже, после других согласных появляется *iR*.

Нормальная апофonia *eR:iR* с легкостью восстанавливается после велярных согласных, поскольку семантическая связь между дериватом в нулевой степени и основой в полной степени ощущается, как живая:

TeR:TiR (*T*=какой-либо невелярной согласной)=*k'eR* (*k* палатальное перед *e*): *k'iR* (*k* палатальное перед *i*).

Следовательно, например, инфинитив и причастие прошедшего времени (=старые дериваты *-ti-* и *-to-*) от глагольных корней типа *keR*, *geR* нормально имеют формы *kiRti-*, *kiRto-* (а не *kuRti-*, *kuRto-*); например, *getù*, *gīmti*, *gīm̄tas*—‘родиться’ (др.-прусск. *nauna-gimton*—‘новорожденный’); *genù*, *gīnti*, *gīntas*—‘мчаться’, ‘гнать’; *gīnklas*—‘оружие’; *ginù*, *gīnti*—‘защищать’; *kemšù*, *kīm̄sti*, *kīm̄stas* (ср. слав. *čestъ*)—‘напихивать’; *kerpù*, *kīrpti*, *kīrptas*—‘стричь’; *kertù*, *kīrsti*, *kīrstas*—‘сечь’. Инкоативные или непереходные глаголы на *-sta-* или с носовым инфиксом всегда имеют *iR* наряду с *eR* основного глагола, следовательно, *gelìù*, *gélti*—‘болеть’: *gilsta*, *gil̄ti*—‘заболеть’; *keliù*, *kélti*—‘поднимать’: *kilù*, *kilti*—‘подниматься’; *kiltis* и *kiltis*, ж. р., *kilmē*—‘происхождение’, ‘род’, *iskilùs*—‘благородный’, ‘возвышенный’; *skeliù*, *skélti*—‘расщепить’, ‘разбить’: *skilù*, *skilti*—‘лопаться’, жемайтск. *skilà*—‘полено’, ‘щепка’; *skelù*, *skeléti*—‘быть должным’: *skilù*, *skilti*—‘задолжать’; *skerdžiù*, *skerfti*—‘заколоть’ (свинью): *iskīodusios*, *suskīodusios* (*rañkos*, *kójos*)—‘полопавшиеся’. К *geriù*, *gérty*—‘пить’ относится *girà*—‘напиток’ и *girdyti*—‘поить’; к *keriù*, *keréti*—‘разрастаться’ др.-прусск. *kirno*, лит. *kirna*—‘кусты’ (тогда как в слав. **kъr(akъ)* сохраняет старый гласный). Траутманн неправ, утверждая, что *kъrъ* заключает ъ как степень исчезновения к полной ступени о в **korenъ*. Правильное толкование: в **kъrъ* сохранился фонетический гласный, поскольку в славянском не существовала или уже утратилась основа, заключающая полный гласный *e*.

Палатальное развитие имеем в слав. *-сьлq*—‘начинать’, *сьrtq*—‘сечь’, *сьrq*—‘черпать’, *žьtq*—‘жать’, *žьnq*—‘жать’ (хлеб), *žьrg*—‘жрать’,

где оно обосновано полной степенью инфинитивов *-četi*, **čer(p)ti*, **čersli*, *žeti*, **žerti*.

Ср. еще слав. *želqdb*: лит. *gilė*—‘жолудь’; слав. *žvltъ*: лит. *gełtas*—‘белесый, желтый’; слав. *žbrnъvi* (ж. р. мн. ч.) и лит. *girnos*: готск. (*asila-*)*qaírnus* (ж. р.) и др.-в.-нем. *kuérna*—‘ручная мельница’; лит. *kiřvis*—‘топор’: греч. ζείρω; лит. *skiriù*, *skirti*—‘разделять’: герм. *skeran*—‘сечь, стричь’ и т. д.; слав. *ščyrba*: др.-англ. *sceorfan*—‘грызть’; слав. **žbrdb*—‘ξύλον’: готск. (*bi)gaírdan*—‘опоясать’ и т. д.

Но для целого ряда изолированных случаев, как например лит. *girià*—‘бор’ (слав. *gora*), слав. **žyldjo*, *žyldeti*—‘желать’ (др.-инд. *gr̥dhyati*), слав. *čyteljъ*—‘шмель’, лит. *kirmis* и слав. *čyrvъ*, др.-прусск. *kirsnan* и слав. *čyrnъ*, напрасно искать основы с гласным *e*, что, впрочем, принимая во внимание древность явления, совсем неудивительно.

Приведенное здесь объяснение перехода *R* в *uR* после задненёбного отличается от концепции Вайана тем, что он считает гласный и идентичным лабиовелярному прилагатку согласных *q*“, *g*“, *gh*“, тем временем и появляется и в тех случаях, когда кентум-языки имеют чистый велярный. Кроме того, нельзя утверждать с уверенностью, что лабиовелярные существовали уже в индоевропейском прайзыке. Что касается теории Эндзелина и Траутманна (*iR*—ступень редукции к *eR*; *uR*—ступень исчезновения к *oR*), то следует подтвердить, что влияние гласного *e* способствовало, как видно из только что приведенных примеров, распространению *iR* после задненёбного, тогда как гласный *u* присущ остаточным формам, не затронутым восстановлением нулевой ступени, и совсем не является фонетическим последствием *oR*. Можно допустить, что при отсутствии живых основ с гласным *e* (т. е. когда основа утратилась или заключала только гласный *o*), ступень исчезновения *uR* сохранилась после задненёбного.

Морфологическая позиция форм с гласным *uR* относительно значения всегда ясна там, где наряду с ними существуют формы с *iR*. Первые имеют характер остаточных, отягощены вторичными семантическими функциями, переносным значением и т. д. Наряду с **gurtlo*, **gurd(h)lo*—‘горло’ (лит. *gurkl̩ys*, слав. *gъrđlo*), несомненно старой формой, соответствующей греч. βαρδόν (ср. № 16), балто-славянский язык образовал от корня **ger* (лит. *gér̩ti*, слав. **žerti*) позднее производное **girtlo*, **gird(h)lo* (лат. *dzirklis*, русск. *žerlo*); третьеразрядной формой, воспроизводящей гласный глагольной основы, является **gertlo*, **gerd(h)lo*. Слав. *ščyrbъ*, *ščyrba*—‘щербина’ имеет этимологическое значение, слав. *skъrbъ* (θλίψις, λόπη) —переносное значение. Подобное отношение существует между лит. *suskiřd̩es*—‘полопавшийся’ и *suskurđd̩es*—‘похудевший’ (<*skeřsti*).

Единственным следом старого чередования *keR*: *kuR*, который сохранился во флексии, является отношение *ženq*: *gъnati*²², поскольку здесь не идет речи о морфологической замене **gn-a-ti* формой *gъn-a-ti*, причем *-t̩n-*, а не *-t̩l-* (как в *bъrati*) объяснялось бы непалатальной артикуляцией задненёбного *g*. Древнепрусский также имеет *up* в *guntwei*—‘мчаться, гнать’, *guntitmai*—‘мчимся’. В древнепрусском находим также *gulsennin* (вин. п.)—‘боль’, наличие которого предполагает существование **gult*—‘болеть’ (лит. *gel-*, *gil-*),ср. *gimseñin*—‘рождение’ <**gimt*.

Когда отношение *kiR*: *kuR*, *giR*: *guR* приобрело ряд семантических функций, оно могло оказаться продуктивным и после невелярных согласных. Однако в нашем распоряжении имеются слишком отрывочные

²² Вайан (указ. соч., стр. 171) неверно приписывает окраску и предшествующему индоевропейскому лабиовелярному (**ghʷen*: **ghun*).

данные, для того чтобы обосновать гласный *iR* в каждом индивидуальном случае с точки зрения семантики.

Окончательный вывод, к которому мы приходим — неправдоподобность индоевропейского различия, соответствующего балто-славянской оппозиции *iR*:*uR*. Хотя не одна специальная этимология с гласным *uR* остается неясной и хотя, с другой стороны, в некоторых очевидных этимологиях сохранение старого *iR* не удается обосновать непосредственно, теперь уже представляется определенным, что мы имеем дело лишь с балто-славянским различием унаследованных сонантов.

Приведенное выше объяснение *iR*, *uR* опирается на предпосылку, что балто-славянская палatalизация — более древнее явление, чем вокализация сонантов (*j*, *l*, *n*, *m* > *ir*, *il*, *in*, *im*).

III

Первоначальное распределение интонаций в балто-славянском, в той мере, в какой возможно рассмотреть сквозь наслонившиеся на него пласти морфологических метатоний (см. „L'accentuation des langues indo-européennes“, стр. 197—198), предполагает построение слова, отличного от того, какое показывают исторические языки. Противопоставление „краткий:долгий“ не было ограничено слогами типа *E*:*Ē* или *ĒT*:*ĒT*, но распространялось также на слоги с тавтосиллабическим сонантом (*ĒR*:*ĒR*). Количественная оппозиция охватывала, следовательно, в балто-славянском и дифтонги в широком значении этого слова (*ēi*:*ēi*, *ēr*:*ēr*, *ēn*:*ēn* и т. д.). Только сокращение долгих дифтонгов, которое произошло в балто-славянском, так же как во всех других европейских языках, уравняло относительно интонации *ē* и *ei*, *er*, *en* и т. д. Перед этим сокращением *ēi* или *ēr* не принимали на себя интонацию, как и *ē*, *ō*, *ī*, *ū* (*j*, *l*, *n*, *m*).

Данные этимологии говорят об относительно позднем происхождении дифтонгов, предполагаемых интонацией, в значительном большинстве случаев. Эти долгие дифтонги вторичного происхождения выводятся из старых групп *ER₂*, *R₂*. Утрата элемента *ə* удлинила гласный предшествующего слога: *ER₂*>*ĒR* (противостоящее старому *ER*); *R₂*>*R* (противостоящее старому *R*) или *iR* (противостоящее *iR*) в зависимости от того, произошел переход *R*>*iR* позже или раньше утраты *ə*. Эта альтернатива, впрочем, не имеет здесь значения.

Однако представляется верным другое хронологическое отношение: переход *ER₂*>*ĒR* древнее возникновения интонации. Противопоставление „акутовая: циркумфлексная“ (*ē*:*ē*, *ēi*:*ēi*, *ēr*:*ēr*, *ēn*:*ēn* и т. д.)нейтрализовано в *ē*, *ēi*, *ēr*, *ēn* и т. д., которые не несут на себе интонации. Только после сокращения долгих дифтонгов возникает историческая оппозиция *ē*:*ē*, *ēi*:*ēi*, *ēr*:*ēr*, *ēn*:*ēn* и т. д., нейтрализованная в *ē*, которое не несет на себе интонации. Следовательно, относительная хронология была бы такова:

- 1) *ER₂*>*ĒR*, *R₂*>*R* (или *iR₂*>*iR*);
- 2) возникновение интонации;
- 3) сокращение долгих дифтонгов (в широком смысле этого слова).

Долгие дифтонги возникли и исчезли в очень отдаленную доисторическую эпоху. Возникает вопрос, оставили ли они в исторических языках конкретные следы кроме интонации. Ответ на этот вопрос утвердительный. Вследствие морфологических, флексивных и словообразовательных процессов долгие дифтонги еще до их сокращения оказались в позиции перед гласным, что сохранило их от сокращения (-*ĒR*+*e-*>-*Ē*+*Re-* сохраняет долготу в противоположность -*ĒR*+*t-*).

Так называемая удлиненная балто-славянская степень часто основана именно на позиции долгих дифтонгов перед гласными. Их более позднее сокращение перед согласным затемняет на первый взгляд это первичное положение вещей.

Так, например, образованные от глаголов *gér̄ti* — ‘пить’, *képti* — ‘печь’ первоначальные основы на *-īgo-* (вероятно, среднего рода) звучали как: *gēris* — ‘напиток’ (по отношению к **gērti*), но **kēpis* (по отношению к *képti*)²³.

После сокращения **gērti > gerti* получаем *gerti : gēris = kepti : x* (*x = kēpis*).

Может быть и такое положение, что производные формы имеют согласный суффикс (окончание) в противоположность гласному основы.

Итак, основа *-ER + e-*, производная форма *-ER + t-*. Например, *geriù:* будущ. вр. **gērsiu,* отсюда еще перед сокращением *lekiù : lēksiù.*

Наложение ступени удлинения на унаследованный из основы гласный происходит только в том случае, если основа и производная форма не различаются между собой окраской. Если, например, производная форма требует полной ступени гласного *o* (например, производное типа *torù:*), то дополнительное удлинение происходит только тогда, когда ступень *o* равна нормальной, т. е. у корней с основным гласным *o*. Ср. лит. *káju, káuti* — ‘бить’, ‘убивать’, *kráju, kráuti* — ‘накладывать’, *kovà* (<**kāva*) — ‘борьба’, *krovà* (<**krāva*) — ‘груз’.

Сходство окраски гласного между основой и производным позволяет выделить долготу и перенести ее в качестве добавочной характеристики на производные с краткими корнями (*anit*), например лит. *sravù, sravéti* — ‘плыть’, ‘течь’, *srovē* — ‘поток’, лтш. *stràva* — ‘текущее’ и т. п. Но, например, к лтш. *dègti* — ‘куриТЬ’ имеем лит. *dagà*.

Только постепенно удлинение распространяется также на производные, обнаруживающие по отношению к основе изменение тембра коренного гласного.

Балто-славянскую удлиненную ступень находим прежде всего в спряжении и в производных от глагольных основ. Она не может существовать в склонении или в отыменных производных по той простой причине, что ни одна форма номинальной парадигмы не имеет структуры *-ER + t-*, т. е. ни в одной форме склонения не существует окончания на согласный, присоединенный без гласного. Даже так называемые ‘‘средние’’ падежи старых основ на согласный имеют гласные окончания, например лит. *-i-mi, -i-mis, -i-ms.* Тем временем в спряжении чередование морфем на согласный и на гласный существует до сих пор, особенно в литовском: наст. вр. на *-i, -i, -a*, претерит на *-e, -o*, причастия на *-ant, -us*, но имперфект на *-davaai*, будущ. вр. на *-siù*, страд. причастия на *-tas*, инфинитив на *-ti* и т. д. Этот характерный штрих балто-славянского спряжения особенно бросается в глаза, если сравнить последнее с германским (единственное окончание на согласный там *-t*, окончание 2-го лица единственного числа претерита, и то только в готском и скандинавском, тогда как западногерманская группа имеет *-i*).

Областью распространения удлиненная балто-славянская ступень не отличается от унаследованной апофонии, которая также свойственна спряжению и отыменным производным.

Отыменные или вторичные производные повторяют только гласный основы, от которой они образованы, например *travynikъ < travâ* (<*truti*). Но их гласный может быть истолкован как чередование гласных, если вследствие изменения (фонетического или морфологического) основы он

²³ Для упрощения примеры даны в форме новолитовского языка.

с определенного момента противостоит новому гласному. В литовском встречаем по крайней мере один такой случай (тип *gražūs*: *grōžis*).

Удлинение, сопровождающее нулевую ступень, встречаем у глаголов на *-i*, *-ē* (IV класс Лескина): литовские —

dvesiù, *dvesti* — ‘издыхать’
genù, *giñti* — ‘мчаться’

keliù, *kélti* — ‘поднимать’
lieciù, *liesti* — ‘касаться’
liedžiu, *listi* — ‘пускать’
véizdžiu, *veizdëti* — ‘смотреть’, ‘за-
мечать’

kvepiù, *kvepti* — ‘вдохнуть’
áugu, *áugti* — ‘растить’
láukiu, *láukti* — ‘ждать’
dairaãs, *dairytis* — ‘оглядываться’

dūsiù, *dāsēti* — ‘ышать’
gyniù, *gynéti* — ‘торопить’, ‘прину-
ждать’

kyliù, *kyléti* — поднимать осторожно
lyciù, *lytéti* (intensivum)
lydžiu, *lydëti* — ‘проводить’
pavýdžiu, *pavydëti* — ‘завидовать’

(*kúpu*), *kupéti* — ‘кипеть’
paügiù, *paügëti* — ‘подрасти’
lükiu, *lükéti* (intensivum)
dýriu, *dyréti* — ‘подстерегать’

В славянском находим: *viždø*, *vidëti*; *višø*, *visëti*; *dyšø*, *dyšati*; *kyp-ljø*, *kypëti*; *slyšø*, *slyšati*; *styždø*, *stydëti*.

По крайней мере три глагола с удлинением относятся к эпохе балто-славянской общности: **dūsētei*, **kūpētei*, **uīdētei*.

Причины, по которым в исторических языках только меньшинство глаголов на *-i/ē-* показывает удлиненную ступень, или семантические, или хронологические. Некоторые глаголы на *-i/ē-* оторвались от своих основ еще до морфологического удлинения гласного вследствие изменения значения или, что одинаково, вследствие утраты основного глагола. Первое может происходить, например, в случае лит. *miniù*, *minéti* — слав. *тьпјо*, *тьпти*. Другие глаголы на *-i/ē-*, скорее более позднего происхождения, просто сохраняют гласный основы, например лит. *giliù*, *guléti* — ‘лежать’, как *guliù*, *gulti* — ‘ложиться’; *avíù*, *avéti* ‘носить обувь’, ‘быть обутым’, как *aipiù*, *aitti* — ‘обувать’; *kvepiù*, *kvepëti* — ‘пахнуть’ — особенно если говорить о таких отымененных глаголах, как *keriù*, *kerëti* <*kéras*—‘чары’. Такой глагол, как *periù*, *perëti* — ‘выводить’, ‘высиживать’ (птенцов), может быть видоизменением старого настоящего времени на *-e/o-*. Ср. *skeliù* из более древнего *skelù*; *sraiviù* из более древнего *sraivù*. Видоизменение вызвано инфинитивом на *-éti-* и значением (глаголы состояния). Короче говоря, причины отсутствия удлинения разнородны. Важнейшие из них — те же, которые вызвали постепенную элиминацию апофонии вообще. Эти замечания важны, *mutatis mutandis*, для всех категорий с коренным удлинением.

Как уже было упомянуто, удлиненная ступень распространялась прежде всего в тех случаях, в которых тембр гласного производной формы совпадал с тембром в деривате, только на более поздней стадии удлинение распространялось и на унаследованную апофонию (нулевая ступень, или *o*).

Вот как мы представляем себе механизм, приводящий к кумуляции нулевой ступени и удлинения, кумуляции, характерной для глаголов на *-i/ē-* (как выше), *-po* (в слав.), *-sta* (в балт.).

Сильные глаголы (первичные) на *-e/o-*, *-ie/io-*, представляющие собой базу для образования всех производных форм, имели частично переменчивый гласный *e*/нуль, например лит. *liekù*, *likaiù*, *likti*, слав. *rišø*, *rýsati*. Но остальные глаголы имели во всем спряжении один неизменный гласный, ср., например, следующие славянские глаголы на *-e/o-*, *-ie/io-*: *jískø*, *strigo*, *bljudø*, **bergø*, **stergø*, **velkø*, **zeldø*, **valdo*, *sþkø*, *sþsø*, *tþkø*, *cijø*, *obiø*, *meljø*, *lþzø*, *rþzø* и т. д. В балтийском процессе

представляется аналогично, если говорить о глаголах на *-e/o-*, тогда как палatalный класс (*-ie/io-*) совершенно утратил там чередование *e/нуль*.

Нулевая ступень оформилась прежде всего в дериватах от основ с постоянным гласным, например со старым нулевым гласным, ср. лит. *sukù*, *sukaū*, *sūkti* или слав. *sъkъ*, *sъkti*. Затем он охватил дериваты от основ с чередованием в корне *e/нуль* типа лит. *liekù*, *likaū*, *likti* или слав. *berq:bъrati*, *pišq:pъsati*, — чтобы затем распространяться и на дериваты от основ с полной ступенью, типа лит. *baudžiù*, *baūsti* или слав. *bljudq*, *bljusti*. Глаголы с чередованием в корне *e/нуль* обращают, следовательно, важное звено, промежуточное между глаголами с нулевой ступенью (дериваты которых имеют удлиненную ступень) и глаголами с полным гласным (дериваты которых имеют удлиненную нулевую ступень, т. е. *ei:ī*, *eu:ū*).

С другой стороны, структура балтийской глагольной системы не благоприятствует кумуляции ступени *o* плюс удлинение. В противоположность ряду других европейских языков, особенно греческому и германскому, балто-славянский язык не знает в спряжениях сильного глагола форм, характеризуемых гласным *o* (индоевропейский перфект утрачен). Следовательно, отсутствует звено, делающее возможным переход между *o* (основным) → *ō* и *e* (основным) → *ō* (качественная апофения плюс удлинение).

Таким образом, если предложенное здесь толкование нулевой ступени плюс удлинение правильно, то можно ожидать отсутствия кумуляции ступени *o* плюс удлинение. Таково общее положение вещей. Удлиненная ступень лит. *ō* = слав. *ā* появляется как правило только для основного гласного лит. *ā* = слав. *ō*. Видимая апофения лит. *ē:ō*, слав. *ē:ā* основана главным образом на косвенных сопоставлениях, а не на релевантных оппозициях.

Для первичных дериватов со ступенью *o*, таких, как итеративно-каузативные глаголы на *-eie/o-* или типы *τόπος*, *τορός*, *τομή* (продолженные в балто-слав. основами на *-o-*, *-iō-*, *-ā-*, *-iā-*), существуют два типа форм: основной гласный *e* (или нуль): гласный деривата *o* (лит. *a*), основной гласный *o* (лит. *a*): гласный деривата *ā* (лит. *o*).

Ср., например, дериваты типа *τομή* (примеры с долгим основным гласным здесь не принимаются в расчет). Корни с основным гласным *e* или нуль: *bradà* — ‘грязь’ <*bredù* и *brendù*, *bristi*; *dagà* — ‘зной’ <*degù*, *dègti*; *išdagos* — ‘шлак’ <*išdegu*, *išdègti*; *grasà* — ‘угроза’ <*gresiù*, *grèsti*; *lakà* — ‘отверстие в улье’ <*lekiù*, *lëkti*; *lasà* — ‘корм для птиц’ <*lesù*, *lèsti*; *sagà* — ‘пуговица’ <*segù*, *sègti*; *pāsaka* — ‘рассказ’, ‘сказка’ <*sekù* (сейчас *sakaū*); *pāsnabždos* — ‘шепот’ <*šnibždèti*; *ištaka* — ‘исток’ <*išteku*, *ištekèti*; *núotaka* и *nuðtaka* — ‘девушка на выданье’, ‘невеста’ <*nùteku*, *nutekèti*; *pavadà* и *pāvada* — ‘вторая жена’ <*pavedù*, *pavèsti*; *pavažà* и *pāvaža* — ‘полозья’ <*pàvežu*, *pavèžti*; — корни на сонант: *naromìs*, *plaňkti* — ‘плавать под водой’ <*neriù*, *nérти*; *išnara* — ‘шкура, сброшенная ужом’ и т. д. <*išneriu*, *išnérti*; *atsajà* <*ats(i)ejù*, *-sièti*; *pasalà* (*iš pasalù* — ‘неожиданно’) <*selù*, *seléti*; *skalà* — ‘стружка’, ‘щепка’ <*skeliù*, *skélti*; *skarà* — ‘платок’ <*skiriù*, *skirti*; *ātspara*; — ‘сопротивление’ <*ātspíriu*, *-spírti*; *peñvara* <*veriù*, *vérti*; *atžalà* — ‘ побег’ <*želiù*, *žélti*.

В корнях с основным гласным *o* (индоевр. *o* или *e* перед *u*) находим вместо этого удлинение: *džiovà* — ‘засуха’ <*džiáuju*, *džiáuti*; *griovà* — ‘обрыв’ <*gríáuju*, *gríáuti*; *pakorē* — ‘виселица’ <*pàkariu*, *pakárti*; *kovà* — ‘борьба’ <*káju*, *káuti*; *krovà* — ‘тяжесть’, ‘груз’ <*kráuju*, *kráuti*; *paliovà* — ‘перерыв’ <*liáuju*, *liáutis*; *mõlè* — ‘молотьба’ <*malù*, *málti*;

užtovà raňkù — ‘рукав’ <*máju, máuti; orē* и *ōrē* — ‘пахота’ <*ariù, árti; išplovos* — ‘помой’ <*išpláju, išpláuti; srovē* — ‘струя’ <*sraviù, sravéti*.

Несколько примеров, сохраняющих гласный *a*, можно считать или за формы без апофонии относительно позднего происхождения, или за архаизмы, которые вследствие семантического отклонения не прошли через морфологическое изменение *a > o*, обязательное только для продуктивных дериватов: *pāplavos* — ‘помой’ (= *išplovos*) <*pláju, pláuti; sravà* — ‘поток’ <*sraviù, sravéti; pašavà* = *pašovà* <*šáju, šáuti*.

Принятие вышеприведенного распределения позволяет точно определить основы некоторых образований на -(i)i-a- с долгим коренным гласным. Такая форма, как *naktl-goné* — ‘ночлег на пастбище’, выводится из *ganaū, ganýti* — ‘пасти (скот)’, а не из *genù, giñti* — ‘выгонять (на пастбище)’; *išmoné* — ‘выдумка’, ‘причуда’ происходит от *išmanaū, išmanýti* — ‘выдумать’, а не от *išmenu, išmiñti* — ‘отгадывать’; *ívoda* — ‘водопровод’ (ср. *ívada* — ‘вступление’) — непосредственный дериват от *ívadžiòju, ívadžiòti* (и диалектн. *-vadaū, -vadýti*), а не от *ívedu, ívesti; ívora* <*ívaraū, ívarýti* — ‘втолкнуть’. Хотя соответствующие глагольные основы, с гласным *ä* не засвидетельствованы, рекомендуется принять для таких форм, как *lomà* — ‘котловина’, *tvorà* — ‘ограда’, *skolà* — ‘долг’, основы соответствующие слав. *lomti, tvoriti, skolëti*, ар.-прусск. **skalit* (сохранившееся в *skallisnan*), вместо того, чтобы ссыльаться на случайно засвидетельствованные формы *límti, tvérhti, skelëti*. Такой дериват, как *žolē* — ‘трава’, ‘растение’, — наоборот, отыменный (<*žalias* — ‘зеленый’), ср. *grōžē* = *gražybē* — ‘красота’ <*gražùs, klonē* (*klönè* — ‘лужа’) <*klānas*.

Мы ожидаем *a priori* подобного распределения у основ на -(i)i-o- с индоевропейским гласным *o*: *dāgas* (= *dagà*), *ísdagas* (= *ísdaga*) <*degù, dègti; íkratas* — ‘крошка’ <*íkrečiu, íkrešti; kvāpas* — ‘дыхание’ <*kvepiù, kvěpti; māzgas* — ‘узел’ <*mezgù, mègzti; prānasas* — ‘пророк’ <*nesù, něsti; átskrabas* — ‘крошки’, ‘отбросы’ <*skréba, skrebëti; stābas* — ‘стятуя’; ‘удар’ <*stebiúos, stebëtis; tākas* — ‘тропинка’ <*tekù, tekëti; tāškas* — ‘точка’ <*teškiù, tēksti; vādas* — ‘вождь’ <*vedù, vèsti*; — корни на сонант: *gālas* — ‘конец’ <*gelìù, gélti; gāmas* — ‘природа’ <*gemù, giñti; māras* — ‘мор’ <*mírštu, mírti; nāras* — ‘гагара’ <*neriù, nérti; átsparas* — ‘сопротивление’ <*átspíriu, -spírti; svāras* — ‘фунт’, ‘гиря’ <*sveriù, sveřti; pāšaras* — ‘корм’ <*šeriù, šérti; tānas* — ‘опухоль’ <*tistu, tinti; tvānas* — ‘наводнение’ <*tvístu, tvinti; áptvaras* — ‘ограда’ <*áptveriu, aptvèrti; peřvaras* — ‘рычажок поперек воза’ <*veriù, vérti*.

Наоборот, *a > o* имеем в *gōbis* — ‘желание’ <*gābias, gōbtis* (Даукша); *íšmonis* (= *íšmoné*) <*íshmanaū, išmanýti; óras* — ‘воздух’ <*ariù, árti; prōtas* — ‘разум’ <*prantù, prasti; plōkis* — ‘удар’ <*plakù, plákti; smōgis* — ‘удар’ <*smagiù, smögti; íšolis, pašolýs* — ‘заморозки’ <*šøla, šálta; žōdis* — ‘слово’ <*žadëti*.

Кроме этого встречаем *a > o* в нескольких отымененных образованиях: *klonýs* и *klōnis* (= *klonē, klōnè*) <*klānas; lōbis* — ‘имущество’ <*lābas; mōžis* — ‘мелочь’ <*māžas; skánskonei* — ‘нечто вкусное’ <*skanùs*. Ср. *gēris* — ‘доброта’ <*gēras*.

Удлинение засвидетельствовано также, если дериват на -(i)i-a-, -(i)i-o- продолжает ступень *e* или нуль глагольной основы: *átlýda* — ‘перерыв’ <*atleidžiu, -léisti; bylà* — ‘разговор’, ‘беседа’ <**bilstu, *bilti; gélà* (наряду с *gylà*) — ‘сильная боль’ <*gélia, gélti; gyrà* — ‘хвастовство’ <*giriù, girti; gyrà* — ‘попойка’ <*geriù, gérti; krūvà* — ‘куча’, ‘груда’ <*krájujù, kráuti; skylē* — ‘дыра’ <*skeliù, skélti; šliūžē* — ‘след’, ‘путь’ <*šliaužiù, šliaužti; (pra)vežà, vežē* — ‘колея’ <*vežù, vežti*.

Nomina actionis на -īo- (вероятно, остатки старого среднего рода): *dēgis* — ‘ожог’ <*degù, dègti; gēris* — ‘напиток’ <*geriù, gérti; kēpis* —

‘лепешка’ <*kepù, këpti; mëtis* — ‘бросок’ <*metù, mësti; nëšiai* — ‘коромысла’ <*nešù, nësti; brýdis* — ‘брожение’ <*bredù, brïsti; brükis* — ‘след щетки, метлы и т. п.’ <*braukiù, braükti; lüžis* — ‘ломание’ <*láužiu, láužti; ryšys* — ‘узел’, ‘связка’ <*rišù, rišti; pelen-rüsís* — ‘замарашка’ <*raüsti; spüdis* — ‘давление’, ‘тяжесть’ <*spáudžiu, spáusti; šuvis* — ‘выстрем’ <*šauju, šauti; ūdis* — ‘тканье’ <*áudžiu, áusti; výkis* <*veikiù, veikti.*

Другие примеры основ на *-ā-, -iā-, -o-, -io-*ср. „L’accentuation des langues indo-européennes“, стр. 292—297.

Приведенные выше примеры типа *plōkis* (-*iō-*) также могут быть отнесены сюда, поскольку корни с гласным *o* не имеют отдельной ступени редукции.

Описанное выше положение отражено в славянском посредством следующих примеров: *čari* — ‘чары’, ср. лит. *keriù, keréti* — ‘чаровать’, *keras* — ‘чары’; *ščarpъ* — ‘baculum’ <*ščepati*; *kyjь* — ‘молот’ <*kujø*; ст.-слав. *plišť* — ‘прачечный’, *θόρυβος* <*pleštq, pleskati*; **rydjb* — ‘пурпурный’, ср. *rüděti*; *dira* — ‘жизнь’ <*dero, dvrati* (-*dirati*); основы на *-i-*: *rēcь* — ‘accusatio’ <**rekti*; *žalbъ* — ‘жалоба’ <*μνημεῖον*, ср. лит. *gelijù, gélti*; *o>a* в *krajъ* — ‘рай’ <**krojiti*; *kara* — ‘спор’ <(u-) *koriti*; *slava* — ‘слава’ <*slovq, sluti*; *trava* — ‘ трава’ <*γέρπως, χλωρί* <*trovq, trutti*; *garь* — ‘гарь’ <*goréti*; *tvarь* — ‘кристалл, пойманный’ <*tvoriti*.

Но отсутствуют непосредственные основы к *-gaga* — ‘изжога’, *para, skala, skvara* — ‘сало’, родственные с *žegg, prejø*, лит. *skeliù -skvyrq* (**skverti*).

Первичные дериваты с удлинением в корне немногочисленны в славянском. Зато мы находим там старые итеративы-кузативы на *-eje/o-*, которые противопоставляют гласный *o* гласному *e* или нулю основы, или гласный *a* гласному *e* основы.

Ср. *broditi* <*bresti*; *gojiti* <*žiti*; *goniti* <*ženq, gъnati*; *kojiti* <*čiti*; (*za)klopiti* <*klepati*; *ložiti* <*ležq, ležq*; *moriti* <*mъrø, *merti*; (*st-)noriti* — ‘зарывать’ <*nъrø, *nertli*; *nositi* <*nesti*; (*pro)noziti* ‘perfodere’ <*nъzq, nъsti*; *pojiti* <*piti*; *točiti* <**tekti*; *voditi* <*vedq, vesti*; *voziti* <*vezq, vesti*; с первичной долготой *laziti* <*lězq lěsti*; *raziti* <*rěžq, rězati*; *saditi* <*sědq, *sědjø*.

Но *kaliti* — ‘закалять’, ‘калить’ <*kolëti* — ‘быть твердым’; *paliti* <*polëti* — ‘пылать’, ‘гореть’; *plaviti* <*plovq, pluti*; *slaviti* <*slovq, sluti*; *traviti* — ‘absumere’ <*trovq (trujo), trutti*; наряду с чем — (*vъz-)čaviti* (др.-чешск. *vščieviti*) <*čiјø, čutti*.

Некоторые глаголы с гласным *a* позволяют предполагать старую основу с *o*. Так, *baviti* <*byti* предполагает старый презенс **bovq*, ср. др.-инд. *bhávati* безотносительно к индоевр. *e* или *o* (*e>o* перед *u*); *svariti* (*svarъ* — ‘πόλεμος, μάχη’) опирается на корень **sugor*, заключающийся в сильном германском глаголе *swaran* (*swarjan*), ср. др.-сакс. *ant-swôr* — ‘ответ’ = болг. *swara* — ‘спор’, ‘ссора’; основы к *naviti* — ‘изнурять’ и *otaviti* — ‘освежить’ (чешск. *otaviti se* — ‘придти в себя’) — *nujø, nytì* и *tyjø, tyti*, построенные по типу глагола *kryjø, kryti*, который утратил полный гласный *o*, засвидетельствованный в литовском (*kráujiu, kráuti*). Основой формы *grabiti* является не *grebo*, а соответствие лит. *grébiu, grëbti*, ср. итератив лит. *gróbiu, gróbti*. По правильному замечанию Якобсона (Word, VII, 1951, стр. 190), *vada* — ‘привычка’, *vaditi* — ‘привыкать’ этимологически сводится к *voditi* (<*vesti*).

Но основы весьма значительного количества глаголов на *-iti* с гласным *a* не засвидетельствованы: *-dariti* — ‘ударить’ (*dero, dvrati*), *gasiti* (ср. лит. *gëstù, gësti*), *kaziti* (*čeznqti*), *pariti* — ‘летать’ (*pero*), *valiti se* — ‘хулиганить’ (лит. *veliù, vélti* — ‘валять’), *variti* (*vûrëti*), *variti* — ‘проязгивать’.

‘προφθαίνειν’ (латш. *večī*, *vert* — ‘бежать’). В этих случаях следует принять во внимание утрату промежуточной формы с гласным *o*.

В балто-славянском (так же, впрочем, как в германском) долгая степень возникла, как уже было сказано, прежде в производных формах с гласным, идентичным гласному основы. Она не распространилась на производные формы, которые отличались от основы тембром гласного. С точки зрения чисто функционального удлинения также, как *kaliti* < *kolēti*, это заменители качественной апофонии (как в *broditi* < *bredō*), ср. также готск. *faran:for* наряду с *giban:gaf*. Равнозначность этих апофонических средств в германском уже была отмечена де Соссюром („Recueil“, стр. 154), ср. также *Stang* в „Lingua Posnaniensis“ (1, стр. 152). С исторической точки зрения распределение между *ē:ō* и *ō:ō* в северных языках является следствием отсутствия качественной апофонии в корнях с гласным *o*.

Индоевропейская удлиненная ступень сохранилась в сигматическом аористе, существующем только в славянском. Напротив, удлиненная ступень позднего происхождения появляется 1) в литовском претерите на *-ē-*; 2) в дуративно-итеративных глаголах (слав. *-ajq*); 3) в ряде основных глаголов, нетематических по происхождению.

В то время как славянская группа сохраняет наряду с аористом на *-a-* и *-ē-* старую формуацию на *-e/o-* (*dvigō*) и *-s-* (*vēsō*), в балтийском аорист исчез без следа, как тематический, так и сигматический. Они были заменены прежде всего претеритом на *-ē-*. Важный морфологический критерий позволяет разграничить этот более поздний слой от унаследованных аористов на *-ē-*. Там, где имеем определенно старый аорист на *-ē-*, а именно в типе слав. *tъnītō*, *tъnē* (греч. *μαίνωται*, *ἔμάνηται*), литовский дает распространенную форму *tinējō-*, так же как в типе без сомнения старом лит. *tekū*, *tekēti:tekējo*, тогда как если претерит на *-ē-* более поздний, прежде всего от глаголов на *-ie/io-*, он сохраняет в претерите старое окончание *ē*; например, *gér-ē*, *gér-ē-me*.

Как уже отмечено выше, в балто-славянскую эпоху существовала категория глаголов состояния на *-i/ē-*, категория продуктивная, если судить по удлинению в корне, засвидетельствованному историческими языками. Аорист на *-ē-* этих глаголов имел ингрессивное значение, т. е. обозначал состояние, выражаемое настоящим временем (отношение в значении, как польск. *śpię:zasiąglem*). Этот аорист вытеснил в балтийской группе старые тематические и сигматические формы. Поскольку глаголы состояния имели удлиненный гласный, его получил и соответствующий аорист. Действительная семантическая и фонетическая оппозиция (краткий : долгий) между первичным настоящим временем и аористом деривата на *-i/ē-* могла возникнуть только: 1) если первичный глагол, являясь непереходным, совпадал в этом отношении с производным глаголом состояния; 2) если корень производного глагола совпадал с корнем основы во всех особенностях, различаясь только количеством гласного. Следовательно, исходным пунктом были непереходные глаголы с кратким коренным гласным *i*, *u*, *e*, *a* и суффиксом настоящего времени *-ie/io-*, так как претерит на *-ē-* вызывал также палatalность конца корня: *-iau*, *-iai*, *-ē* (перед *ē* и вообще перед передними гласными оппозиция „твёрдый : мягкий“, как мы видели выше, уничтожается). Приводим общую схему ($R = r, l, n, m$; $T =$ взрывной или щелевой). Настоящее время основного глагола: *-iRiō*, *-uRiō*, *-eTiō*, *-aTiō*, *-iTiō*, *-iTē*, претерит деривата на *-i/ē-*: *-iRe*, *-uRe*, *-ēTe*, *-āTe*, *-iTē*, *-iTē*.

Удлинение выступает явно только в открытом слоге, или оканчивающемся на *s*, *š* (в случае окончания корня на *sk*, *šk*). Например, *giriū* — ‘хвалить’: *gýriau*; *iríūos* — ‘грести’: *ýriaus*; *skiriū* — ‘делить’: *skýriau*;

spiriu — ‘подпирать’: *spýriau*; *tiriù* — ‘исследовать’: *týriau*; *buriù* — ‘колдовать’: *býriau*; *buriúos* — ‘плавать (на парусах)’: *búriaus*; *duriù* — ‘колоть’: *dúriau*; *kuriù* — ‘зажигать’: *kúriau*; *kuliù* — ‘молотить’: *kúliau*; *dumiù* — ‘дуть’: *dúmiau*; *stumiù* — ‘толкать’: *stùmiau*; *drebìu* — ‘брзгать’: *drébiau*; *dreskiù* — ‘разрывать’: *dréskiau*; *dvesiù* — ‘издохнуть’: *dvèisiau*; *krečiu* — ‘трясти’: *kréciau*; *lekiù* — ‘лететь’: *lékiau*; *pleciù* — ‘простираять’: *pleciau*; *slepiù* — ‘прятать’: *slépiau*; *srebìu* — ‘громко втягивать жидкость’: *srébiau*; *teškiù* — ‘брюзжать’: *téškiau*; *blaškiù* — ‘бросать’: *bloškiau*; *dvakiù* — ‘смердеть’: *dvokiau*; *smagiù* — ‘сечь’, ‘ударить’: *smogiau*; *vagiù* — ‘красть’: *vogiau*; *ričiù* — ‘дуть’: *rúčiau*; *tupiù* — ‘приесть’: *tápiau*.

После перехода деривата во флексивную форму претерит на -é- с удлинением коренного гласного распространяется и на другие первичные глаголы класса на -e/io-, а следовательно, и на те, которые имеют полный коренной вокализм eR, aR; например, *beriù* — ‘сыпать’: *bériau*; *periù* — ‘стегать’: *péríaau*; *sveriù* — ‘взвешивать’: *svéríaau*; *žeriù* — ‘сребрить’: *žériau*; *geriù* — ‘пить’: *géríaau*; *neriù* — ‘вдевать’: *néríaau*; *šeriù* — ‘кормить’: *šériau*; *tveriù* — ‘хватать’, ‘огораживать’ и т. д.: *tvéríaau*; *veriù* — ‘вдевать’: *véríaau*; *geliù* — ‘колоть’: *géle*; *keliù* — ‘поднимать’: *kéliau*; *skeleiù* — ‘расщеплять’, ‘рубить’: *skéliau*; *veliù* — ‘валять’: *véliau*; *lemiù* — ‘предрекать’: *lémiau*; *remiù* — ‘опираться(ся)’: *rémiau*; *semiù* — ‘черпать’: *sémiau*; *tremiù* — ‘выгнать’: *trémiau*; *vemiù* — ‘блевать’: *vémiau*; *kariù* — ‘вешать’: *kóriau*; *atsikaliù* — ‘опираться’: *atsikoliau*.

Ср. соответствующие претериты в латышском: *dzíruōs*, *īru*, *šk'īru*, *bāru*, *dāru*, *kālu*, *kāl'u*, *stāmu*, *dvēsu*, *lēcu*, *plētu*, *slēpu*, *strēbu*, *rūšu*, *tūpu*, *bēru*, *pēru*, *svēru*, *dzēru*, *tvēru*, *vēru*, *dzēlu*, *cēlu* *sk'ēl'u*, *vēl'u*, *lēmu*, *smēlu*, *vēmu*, *kāru*.

Отсутствует удлинение в лит. *ariù*, *ariau*, *árti* — ‘пахать’ и *guliù* (наряду с *gulù*), *guliau*, *gulti* — ‘ложиться’. Латышские соответствия *aru*, *aru*, *árt* (Эндзелин. KZ, XLIII, стр. 21) и слав. *orjo*, *orati* говорят в пользу старого претерита на -a- (*arā-). Различие между литовским и остальными балто-славянскими указывает на то, что этот претерит был заменен палatalальным претеритом (на -e-) только после обобщения долгой степени типа (*geriù*:) *géríaau*, (*kariù*:) *kóriau*.

Претерит на -é- первичных глаголов с твердым окончанием (-e/o-) попадает под другое правило: суффикс -é- влечет за собой палатализацию конца корня (это под влиянием типа *tekù* : *tekéti*). Примеры *degiau* < *degù* — ‘гореть’; *kasiau* < *kasù* — ‘копать’, ‘рыть’; *kepiau* < *képù* — ‘печь’; *lakiau* < *lakù* — ‘лакать’; *mečiau* < *metù* — ‘бросать’; *mušiau* < *mušù* — ‘бить’; *nešiau* < *nešù* — ‘нести’; *pesiau* < *pešù* — ‘вырывать’; *plakiau* < *plakù* — ‘бить’; *segiau* < *segù* — ‘застегивать’; *teriau* < *terù* — ‘мазать’; *vedžiau* < *vedù* — ‘вести’; *vežiau* < *vežù* — ‘везти’; *mezgiau* < *mezgù* — ‘вязать’; *rezgiau* < *rezgù* — ‘плести’, ‘вязать (сети)’.

Глаголы *gimiau* < *getù* — ‘родиться’, *giniau* < *genù* — ‘выгонять’ и *miniau* < *tepù* — ‘помнить’ также показывают ожидаемый краткий гласный.

Он засвидетельствован в соответствующих латышских формах *dedzu*, *kasu*, *laku*, *metu*, *nešu*, *secu*, *teru*, *vedu*, *dzimu*, *dzinu*.

В некоторых определенных случаях претерит с удлинением распространялся и на первичные глаголы на -e/o-, именно тогда, когда гласный настоящего времени был сходным с гласным инфинитива и одновременно количество гласного из-за сонантного окончания корня было неопределенным в инфинитиве, ср. *ginù* — ‘защищать’: *gýniau*; *minù* — ‘топтать’: *mýniau*; *pilù* — ‘лить’, ‘сыпать’: *pýliau*; *pinù* — ‘плести’: *pýniau*; *skinù* — ‘щипать’, ‘срывать’: *skýniau*; *trinù* — ‘тереть’: *trýniau*. Латышские

соответствия, насколько они засвидетельствованы, имеют краткий гласный; итак, *tinu*, *tinu*, *tít*; *pinu*, *pinu*, *pít*; *škinu*, *škinu*, *šk'it*; *trinu*, *trinu*, *trít*. Следовательно, распространение удлинения на глаголы с непалатальным настоящим временем (*-e/o-*) — литовское новообразование. Только глаголы структуры *gìnù*, *giñti* могли попасть под влияние глаголов с претеритальным удлинением: они соответствовали своим образцам (например, *giriù*, *girti*) как неизменностью гласного, так и количеством (краткий в настоящем времени, неопределенный в инфинитиве). Тип *genù*, *giñti* по причине своей апофонии, тип *degù*, *dègti* по причине количества гласного (палатальное соответствие *dvesiù*, *dvesti*) не подверглись влиянию глаголов на *-je/jo-* с претеритальным удлинением.

Что касается непалатальных глаголов *bariù*, *bariaù*, *bárti* — 'ворчать', *malù*, *maliaù*, *málti* — 'молоть', *kalù*, *kaliaù*, *kálti* — 'ковать', то здесь, вероятно, преобразованные формы как в настоящем времени, так и в претерите. Старые претериты в литовском звучали *baraù*, *malaù*, *ka-laù* (этот последний еще употребителен).

Настоящее время в лтш. *bara-*, *maña-*, *kaña-* совпадает с славянскими формами (*borjo*, *meljo*, *koljo*) и может поэтому считаться более древним по отношению к непалатальным формам литовского. В результате интонация „наст. вр. на *-je/jo-*: претерит на *-ā-*“ объясняет нам отсутствие удлинения (ср. выше *ariù*, *ariaù* <**arau*). Древнее состояние сохранилось в общем в латышском: *mañ'u*, *malu*, *mal̄t*; *kañ'u*, *kalu*, *kalt*; *baru*, *bārt* (диалектн. *baru*), *bařt*.

Глаголы на *-i/ē-*, как и тип *tekēti*, которые в балтийском были причиной экспансии старого аориста на *-ē-*, имеют в настоящее время в литовском претерит не на *-ē-*, а на *-ējo-*. Здесь мы имеем дело с комбинацией суффиксов *ē* и *ā*, первый из которых, проникнув в инфинитив (*-eti*, *tekēti*), утратил свое первоначальное значение; замена формы **mīnē*, сохранившейся в славянском (*тьпē*), формой *mīnējo* — важный аргумент, подтверждающий наше толкование претеритального удлинения.

В истории славянского спряжения важную роль сыграла форма на *-āje/o-* с коренным удлинением, намного большую, чем производные глаголы на *-eje/o-* на коренной ступени *o*. Так как дериваты на *-āje/o-* стали флексивными формами не только первичных, но и производных глаголов, ср., например, ст.-слав. *voditi* : *-vazdati*.

Нулевая ступень засвидетельствована в латинском; например, *in-cum-bēre* : *cibāre*, *dīcēre* : *de-dicāre*, *dūcēre* : *ē-dūcāre*, *lābi* : *lābāre*. Древнерицландский противопоставляет **scanda-* в *adscannaim*, *doindscannaim* — 'начинаю' (переносное значение) первичному *scendim* — 'скачу' (BSL, XXV, 1924, стр. 154). В славянском удлиненная нулевая ступень вытекает из преобразования нулевой ступени, ср. выше производные глаголы на *-i/ē-*. Удлиненная нулевая ступень появляется во всех случаях, в которых гласный основного глагола показывает нуль или в настоящем времени или в инфинитиве:

Полная ступень в наст. вр.	Нулевая ступень в инфинитиве	Итератив
<i>berø</i>	<i>b̄rati</i>	<i>-birati</i>
<i>derø</i>	<i>d̄rati</i>	<i>-dirati</i>
<i>perø</i> — 'бить', 'купать'	<i>p̄rati</i>	<i>-pirati</i>
<i>steljø</i>	<i>st̄lati</i>	<i>-stilati</i>
<i>zovø</i>	<i>z̄vati</i>	<i>-zyvati</i>

Нулевая ступень
в наст. вр.

Полная ступень
в инфинитиве

Итератив

-č̄p̄o	-č̄eti ($\varrho \leq e + n$)	č̄inati
d̄ytm̄o	d̄oti ($\varrho \leq o + m$)	-dymati
m̄yr̄o	*merti	-mirati
n̄yr̄o — 'нырять'	*nerti	-nirati (-nyrati)
st̄yr̄o — 'простираться'	*sterti	-stirati
s̄yr̄o — 'сыпать'	suti	-sypati
t̄yr̄o	*terti	-tirati
ž̄yr̄o — 'жать'	ž̄eti ($\varrho \leq e + m$)	-žimati

В отсутствии апофонии „полная ступень : нулевая ступень“ удлиненный вокализм итеративной формы соответствует однородной окраске гласного основы: *bod̄o*, *bosti* > -*badati*; *moḡo*, **mokti* > -*magati*; *met̄o*, *mesti* > -*mētati*; *plov̄o*, *pluti* — 'плавать' > *plavati*; *tek̄o*, **tekti* > -*tēkati*.

В таких формах, как *gnet̄o*, *gnesti* > -*gnētati* и -*gnitati*; *greb̄o*, *greti* — 'грести' > -*grēbatī*, -*gribati*; *plet̄o*, *plesti* > -*plētati* и -*plitati*, вокализм *i* отражает, может быть, в некоторых случаях, нулевую ступень, утраченную в основе (ср. *bred̄o*, *br̄bsti*). Формы -*ricati* (наряду с -*rēkati*) < *rek̄o*, **rekti* и -*žizati* (наряду с -*žagati*) < *žeḡo*, **žekti* объясняются повелительной формой *r̄ci*, *žv̄zi*.

Некоторые славянские итеративы имеют точные соответствия в латышском: *mētāt* — 'бросать' (< *metu*, *mest*) = ст.-слав. -*mētati*; *tēkāt* — 'бежать', 'течь' (< *teku*, *tekt*) = слав. -*tēkati*; *dirāt* — 'обдирать шкуру' = слав. -*dirati*; *gūbātiēs* — 'наклониться' (< *gubstu*, *gubt*) = слав. -*gybati*. Ср. далее *lēkāt* — 'подпрыгивать' (< *lecu*, *lēkt*), *nēsāt* — 'носить' (< *nesu*, *nest*), в то время как славянский пользуется дериватом на -*eje/o*-с гласным о (*nositi*). С палatalным окончанием *mīnāt* — 'топтать' (< *minu*, *mīt*).

Соответствующее удлинение в литовском характеризует некоторые дериваты на -*oji*, -*ot̄i*; -*au*, -*ot̄i*; -*au*, -*yti*:

-*oji*, -*ot̄i*; например, *mýnioju*, *mýnioti* — 'топтать' (интенсивная форма к *minū*, *minti*); *súpoju*, *súpoti* — 'качать' (итератив к *supū*, *sùpti*);

-*au*, -*yti*; например, *mētau*, *mētyti* — 'бросать' (интенсивная форма к *metū*, *mēsti*);

-*au*, -*ot̄i*; например, *glúdau*, *glúdoti* — 'быть укрытым' < *glaudžiù*, *glaūsti*; *klúpau*, *klúpoti* — 'стоять на коленях' < *klumpù*, *klùpti* — 'спотыкаться'; *dýrau*, *dýroti* к *dairaūs*, *dairytis* — 'осматриваться'; *rýmau*, *rýmoti* — 'быть подпертым' < *remiù*, *remti* — 'подпирать'.

В этой последней группе находим глаголы состояния, равнозначные с формами на -*i/ē-*. Например, *lindau*, *lindoti* — 'быть укрытым' = *lindžiù*, *lindēti*; *glúdau*, *glúdoti* = *gludžiù*, *glūdēti*; *kiútai*, *kiútoti* — 'сидеть в укрытии', 'быть без движения' = *kiūciù*, *kiātēti*; *klúpau*, *klúpoti* = *klúpiù*, *klūpēti*; *dýrau*, *dýroti* = *dyriù*, *dyrēti*; *kýšau*, *kýšoti* — 'торчать' = *kyšiù*, *kyšēti*.

Если балтийские примеры менее многочисленны, чем славянские, это следует уже из специфически славянской продуктивности формы -*ajo* с удлинением в корне, которая (продуктивность) объясняется переходом производной формы в флексивную, подобно тому как на балтийской почве морфема -*ē-* из словаобразовательной морфемы превратилась в окончание прошедшего времени.

Еще одна важная категория глаголов обнаруживает ряд форм с удлинением коренного гласного. Это старые основные нетематические глаголы, которые в балто-славянском почти все утратили нетематическую флексию.

По Мейе (MSL, XIV, стр. 336—337), следующие балто-славянские глаголы обязаны своим удлинением гласного первоначальной коренной нетематической флексии²⁴:

лит. *bēgu*, *bēgti* — ‘бежать’ (лтш. *bēgu*, *bēgt*), слав. **bēgō*, ср. русск. *begú* (инф. *bežátъ*) и ст.-слав. *běžō*, *běžati*; индоевр. корень **bheg-* в греч. φέβομαι, φέβος;

лит. *ědu* (*ěmi*), *ěsti* — ‘есть’ (лтш. *ědu* и *ětu*, *ěst*); ст.-слав. *jātъ*, *jasti*, индоевр. корень **ěd*, ср. др.-инд. *átti*, греч. ἔδομαι, ἔσθιω, лат. *ědere* и т. д.;

лит. *sēdu*, *sěsti* — ‘сесть’ (лтш. *sēžu*, *sěst*), диалектн. 3-е лицо *sěst*, ст.-слав. *sědō*, *sěsti*; индоевр. корень **sěd*, ср. др.-инд. *sátsi*, *sádas* — греч. οἴος, др.-сканд. *setr* и т. д.;

лит. *isěkti* — ‘вырыть’, *išsěkti* — ‘ваять’ (Бреткун), ст.-слав. *sěkō*, *sěsti*; индоевр. корень **sěk*, ср. лат. *sěcare* (*sěcūris*, *sěcīvum*; Траутманн. Указ. соч., стр. 255).

Сюда можно было бы отнести еще несколько литовских глаголов на -*ie/io-* с удлиненным гласным:

лит. *grěbiu*, *grěbt* — ‘грабить’, но слав. *grebō*, *greti* с кратким гласным;

лит. *glěbiu*, *glěbt* — ‘обнимать’ (лтш. *glēbu*, *glēbt* — ‘спасать’, ‘сохранять’), но соответствующая славянская итеративная форма имеет краткий гласный: *globljo*, *globiti* — ‘вбивать’;

лит. *trěskiu*, *trékštī* — ‘выжимать’, но *trěška*, *treškēti* — ‘трещать’; ст.-слав. *trěskati* — ‘стремитися’ (*strepitum edere*), *troska* — ‘треск’ и т. д.

Ср., наконец, лит. *šóku*, *šókti* — ‘скакать’ (лтш. *sákū*, *sákkti* — ‘начинать’), наряду со слав. *skočō*, *skočiti*.

Из этого списка, который, конечно, является неполным, следует, что в балто-славянском гласный был удлинен в некоторых глагольных корнях типа *TetT*, т. е. с взрывным или щелевым согласным после гласного основы. Представляется, что в соответствии с гипотезой Мейе, здесь идет речь о корневых нетематических глаголах. Засвидетельствованные корневые глаголы, за исключением **ědmi*, не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту гипотезу, поскольку их фонетическая структура исключает различение нормальной и удлиненной ступени: слав. *věst̥*, *dast̥*, лит. *liěkti* — ‘остается’, *miěgti* — (диалектн.) ‘спит’, *rausti* (арх.) — ‘плачут’, *riáugti* (диалектн.) — ‘икает’, *sérgti* (арх.) — ‘стережут’, *eít(i)* — ‘идет’, *ravelt* (арх.) — ‘наказывает’, *dúost(i)* — ‘дает’, *děst̥i(s)* — ‘делается’ (*de* — старая редакция).

Чтобы объяснить балт. **ěti*, слав. **ětъ* и т. д., следует учесть тот факт, что корневой нетематический презенс, имея специфические окончания, отличается в этом отношении от всех других образований, особенно тематического типа (-*e/o-*, -*ie/io-*, слав. -*ne/no-*). Глаголы всех других классов (с носовым инфиксом или суффиксом на -*ǐ/ē-*, -*eǐe/o-*, -*ā/ē/o-*, и т. д.) охватывали также продуктивные типы. Типы окончаний основных глаголов лит. *-ti*, *-si*, *-ti* и слав. *-tb*, *-si* были подчинены типам лит. *-i* (-*io*), *-i* (-*ie*), нуль (*a*) и слав. *-o*, *-si*, свойственным не только тематическим немотивированным глаголам, но и всем мотивированным тематическим или нетематическим (например, лит. *miniu*, *min*, *mini*, слав. *тьпjо*, *тьпiši*).

Морфологический закон, управляющий этим отношением, был следующий: окончания типа *-ti* приводят к исчезновению тематического гласного. Соответствующий глагольный корень представлял собою, следовательно, закрытый слог: **eimi*, **eiti*; **velmi*, **velti*; **ědmi*, **ěsti*; **bēgmi*, **běkti*;

²⁴ Эту флексию сохранил, впрочем, только глагол **ed* — ‘есть’.

*sēdmi, *sēsti; *sēkmi, *sēkti по отношению к потенциальным тематическим формам *ējō, *ējeti; *vēlō, *vēleti; *ēdō, *ēdeti и т. д.

После сокращения тавтосиллабических долгих дифтонгов значение противопоставления *ējō → *eimi, *vēlō → velmi изменилось: гласный *e* тавтосиллабических дифтонгов *ei*, *el* стал рассматриваться, как долгота, сокращенная фонетически, что повлекло за собой долготу в *ēsti, *bēkti, *sēsti, *sēkti и т. д. (> *ēsti, *bēkti, *sēsti, *sēkti...). Из-за неправильности своей парадигмы (*es:s*) только глагол *estmī* избежал этого преобразования.

Удлинение в корневых атематических глаголах в индийском и в балто-славянском имеет действительно общую причину, а именно остаточный характер этого образования. Точно так же механизм и относительная хронология возникновения индийского типа *mārṣṭi*, с одной стороны, балто-слав. *ēsti — с другой, настолько отличаются друг от друга, что следует говорить о независимой рефлексии корневых нетематических глаголов. Индийское удлинение основано на парадигме с чередованием гласных („*L'apophonie en indo-européen*“, стр. 155), балто-славянское удлинение было возможно только после исчезновения чередования. Нет ни одной общей формы с удлиненным гласным, сохранившейся в индийском и балто-славянском. Из корневых нетематических глаголов, сохранившихся в обеих группах, два (*ēsti, *eiti) не имеют удлинения, третий (*ed-ti) обнаруживает его только в балто-славянском.

IV

Исторические интонации языков литовского, латышского, сербохорватского и словенского вытекают из различных преобразований интонационной системы, возникшей в эпоху балто-славянской общности. На возникновение различия в этом отношении между литовским и славянскими языками оказали влияние два фактора: действие в литовском так называемого „закона де Соссюра“ [правильная формулировка которого дана мною еще в 1931 г. в „*Le problème des intonations balto-slaves*“ (RS, X, стр. 46—50); ср. также „*L'accentuation*“, стр. 243], а также ослабление редуцированных в славянском („*L'accentuation*“, стр. 263). Реконструкция состояния, существовавшего до этих изменений, дает картину, представляющую продолжение балто-славянских языковых условий. При этом следует отметить, что в одних случаях литовский, в других славянский сохраняет непосредственно старое состояние. Так, например, непосредственная причина возникновения фонологической оппозиции „циркумфлекс : акут“, а именно переход внутреннего ударения со слогов с кратким гласным на начальный слог слова, широко засвидетельствован в литовском в флексии основ на согласные (например, вин. п. ед. ч. *dūkteri*, *mōteri* наряду с инд. *duhitáram*, *mātáram*), в славянском, напротив, скорее в оборотах „предлог + сущ.“ (*n'a rōkō* и т. п.).

После исключения более поздних явлений, специфически балтийских или славянских, балто-славянское наследство в области морфологической роли интонации представляется следующим образом.

1) В группе немотивированных (первичных) слов исчезает всякая разница между индоевропейскими баритонами и окситонами. Слова с долготой в корне (*e*, *ēi*, *ēg* и т. д.) получают актовую интонацию независимо от того, была ли старая баритонеза или окситонеза. Слова с краткостью в корне (*ē*, *ēi*, *ēg* и т. д.) обнаруживают отсутствие интонации (или так называемую циркумфлексную интонацию), также безотносительно к старой акцентуации.

Корневая интонация включает одновременно акцентуационное развитие парадигмы. Слова с актовым корнем сохраняют во всей парадигме

ударение на корне. В словах с циркумфлексным корнем ударение переходит в так называемых слабых формах на последний слог.

Приведенные выше замечания касаются как склонения, так и спряжения.

2) В группе мотивированных (производных) слов возникновение интонации обусловило образование нескольких интонационно-акцентуационных типов. Различаем:

а) дериваты, которые всегда сохраняют акцентуацию (слабых форм) основы;

б) дериваты с постоянным ударением на суффиксе;

в) дериваты с рецессивным ударением или циркумфлексной метатонией (ударение на первой море).

г) дериваты с предсуффиксальным ударением или акутовой метатонией (ударение на второй море).

Все эти возможности находим прежде всего в отыменных производных.

3) Как видно из сказанного выше, окситонические основы исчезли в группе немотивированных слов. Но постоянный, свойственный каждому языку переход слов из категории мотивированных в категорию немотивированных привел к тому, что масса первичных слов была подавлена утрачивающими свою мотивированность дериватами, между прочим, и дериватами окситоническими (2б и частично 2а). Таким образом, получаем как в склонении, так и в спряжении известную интонационно-акцентуальную тройственность парадигм, хорошо сохранившуюся в славянском, допустимую латышским и преобразованную в литовском: вследствие действия морфологического закона де Соссюра возникло четыре типа ударения: неподвижное акутовое и циркумфлексное, а также подвижное акутовое и циркумфлексное. Для балто-славянского следует принять: а) баритонные неподвижные парадигмы с акутом; б) подвижные парадигмы с циркумфлексом; в) окситонические парадигмы.

Приведем примеры балтийско-славянских соответствий в группе немотивированных слов.

Акутова интонация и неподвижные парадигмы: лит. *dúmai* = лтш. *dūmi*, слав. *dymъ*; лит. *bóba* = лтш. *bāba*, слав. *baba*; лит. *glinda* = лтш. *gnida*, слав. *gnida*; лит. *kùrpē* = лтш. *kuřpē*, слав. **kъrplja*; лит. *kýora* = лтш. *kiôra*, слав. *kira*; лит. *liepa* = лтш. *liêpa*, слав. *lipa*; лит. *lópa* = лтш. *lápä*, слав. *lapa*; лит. *várna* = лтш. *vârna*, слав. **vorna*; лит. *vílna* = лтш. *viñna*, слав. **vylna*; лит. *žiáunos* = лтш. *žaiñas*, слав. *žuna*; лит. *nýtis* = лтш. *níts*, слав. *nítъ*; лит. *mótë* = лтш. *mâte*, слав. *mati*; лит. *ilgas* = лтш. *ilgs*, слав. **dylgъ*; лит. *báltas* = лтш. *bałts*, слав. **bolto* (средний род субстантивирован); лит. *pílnas* = лтш. *pilns*, слав. **rýlnъ* (в старых акутовых прилагательных литовская подвижность вторична, ср. „L'accentuation“, стр. 255).

Циркумфлексная интонация и подвижная парадигма: лит. *drāngas* = лтш. *drångs*, слав. *drugъ*; лит. *lañkas* = лтш. *lùoks*, слав. *lokъ*; лит. *mañsas* = лтш. *màiss*, слав. *měxъ*; лит. *miégas* = лтш. *tiesgs*, слав. *miégъ*; лит. *sniégas* = лтш. *snilegs*, слав. *sněgъ*; лит. *vílkas* = лтш. *vilks*, слав. *vylkъ*; лит. *barzdà* = лтш. *bàrda*, слав. **borda*; лит. *grindà* = лтш. *gríða*, слав. *gręda*; лит. *talkà* = лтш. *tálka*, слав. **tolka*; лит. *žiemà* = лтш. *zímeta*, слав. *zíma*; лит. *ausìs* = лтш. *åuss*, слав. *uši* (дв. ч.); лит. *vírsùs* = лтш. *vírsus*, слав. *výrхъ*; лит. *žasis* = лтш. *zùoss*, слав. *gòsъ*; лит. *siénas* = лтш. *siens*, слав. *sěno*; лит. *sañsas* = лтш. *sàuss*, слав. *súxъ*.

Понятие и область подвижности парадигм различны на протяжении длительного исторического периода балто-славянских языков. Первоначальными „сильными“ формами (т. е. ударяемыми в первой море слова)

были винительный падеж (возможно, и дательный) единственного числа, а также именительный и винительный падеж множественного и двойственного числа. Минуя случаи возникновения неподвижности ударения (латышский, западнославянский, за исключением говора поморских словинцев), акцентуальная кривая подвижной парадигмы сохранилась в основном хорошо в основах женского рода на *-ā-* (исключая действие „закона де Соссюра“ в литовском, сдвиг ударения с конечных редуцированных в славянском; например: род. п. мн. ч. *pōgъ* < **pogъ*). В связи с ослаблением редуцированных наступило также ограничение, а скорее, изменение подвижности основ на *-o-*, *-i-*, так что они имеют больше баритонезы (представляют другой тип подвижности), чем основы на *-ā-*.

Пример парадигм на *-ā-* в литовском и русском:

	Литовский	Русский
Вин. п. ед. ч.	<i>bařzdaq, žiētq</i>	<i>bórodu, zímu</i>
Им. п. мн. ч.	<i>bařzdos, žiēmos</i>	<i>bórody, zímy</i>
Им. п. ед. ч.	<i>barzdà, žiemà</i>	<i>borodá, zimá</i>
Род. п. ед. ч.	<i>barzdōs, žiemōs</i>	<i>borodý, zimý</i>
Род. п. мн. ч.	<i>barzdq, žiemq</i>	<i>boród, zim (< *bord, *zim)</i>
Дат. п. мн. ч.	<i>barzdóms, žiemóms</i>	<i>borodám, zimám.</i>

Примеры на акцентуационные соответствия в области дериватов в литовском и славянском:

славянские окситонические дериваты *pisъtō;* **tъpъscъ,* **švuvъscъ,* **svetъscъ,* **věpъscъ;* **večerъnъj;* **zimъnъj;* **četvъrtъ,* **pětъ,* **šestъ,* **ostmъ,* **desetъ;* *nagotá* — литовским циркумфлексным неподвижным дериватам *piešimas, minikas, siuvikas, šventikas, vainikas, vakarinis, zieminis; ketvîrtas, peñktas, šeštas, āšmas, dešimtās; nuogatà* (род. п. *nuogātos*);

славянские дериваты с акутовым суффиксом **ortajъ* (сербо-хорв. *rataj;* *sestrěpъ;* *ovčina;* *rogatъ,* **bordatъ,* **golvatъ,* *rosatъ;* **přtitъj;* **vblcítъj,* **gosítъj* — лит. *artojas;* *seserēnas;* *avikiena;* *raguotas,* *barzdótas, galvótas, rasótas;* *putýtis, vilkýtis, žasýtis.*

Здесь не место разбирать все подробности фонетической эволюции интонации и роль, какую сыграли продолжающие ее формы в балтийской и славянской морфологии. Мы отсылаем читателя к „L'accentuation“ (стр. 242—422).

Однако важно подтвердить, что в обеих языковых ветвях система спряжения обнаруживает то же просодическое строение, что и система склонения, а именно:

В славянском имеем три типа парадигм, унаследованных из балто-славянского: акутовые баритоны с неподвижной парадигмой, циркумфлексные с подвижной парадигмой и, наконец, окситонические парадигмы.

В литовском окситоны исчезли подобно тому, как в склонении, и как в склонении, так и в спряжении мы можем различить четыре типа ударения (ср. „L'accentuation“, стр. 400): парадигмы²⁵ акутовая неподвижная: *ródau, ródai, ródo; teródai, ródqs;* циркумфлексная неподвижная: *rašaū, rašai, rāša; terāšai, rāšqs;* акутовая подвижная: *dírbu, dírbi, dírba; tedírbiē, dirbq̄s;* циркумфлексная подвижная: *liekù, lieki, liéka; teliekiē, liekq̄s.*

²⁵ Парадигма в широком значении этого слова (всего спряжения данного глагола).

Латышский язык со своим тройственным различием гласного как в склонении, так и в спряжении (*ā*, *à*, *â*; эта последняя форма свойственна старым окситоническим парадигмам) остался более близким к первоначальной балто-славянской системе.

* * *

Из сказанного выше можно было бы сделать вывод, что мы склонны понимать некоторые общие черты, а также морфологические различия, как аргументы скорее второстепенные. В действительности в этом последнем случае речь идет о явлениях, которые либо выпадают из цепи относительной хронологии, либо явно более поздние, чем анализированные здесь. Итак, различия в прошедшем времени, а именно распространение аориста на *-ē-* в литовском (в ущерб сигматическому и тематическому аористу) — более позднее явление, чем изоглосса возникновения удлиненной ступени. Точно так же более поздним явлением, чем эта изоглосса, является включение итеративных форм с удлинением в систему славянского спряжения и, вероятно, в связи с этим вытеснение старого будущего времени. Из возникших независимо друг от друга форм имперфекта (лит. *-davaa*, слав. *-ěaxъ*), вероятно, ни одна не относится к балто-славянскому времени и т. д.

Совершенно не следует также подчеркивать различие окончаний, таких, как 1-е лицо мн. ч. лит. *-te*, слав. *-tъ*, 1-е лицо дв. ч. лит. *-ua*, слав. *-uē* и т. п. Различия этого рода диалектные, хотя, возможно, они менее многочисленны между индийским и иранским (например, 2-е лицо ед. ч. инд. *-thaḥ*, иранск. **-sa*). С другой стороны, полная редукция в балтийском двух рядов глагольных окончаний, первичных и вторичных, — явление, конечно, относительно позднее (ст.-слав. *-q*, *-eši*, *-etъ*, *-otъ*, но *-b*, *-e*, *-q*).

Представляется, что некоторая чрезмерность, с которой на первый план выдвигают морфологические взгляды, вызвана смешением понятий. Морфологическая структура несомненно представляет собой основу языковой системы. Но для проведения доказательства исторического факта, каким является языковое родство, различие фонетики и морфологии играет менее значительную роль. Речь идет о специфичности изоглосс; специфические общие фонетические изменения являются более веским аргументом, чем нехарактерное морфологическое сходство (например, лит. *-lus* = слав. *-lъ*, лит. *-rus* = слав. *-rъ* и т. п.), возникшее благодаря параллельной конглютинации (*-l + us*, *-r + us* и т. д.).

Анализированные (II—IV) общие новообразования, особенно палатализация согласных, возникновение и сокращение долгих дифтонгов, передвижение ударения в определенных условиях на начальный слог, касаются очень отдаленной эпохи и оставляют глубокую печать на всей структуре языка. Фонологическая структура слова вследствие возникновения категории палatalности, охватывающей все согласные, а также вследствие возникновения интонации начальных слогов, приобретает вид, не повторяющийся ни в одном индоевропейском языке. До этого доходят изменения в морфологическом строе слова, распад ступени исчезновения на две формы *ir/ur*, *il/ul* и т. д., добавочная характеристика, с помощью удлинения или интонации, унаследованных морфологических флексивных и словообразовательных категорий. Количество и интонация могли выполнять эту роль потому, что они в противоположность фонемам являются просодическими элементами, часто обусловленными морфологически (а не фонетически) окончаниями и суффиксами.

Поэтому мы склонны считать анализированные здесь изменения (II—IV) сильнейшими аргументами в пользу балто-славянского языкового единства. Общую палатализацию и своеобразное изменение акцентуации прежде всего можно считать новообразованиями, которые с очевидностью резко отделили обе языковые группы от соседних индоевропейских языков, подобно тому как передвижение согласных — германскую группу. Сходство в изменении употребления той или иной морфемы, расширение или сужение (до исчезновения) области их употребления, общее образование новых суффиксов посредством интеграции старых — все это несомненно нужные и важные аргументы, подтверждающие тезис о балто-славянской общности, но они уступают по своей важности приведенным выше.

(перевод с польского Л. С. Малаховской)

З. П. ЗИНКЕВИЧЮС

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТОИМЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКЕ

I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ МЕСТОИМЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

В литовском языке имеется два вида прилагательных: простые и местоименные. Последние возникли из простых путем присоединения местоимения *jis* (ж. р. *ji*). В современном языке первоначальное их образование выступает довольно ясно: местоименные прилагательные обычно сохраняют облик сложного слова, у которого оба компонента имеют свои падежные окончания, часто совпадающие с флексиями простых прилагательных и местоимения *jis*; например, *baltasis* (ср. *báltas* — 'белый' + *jis* — 'он'), род. ед. ч. *báltojo* (ср. *bálto* — 'белого' + *jō* — 'его'), вин. ед. ч. *báltají* (ср. *báltą* — 'белого' + *ji* — 'его'), *báltqjq* (ср. *báltq* — 'белую' + *jq* — 'ее'), род. мн. ч. *baltųjų* (ср. *baltų* — 'белых' + *jų* — 'их') и т. п.

В древнелитовских письменных памятниках (XVI—XVII вв.) сохранились многочисленные местоименные прилагательные, у которых окончания обоих компонентов совпадают с соответствующими флексиями простых прилагательных и местоимения *jis* и в тех случаях, когда они не совпадают в формах современного языка; например, вместо современной формы твор. п. мн. ч. ж. р. *pirmosiomis* (ср. *pirmomis* — 'первыми' + *jomis* — 'ими') в Постилле Даукши 1599 г. имеется форма *pirmomisiomis* (188₄₂); вместо современных форм местн. п. *pirmājame* (ср. *pirmamē* — 'в первом' + *jamē* — 'в нем'), *tikrōjoje* (ср. *tikrojē* — 'в действительной' + *jojē* — 'в ней'), *piktūsiuose* (ср. *piktuosē* — 'в злых' + *juosē* — 'в них') в названной Постииле имеются формы *pirmatājeme* (554₅), *tikroičioie* (265₁₃), *piktūsēiūse* (599₂₈). Приведем другие примеры указанных форм в древнелитовских памятниках:

а) *tēikis mumus duot idant butumbim'wissi tikromisiomis awēlēmis* (DP 249₇₋₈), *bę pigai to priwessimē, ir Kronikomis, sənomissiomis, fundaciomis, ir priwiliomis* (DP 443₁₄);

б) *dangiszkameieme ischganime* (MT 35₂₀), *didimēiime czetwerge* (DP 139₃₇), *Martinas Luthēris mažamēiime sawame Catechisme ragina iszkałos Mistrus* (DP 456₅), *nauiemēiime Testamente* (MT 114₈, 202a₁₆₋₁₇ MT[PM] 7_{6, 16-17}), *nauiemēiime Testamente* (MT 110₂₀), *żokonę nauiamēiimę* (DP 463₃₆), *paskirtumēiime¹ urede* (DP 203₁₈), *pirmamēiime sākime* (DP 43₁₂), *pirmamēiime apiiūkime* (DP 169₄₇), *pirmamēiimę ataiimę* (DP 411₄₃), *pirmamēiime priežodie* (DP 526₇), *zmoguie pirmamēiimę* (DP 394₇), *ne pirmameiime kune* (DP 195₂₀), *pirmamēiime yra waistas, antrame yra pagełbeiimas* (DP 407₃₅), *Pirmamēiime weizdek' ką, antrame per ką, treczeme kodrin* (DP 407₂₂), *atsiliksimē pirmamēiimę vžgimimę ir darbūsę* (DP 452₃₈), *prakeiktameieme grieke* (MT 55a₈), *sawameiime apreiszkiime* (DP 196₃₂), *senameieme Testamente* (MT[PM] 21a₆₋₇), *senameieme...*

¹ Т. е. *paskirtamēiime*.

Testamente (MT 110₁₉, 119a₁₈, 206a_{16–17}), *senamēiime*² žokone (DP 253₂₇), *tikramēiime* kune (DP 195₃₅), *tikramēiime...* sunuię (DP 450₂₃);

б) kunas mergos.... žemeia *szwentoīqieia*³ anamę karste (DP 494₂₅), *tikrōiēioie* dumoie (DP 417_{34–35});

г) *grinūsēiūse* brolūsia (DP 485_{43–44}), kitaip wienok yra iszmintingame sutwerime... o kitaip' *piktūsēiūse* (DP 599₂₈), to *senūsēiūse* rāsztūse niekad butumbime nasakite (DP 551_{10–11}), ape tai *senosēiūse* rasztūse nūdemais nieko ne skaititumbime (DP 547₃₀), anūse *sianūsēiūse* Heretikūse (DP 304₄₀), idant... žinotumbite, kurie yra łobiei garbes Tewainumo io *szwetūsēiūse* (DP 190₂₀), turime pawaizdus Apāsztalūse ir... *szwēntūsēiūse* (DP 238₁₀).

Оба компонента местоименных прилагательных (т. е. прилагательное и местоимение) в древнелитовских памятниках еще сохраняют определенную самостоятельность. Так, мы находим местоименные прилагательные, а также местоименные причастия, у которых второй компонент, т. е. местоимение, находится не после первого компонента, т. е. после прилагательного, а перед ним (после приставки или отрицания); например, род. п. *paioprasta* — ‘обыкновенного’ (PK 98₁₆), ср. *pa* (приставка) + *jo* (местоимение) + *prasto* (прилагательное). Примеры:

а) O misernasis ir *praiispūlēs* žmogau (DP 169₂₁), *Nughiewargie...* Manimp atauszinsites (KN 186₁₉), *praiępoli*⁴ a paskandinteghi grešnikai (VP 140b)⁵, elgetos, ubagai, ligonis... *priieliesči* žmones, linksminkites tū pawaizdū (DP 273₅₁), wysy *suiespausti* rankitesi jopi (KN 57₂₁), wisi *suiespausti* rankitesi iopi (PK 65_{14–15});

б) weykiaus idant desine manogi vžmirsztu žaysla *paioprasta*... neg asz turiečia tawęs vžmirszti (PK 98₁₆), Ewangelia *praiosszokusios* Nedelos (DP 13₁₀), *praiuosszokusios*⁶ giwatos (DK[TB] 53₃₂), wiena aszarele pakaks ąnt nuprausimo wissu piktibiu... giwatos *praiosszokusios* (DP 32₂₂), *praiuosszokusiy* nūdemiu DP 182₄₂;

в) Paukszelui *nu-jam-ludusam* isz loskos skirk grudeli (KG 480₁₈), Nodieią padrutink... Id wel giaray daričią *Nuiampułuosiamuy*⁷ o meýlą vžlaykičia artimuy sawamuy (KN 241₁₅);

г) ruzgetoiei.. žęklino wissą giminę žmonių, tatai yra mus wissus nūdziai ir giltinei *paiūsdūtus* (DP 454_{34–35}), idant *praiesszokuses* nuodemes sawimp karotumbei (DP 109₃₄);

д) Pharięuszai Nedeloie *praiesszokusioie* suprast arba ne noreio, arba ne galeo (DP 346₃₇), Kaip ir merga... nedeloi *praiaszokusioie*, wino ne tur (DP 76₄₀), *PRaiaszokus* *ioi* nedēlo girdeiome Broli mielausiei ludimą (DP 21₃₇).

Имеются и такие местоименные прилагательные, у которых второй компонент повторяется два раза; например, род. п. мн. ч. *giwciūciū* — ‘живых’ (BrB Rom. XIV₁₉), ср. *gyvų* (прилагательное) + *jų* (местоимение) + *jų* (местоимение). Другие примеры: *krikzaniszkasisis*, *krikszanischkasisis*, *kuniszkasisis*, *sussimilstansisis*, *swetimasisisis* (VP)⁸, вин. п. мн. ч. *kaltūsusus* (MT 52₅)⁹; Su wiera io szwentoump slankščiump ženkime: Alto-riauspi wiernui tikroia, walgit Awinėla ne iokałtoia (KN 258₁₆).

² Т. е. *senamēiime*.

³ Т. е. *szwentoīqieia*.

⁴ Т. е. *prajiepuole*.

⁵ См. KZ, т. LIX, 1932, стр. 273.

⁶ Т. е. *praiosszokusios*.

⁷ Т. е. *Nuiampułuosiamuy*.

⁸ См. W. Gaigalat. Die Wolfenbütteler litauische Postilenhandschrift aus dem Jare 1573. Tilsit, 1900, стр. 131.

⁹ Ср. замечание в грамматике Клейна: „Es werden auch von diesen Emphaticis Adjectivis noch andere deriviret, so man nennen könnte Emphaticotera; als von *gerasis*

В последнем примере — *ne iokaļtoia* — ‘невинного’, местоимение повторяется перед прилагательным (после отрицания) и после него, ср. *ne* (отрицание) + *jo* (местоимение) + *kalto* (прилагательное) + *jo* (местоимение).

В местных падежах (инессив, иллатив, адессив и аллатив) находим постпозитивные частицы, присоединяемые не к концу сложного слова, а отдельно к прилагательному и к местоимению, как если бы это были два самостоятельные слова; например, аллатив *pirmopior* — ‘к первому’ (МТ 230₁₀), ср. *pirmo* (прилагательное) + *pi* (постпозитивная частица) + *jo* (местоимение) + *pi* (постпозитивная частица). Примеры:

a) Powilas atgrāzin mus apreikschtōiop žodžop (МТ 172₁₅), atgrāzini-mai... priwalingi tikropio p gailessop (МТ 146₁₀), wienariopop¹⁰ wartoiimop (DP 276₂₂);

б) *tikrospiosp wienibesp* (МТ 207₁);

в) Paiųkė žmones... artimump Karalistump ir tāutump... pasiuntinius siuntinet' (DP 587₁₂), atmestump Karalistump ir tāutump... pasiuntinius siuntinet' (DP 587₁₂), atmestump (МТ 178a₁₇₋₁₈), tassai tur szirdj ir dumą nuog... žemės daiktą anump' kañeiump o augsztump' pakēlt (DP 619₃₀), Lozorius ne galeīs butū būt' giwump Karalistump nusiūtas (DP 273₂₀), anump penkiump issakitump bludump (МТ[PM] 28a₁₅), žmoniump... ischrinktump (МТ 178a₈₋₉), ižtikimump tarnump (DP 254₂₉), dumoia atpedui sugr̄szt pirmump biauribump (DP 206₂₆₋₂₇), Sawump ateio, ir sawieii io ne prieme (DP 43₄), szwintump (LK 55₆), tikrump Piemenump tikrump awiump (DP 245₃₂);

г) keles, kuris' weda amžinonon¹¹ prapultin' (DP 270₂), Bažn̄czion, tikranqion' (DP 403₂).

Указанные местные падежи с сохранившимися постпозитивными частями после обоих компонентов мы находим также в современных литовских диалектах в Белорусской ССР (речь которых вследствие полной изоляции от литературного языка сохранила много архаических особенностей); например, prašo ani durnātrjamp (адессив) Janukip, kad anas dastot ugnies aškuryts liul'kas (ArP 98), rodnātrjamp (ArT37), dzideli-ārjas (< dideliaipjaip) zmejap (ArP 98) (Lazūnai — Лазуны, Юротишкий р-н); ne ton ūličion sanōnjon (иллатив), ale ton naujōnjon (ArT 9) (Gervėčiai — Гервяты, Островецкий р-н).

Все сказанное выше свидетельствует о том, что срастание прилагательного с местоимением в одно сложное слово в литовском языке произошло сравнительно поздно. Сравнение характера ударения некоторых падежных форм в литовском и латышском языках указывает на то, что этот процесс произошел независимо в обоих близко родственных языках, т. е. уже после распада литовско-латышского единства. Так, винительный падеж единственного числа двусложных слов в литовском языке имеет ударение на корне; например, *paijāq* — ‘новую’, *gýuq* — ‘живую’. В слове *paijāq* сохранилось древнее корневое ударение, ср. русск. *новую*, греч. νέαν, др.-инд. *návāt* и др. В слове *gýuq* ударение новое, перенесенное из окончания, ср. русск. *живую*, др.-инд. *jīvāt* и др. Прерывистая интонация (lauztā) последнего слова в латышском языке (ср. лтш. *dzīvu*) указывает на то, что в древности было ударяемое окончание. Следовательно, в литовском слове *gýuq* ударение с окончания на корень было перенесено уже после распада литовско-латышского единства. Соответствующая местоименная форма *gýuqājā* также имеет ударение на корне. Если бы слияние местоимения с прилагательным в одно слово

kommt *gerasis*, von *mielasis* — *mielas*, von *brangus* — *brangus*. Und solche Adjektiva höret man oftters im gemainen Gebrauch“ (M. Danielis. Kleinii Compendium Litvano-Germanicum. Königsberg, 1654, стр. 12).

¹⁰ Т. е. *wienariopiop*.

¹¹ Т. е. *amžinonion*.

произошло в общебалтийскую эпоху, то в современном языке было бы не *gývojā*, но **gývōjā*, подобно тому как в форме иллатива имеем *gývōp* (из *gývōba*), образованного от той же формы винительного падежа, только постпозитивная частица здесь присоединилась в то время, когда винительный падеж имел ударение на окончании¹². На то же указывает и сравнение формы род. п. *gývojo* — ‘живого’ с формой аллатива *gývōri* — ‘к живому’.

Как известно, местоименные прилагательные являются общим достоянием балтийских и славянских языков. В старославянском языке наряду с именными прилагательными употребляются также и местоименные прилагательные, образованные путем присоединения к именным прилагательным местоимения *и* (*jъ*, ж. р. *и*, ср. р. *и*), развившегося из индоевропейской местоименной основы **jō-* (ж. р. *jā*), соответствующего по своему происхождению лит. *jis* (ж. р. *ji*).

В других индоевропейских языках (кроме балтийских и славянских) местоименных прилагательных как таковых не имеется. Лишь в некоторых случаях обнаруживается употребление относительных местоимений, развившихся из той же индоевропейской местоименной основы **jō-* и придающих определительное значение имени. Примером такого употребления в древнеиндийском языке может послужить фраза из Вед: *yā gūngūr, yā siñvālī, yā rākā, yā sárasvatī, īdrānīm ahva ūtāye varuṇānīm svastāye* (Rig-Veda, II, 32, 8) — ‘Гунгу, Синивали, Рака, Сарасвати, Индраны призываю на помощь, Варунани — на благословение’ (букв.: ‘которая Гунгу, которая Синивали, которая Рака, которая Сарасвати, Индраны призываю на помощь, Варунани — на благословение’). В этой фразе дополнение четыре раза выражено с помощью конструкции относительного местоимения *yā-* ‘которая’ с именительным падежом существительного и два раза — винительным падежом существительного (*indrānīm, varuṇānīm*).

В иранских языках такое употребление относительного местоимения развило еще дальше. В Авесте местоимение уже в некоторой мере лишилось своего первоначального значения, так как употреблялось в качестве своеобразной определительной частицы, отчасти напоминающей артикль, например: *azət uō ahuro mazdā* — ‘я Ахур Мазд’ (букв.: ‘я, который Ахур Мазд’) или *daēvō uō arošō* — ‘Даэв Апаош’ (букв.: ‘Даэв, который Апаош’). При изменении падежа существительного соответственно изменяется и падеж местоимения; например: *daēum uīt arošət* — ‘Даэву Апаошу’ (букв.: ‘Даэву, которому Апаошу’).

Употребление относительного местоимения, превратившегося в определительную частицу, в Авесте довольно разнообразно. Оно может стоять даже при родительном принадлежности, морфологически с ним не согласуясь; например: *daēnət... uət hūdānaōs* — ‘веру Мудрого’ (букв.: ‘веру... которую Мудрого’). Может употребляться не только с существительными, но и с прилагательными; например: *šyaodhanāiš yāiš vahīštāiš* — ‘наилучшими трудами’ (букв.: ‘трудами, которыми наилучшими’), *hača zətať yať rāθanayā* — ‘из обширной земли’ (букв.: ‘из земли, которой обширной’), *ahmi ašhvōt yať astvainti* — ‘в этой телесной жизни’ (букв.: ‘в этой жизни, которой телесной’) и т. п.¹³.

В последних примерах конструкция относительного местоимения и прилагательного уже очень напоминает местоименные прилагательные балтийских и славянских языков. Правда, в Авесте местоимение находится перед прилагательным. Но параллель такому препозитивному упо-

¹² Ср. „lš K. Bügos palikimo . APh, I, 66—67.

¹³ Все авестийские примеры взяты из книги H. Reichelt. Awestisches Elementarbuch. Heidelberg, 1909, стр. 370—371.

треблению местоимения дают местоименные прилагательные древнелитовских памятников типа *raioprasta* (см. выше), в которых местоимение не постпозитивное, а препозитивное.

Изредка определительное употребление индоевропейской местоименной основы **io-* находим также в „Одиссее“, например: Ζόθρον ὁρύξα: δέσο τε πυγούσιον ἐνθα καὶ ἐνθα (*K* 517), в которой относительное местоимение *δέσο* подчеркивает, определяет прилагательное *πυγούσιον* и в некоторой степени существительное *Ζόθρον*¹⁴.

Данное определительное употребление местоименной основы **io-* в древнейших памятниках индоевропейских языков — в Ведах, Авесте и „Одиссее“ — не может рассматриваться как новообразование, случайно совпавшее в этих языках.

Указанные языки должны были унаследовать предпосылки для такого употребления из очень глубокой индоевропейской древности¹⁵, но унаследованное начало развивалось не одинаково. В наибольшей степени его развили языки Авесты и современные иранские языки. В другом направлении определительное употребление относительного местоимения **io-* развили балтийские и славянские языки.

В балтийских и славянских языках употребление указанной местоименной основы получило другие, не сходные с употреблением в Авесте черты, а именно:

1. Местоимение перестало употребляться с существительными, оно встречается лишь с прилагательными, причастиями, некоторыми числительными¹⁶ и местоимениями. Правда, в древнейших памятниках литовского языка имеются прилагательные, образованные с помощью этого же местоимения из форм местного или родительного падежей некоторых существительных (обычно имеющих значение места, редко — времени). Например:

a) *danguietiis ukinikas* (*DP* 331₄), *ischmintis dągvięii*, *daiktai... žemėiie* (*DP* 616₃₃), *galibes danguięios* (*PK* 85₂₄), *widurięio nuraminimo* (*DP* 239₆), *ant dągvięios swodbos* (*DP* 34₁₄), *man' kloniosis wišokes kėlis dągvięių žemėięių ir pragareių arba pękšeių* (*DP* 411₄₀₋₄₁), *Tewuy danguięiam* (*PK* 250₉), *Nuodemeiei iaunistei* (*DP* 555₂₉), *galeghi pirschta* (*VEE* 92), *ing giwātą danguięiq* (*DP* 90₁₁), *daiktus duobeietyius* (*DP* 520₄₄), *ing tamsibes widurięies* (*DP* 352₅), *su widurięieu... kartumu* (*DP* 122₄₈), *su karaliste danguięie* (*DP* 104₁₈), *su wissais dągvięieis... kareis* (*DP* 542₁₆), *sīłomis szirdięiomis* (*DP* 626₃₁), *dągvięieme pakāiuie* (*DP* 596₄₇), *galibieie wirięcioie* (*DP* 613₄₉), *dągvięiūse daiktūsę* (*DP* 440₁₉), *Dągvięiose pilisia* (*DP* 542₁₇); *dągvięion tewiksyczion'* (*DP* 93₃₂); *Tewop sawop dągvięiop* (*DP* 229₃₇), *skomiosp dągvięiosp* (*DP* 200₄₅); *tamip bernelip dągvięieip* (*DP* 32₁₇); *anump kałneiump... daiktump* (*DP* 619₃₀);

b) *tewas dangugis* (*PK* 23₄), *duona dangugi* (*PK* 132₄), *Geiduli ubagiuu ischklausai* (*Mž.* 526₂); *karalu dangugi* (*PK* 143₁₈, 154₁); *žmōnes pēni-gūius* (*DP* 602₄).

Указанные прилагательные употребляются так же, как и местоименные прилагательные. Некоторые из них сохранились и в современных

¹⁴ См. Е. Негманн. Griechische Forschungen. I. Leipzig u. Berlin, 1912, стр. 243.

¹⁵ По мнению Ф. Шпехта, Веды сохранили в этом отношении состояние индоевропейского языка-основы, см. его „Die Flexion der n-Stämme im Baltisch-Slavischen und Verwandtes“. KZ, Bd. LIX, 1932, стр. 272—273, 276.

¹⁶ В современном литовском языке местоименную форму могут иметь только порядковые числительные, например, *pirmasis*, *pirmoji* — ‘первый’, ‘первая’. Однако в древнелитовских письменных памятниках местоименную форму имеет и количественное числительное *vienas* — ‘один’, например: *Sunau wienassis* (*Mž.* 217₆), род. п. ед. ч. — *del wienoia sunaus* (*PK* 32₇), вин. п. ед. ч. — *ing wienaqi... sutwereg* (*PK* 112₆) и др.

диалектах; например: *buo ty viena dzīēvoji bítē* (Лазуны, Юртишский р-н БССР, ArT 38), *žmoniūjai vaikai* (там же, 68), *račiūjai* ‘наши родные’ (Kretinga; LZTP 45) и др.

2. В балтийских и славянских языках закрепилось постпозитивное употребление местоимения; например, лит. *paujasis*, ст.-слав. **новыи**, хотя в древнелитовском языке, как уже было указано, имеется и препозитивное его употребление.

3. Окончания прилагательного и местоимения (т. е. обоих членов сочетания) в балтийских и славянских языках было строго согласовано с определяемым словом;ср. лит. *paujasis nāmas*, ст.-слав. **новыи домъ**.

После того, как в качестве относительных местоимений в балтийских и славянских языках стали употребляться вопросительные местоимения, первоначальное релятивное значение второго компонента местоименных прилагательных постепенно исчезло, например лит. *baltasis arklýs* с течением времени приобрело значение '(упомянутая) белая лошадь' вместо древнего значения 'лошадь, которая белая'. Также и ст.-слав. **новыи домъ** впоследствии потеряло связь с первоначальным значением 'дом, который новый'.

Следует полагать, что некоторое время в качестве относительных местоимений в литовском языке употреблялись наряду с древним *jis* и получившие релятивное значение вопросительные местоимения. Такое предположение подтверждает фраза из Постиллы Моркунаса: *nusiunte tičiomis iop žmones kurius didžiausius ir mokiciausius, idant patis regimai prisiweidetu swentay deiwistey io* (стр. 11^в), в которой местоимение *kurius* (т. е. *kuriuos*) употребляется вместо *juos* как второй компонент местоименного прилагательного. Ср. еще: *iškirsk krūmus kuř didesniūs, kuř mažesniūs palik* (ib).

Из вышеуказанного следует, что в балтийских и в славянских языках определительное употребление индоевропейской местоименной основы **io-* получило дальнейшее развитие в одном направлении (в отличие от других индоевропейских языков). Однако слияние прилагательного с местоимением в одно слово в обеих группах языков осуществилось независимо и в разное время. В славянских языках, по-видимому, это произошло еще в общеславянскую эпоху¹⁷, а в балтийских языках, как было указано, уже после распада литовско-латышского единства.

Сравнивая формы местоименных прилагательных в балтийских языках с соответствующими формами славянских языков, можно установить, что процесс слияния прилагательного с местоимением в одно слово в обеих группах протекал сходно, но в различных условиях. В литовском языке местоимение присоединилось к прилагательному, имеющему местоименную флексию (точнее — флексию, образовавшуюся под влиянием указательных местоимений); например, дат. п. ед. ч. м. р. *baltájam* <*baltámjam* (*baltám* — 'белому' + *jám* — 'ему'), местн. п. ед. ч. м. р. *baltájame* <*baltám(e)jame* (*baltamē* — 'в белом' + *jamē* — 'в нем'), дат. п. мн. ч. м. р. *baltiesiems* <*baltiemsiems* (*baltiem*s — 'белым' + *jíems* — 'им') и т. п. В славянских языках местоимение присоединилось к прилагательному, сохранившему древнюю именную флексию; например, род. п. ед. ч. м. р. **новыи**, дат. п. ед. ч. м. р. **нову́кмоу**, местн. п. ед. ч. м. р. **новѣкмъ** и т. п.

Однако надо отметить, что в литовских письменных памятниках встречается одна форма, а именно форма дательного падежа единственного

¹⁷ См. В. Поржеинский. Сравнительная грамматика славянских языков. М., 1914, стр. 116.

числа мужского рода с именной флексией в первом, иногда также в обоих компонентах; например, *Artimoīui* (следует читать *Artimuoīui*) *sawam nedarik netiesos* (BrB III, Moz. XIX), *artimoīui* (BrB III Moz. V, XXV; V Moz. XXIII; BrP 302₆, BrP II 201₁₈, 246₁₁, 24, 249₁₂, 18–19, 21, 251₁, 22, 252₁₃, 253₁₁, 254_{19–20}, 288₁₅, 16, 20–21, 291_{24–25}, 294₂₀, 493₂₄), *Aukschsziausiuīam* (следует читать *aukščiausiuojam*) (BrB Sir. XXXIV₂₃ L₁₇), *branguīam* (см. BGLS 155), *nehadnoīam* (BrB Išm. XIII₁₈). Неодинаково графически выраженное окончание первого компонента *-io* в приведенных примерах является именным окончанием дательного падежа единственного числа; ср. диалектные формы *vīlkūo* — ‘волку’ (Гервяты, Островецкий р-н БССР), *vēlkou¹⁸* (Kretinga), *vēlkū* (Kuršenai). Форма дательного падежа единственного числа мужского рода с именной флексией в первом или обоих компонентах сохранилась и в современных диалектах; например, *baltuojām*, *didžiuojām*, *meilingūoju*, *sēnuoju* (см. LŽTP 40–41) *bāltojujou* (Salantai, Rietavas и др.), *bāltūjū* (Kuršenai). Ср. еще: *Vienam skjsav¹⁹ žaliu rutu*, о *antruojui meironeliu* (J. Pakalniškis. Klaipėdiškių dainos. Vilnius, 1908, стр. 65), *baltojui* (Klaipėda, см. грамматику Куршата, стр. 251), *Tiewu aukščiausioju* (Brom., 96₂₁), Там *paikojam* anod paliep išvirt gryb (Kintai, TD VII 83), *paikojo* (там же).

Дальнейшая судьба местоименных прилагательных в балтийских и в славянских языках также различна.

Балтийские языки до сих пор сохранили местоименные прилагательные как определенную грамматическую категорию наряду с простыми прилагательными, ср. лит. *baltasis arklýs* наряду с *báltas arklýs*, лтш. *baltais zirgs* наряду с *balts zirgs²⁰*, др.-прусск. *Dengennisis Taws* наряду с *Dangennis Taws²¹*.

Из славянских языков только сербский и словенский сохранили два склонения прилагательных: простое и местоименное. Однако в них в некоторой степени смешались местоименные прилагательные с простыми²². В некоторых славянских языках с течением времени сфера употребления местоименных прилагательных значительно расширилась. Аtributivные отношения начали выражаться только местоименными прилагательными. Простые прилагательные остались только как выразители предикативных отношений, иначе говоря, они в предложении начали выполнять функцию именного сказуемого. Ввиду того, что именное сказуемое согласуется с подлежащим, выраженным формой именительного падежа, другие формы простых прилагательных постепенно исчезли, сохранившись только в застывших оборотах и на-

¹⁸ Диалектные слова в данной статье передаются в современной орфографии литовского литературного языка, причем буквами *e*, *ø* обозначаются немного более широкие гласные, чем *é*, о литературном языке. Знаком *é* передаются более задние *é*, *e*, знаком *ə* гласный *a* с сильным оттенком гласного *ы*. Буквами *ö*, *ö* обозначены сильно редуцированные гласные в исходе слова (на слух почти невоспринимаемые). Виды диалектных интонаций гласных звуков (*tarmiç priegaidéš*) обозначаются знаками *'*, *'*, *^*, *~*, *s*, *z* над буквой. О характере данных интонаций см. G. Gerullis. Litauische Dialektstudien. Leipzig, 1930. В словах, имеющих не один ударяемый слог, обозначается только основное ударение.

¹⁹ Т. е. *skinsiva*.

²⁰ См. J. Endzelins. Latviešu valodas gramatika. Riga, 1951, стр. 595 (§ 461).

²¹ В памятниках древнепрусского языка встречается мало местоименных прилагательных, и они употребляются довольно непоследовательно. Это объясняется тем, что переводчик был под сильным влиянием немецкого текста и поэтому плохо отражал употребление местоименных прилагательных в разговорном древнепрусском языке. Ср. еще тот факт, что и в древних памятниках латышского языка, авторами которых тоже были немцы, также очень мало местоименных прилагательных, и они употребляются непоследовательно.

²² См. A. Leskien. Grammatik der serbo-kroatischen Sprache, T. I. Heidelberg, 1914, стр. 372–377.

рениях. Таким образом, местоименные прилагательные отошли от простых еще дальше, отличаясь от них не только по значению, но и по форме и синтаксическим функциям.

В языках восточных славян (в русском, белорусском и украинском) и в настоящее время еще различаются полные и краткие формы прилагательных. Первые, по происхождению местоименные, обычно употребляются для выражения атрибутивных отношений; вторые, представляющие собой по происхождению формы именительного падежа простых прилагательных, выражают предикативные отношения.

В языках западных славян полные формы (бывшие местоименные прилагательные) уже вытеснили краткие формы (бывшие простые прилагательные) также из сферы выражения предикативных отношений²³. Краткие формы, как уже ненужные, в этих языках обычно быстро исчезают.

С течением времени в славянских языках местоименные прилагательные изменились и по форме. В старославянском языке первоначальное образование местоименных прилагательных хотя и не было таким прозрачным, как в памятниках древнелитовского языка, но все же еще сравнительно ясно. Только некоторые падежи не сохранили окончания первого компонента; например, дат. п. мн. ч. *новыныч* (вм. *новолъ + имъ*, ср. др.-лит. *tikriēmusietus* DP 249₉), тв. пад. ед. ч. *новыныль* (вм. *новомъ + имъ*, ср. лит. диалектн. *baltýojo*) и др.

Впоследствии местоименные формы подверглись постепенному упрощению. Большое значение для этого процесса имело влияние указательных местоимений. Например, вместо формы родительного падежа древнерусского языка *добраего* (ср. *добра + его*), под влиянием местоимения *того* возникла новая форма *доброго*; вместо *добруему* под влиянием *тому* возникло *доброму* и т. д.

С течением времени формы сильно упростились, и местоименные прилагательные из сложных слов превратились в простые; первоначальное образование их совершенно забыто и не ощущается.

В балтийских языках местоименные прилагательные тоже претерпели некоторые изменения. В литовском и латышском языках исчезли формы среднего рода. Их исчезновение тесно связано с исчезновением существительных среднего рода. В памятниках древнепрусского языка имеются существительные среднего рода, поэтому в них находим и местоименные прилагательные среднего рода.

Как в славянских, так и в балтийских языках с течением времени формы местоименных прилагательных подверглись упрощению, сокращению. Особенно этот процесс затронул латышский язык. Так же как и в славянских языках, в латышском языке первоначальное образование местоименных прилагательных настолько стерлось, что в настоящее время это уже не сложные, а простые слова. Местоименные прилагательные отличаются от простых прилагательных тем, что имеют другие, обычно долгие окончания. Ср. местоименные формы *mazais*, *mazā*, *maziuo*, *mazie*, *mazuos*, *mazās* с соответствующими простыми формами *mazz*, *maza*, *mazu*, *mazi*, *mazus*, *mazas*. Только формы дательного и местного падежей отличаются еще и числом слов; например, ср. дат. п. ед. ч. *mazajat*, *mazajai*, дат. п. мн. ч. *mazajet*, *mazajāt*, местн. п. ед. ч. *mazajā*, местн. п. мн. ч. *mazajuos*, *mazajās* наряду с соответствующими формами простых прилагательных *mazam*, *mazai*, *maziem*, *mazām*, *mazā*, *mazuos*, *mazās*. В памятниках латышского языка и на-

²³ И в русском языке теперь уже часто предикативные отношения выражаются полными формами.

родных песнях в качестве архаизмов встречаются и некоторые другие долгие формы (т. е. формы с *-aj-*), в то время как в разговорном языке долгие формы дательного и местного падежей часто заменяются краткими²⁴.

Несравненно более ясный тип первоначального образования сохранили местоименные прилагательные литовского языка. Не только в памятниках, но и в современном литовском языке местоименные прилагательные представлены как ясные сложные слова²⁵. От других сложных слов они отличаются главным образом тем, что в них изменяются окончания обоих компонентов, бывших отдельных слов. Однако и местоименные прилагательные литовского языка с течением времени подверглись изменениям. Все те изменения, которые произошли после того, как местоимение присоединилось к прилагательному, иначе говоря, когда образовались местоименные прилагательные в собственном смысле, рассматриваются в следующих разделах статьи.

II. РАЗВИТИЕ МЕСТОИМЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ФОНЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЯЗЫКА

После того, как произошел процесс срастания прилагательного с местоимением в одно сложное слово, дальнейшее развитие местоименного прилагательного было тесно связано с изменениями в фонетической системе языка. Фонетические изменения по-разному отражались, с одной стороны, в формах простого прилагательного и местоимения *jis* и, с другой стороны, в формах местоименного прилагательного, так как изменилось фонетическое положение морфем в местоименном прилагательном. В местоименном прилагательном окончание самого прилагательного развивалось дальше не по фонетическим законам положения в конце слова, а по законам положения внутри слова (ср. *báltas* и *baltasis*). Окончание местоимения в дальнейшем изменялось не как ударяемое окончание односложного слова, а как безударное окончание многосложного слова (ср. *jis* и *baltasis*). Также первый звук местоимения (*j*) в местоименном прилагательном подчинялся впоследствии не фонетическим законам начала слова, а законам развития звуков внутри слова.

Важнейшими фонетическими процессами, которые влияли на развитие морфем местоименного прилагательного, в отличие от развития тех же морфем в составе простого прилагательного и местоимения *jis*, были следующие: исчезновение *j* после согласных, сокращение акутовых окончаний, переход тавтосиллабических звукосочетаний (смешанных дифтонгов) *a*, *e*, *i*, *u+p* в определенных условиях в долгие гласные *ā*, *ē*, *ī*, *ū*, явление гаплогогии, слияние неслогового *-i* в исходе форм прилагательного с первым звуком местоимения, т. е. с *j*, а также исчезновение некоторых других согласных в окончании прилагательного.

Рассмотрим указанные процессы.

1. Исчезновение *j* после согласных

Балтийские языки не сохранили древних сочетаний „согласный + *j*“ перед гласными переднего ряда, *j* здесь исчез, по-видимому, еще в обще-балтийскую эпоху.

²⁴ См. J. Endzelins. Latviešu valodas gramatika, § 321.

²⁵ Местоименные прилагательные считали сложными словами и первые грамматики литовского языка. Это видно из употребляемых ими терминов *adjectiva composita* (Т. Шульц), *zusammengesetzte Adjectiva* (Фр. Куршат), *dvigaliniai būdžodžiai* (*dvigalinej budžodjai*) (И. Юшка), *dvilipuotieji* (Явнис, П. Гражбилис, И. Габрис, даже И. Яблонский в грамматике 1901 г.) и др.

Перед гласными заднего ряда указанные сочетания звуков сохранялись дольше. Процесс их исчезновения происходит уже независимо в отдельных балтийских языках. Литовский язык сохранил сочетания „губной согласный + *j*“ (т. е. *pj*, *bj*, *tj*, *vj*) до современности. Например: *biaurūs* — ‘гадкий’, *biaurybė* — ‘гадость’, (*su*)*biuro* — ‘испортился’, *piáuti* — ‘резать’, *spiáuti* — ‘плонуть’ (произносятся: *bjaurūs*, *bjautybė*, (*su*)*bjuro*, *pjáuti*, *spjáuti*), восточнолитовские — *gulbju* (род. п. мн. ч.) — ‘лебедей’, *yr̄yc* — ‘рек’, *kárvoj* — ‘коров’, *kičvjo* (род. п. ед. ч.) — ‘топора’, *rat̄jaā* — ‘тише’ и др.²⁶ Сочетания „переднеязычный смычный + *j* (*tj*, *dj*)“ на стыке морфем превратились в аффрикаты *č*, *dž* в конце XIV или в начале XV в., насколько это можно определить из написаний литовских местных названий в русских и немецких хрониках²⁷. Остальные сочетания (*kj*, *lj*, *sj*, *žj*..., в том числе и *sj*), исчезли, по-видимому, еще раньше. На их месте остался только первый член — согласные; например, *kiaūlē* — ‘свинья’, *liáudis* — ‘народ’, *siaūras* — ‘узкий’, *šiáudas* — ‘солома’, *žiáunos* — ‘жабры’ (произносятся: *k'aūlē*, *l'áudis*, *s'aūras*, *š'áudas*, *ž'áunos*) < **kjaūlē*, **ljáudis*, **sjaūras*, **šjáudas*, **žjáunās*.

Все падежные формы местоимения *jīs*, кроме формы именительного падежа (современное *jīs* восходит к древнему *is*,ср. лат. *is*, готск. *is*) с глубокой древности имели в начале слова *j*,ср. формы род. п. *jōb*, *jōs*, *jāq*, дат. п. *jám*, *jái*, *jíems*, *jóms*, вин. п. *jī*, *jāq*, *júos*, *jás* и т. д. Некоторые же формы прилагательного в абсолютном конце слова издавна имели согласный *s*; например: им. п. ед. ч. *báltas* — ‘белый’, им. п. мн. ч. *báltos* — ‘белые’ (жен. р.), род. п. ед. ч. *baltōs* — ‘белой’, дат. п. мн. ч. *baltiēm(u)s*, *baltóm(u)s* — ‘белым’, вин. п. мн. ч. *báltus*, *báltas* — ‘белые’, твор. п. мн. ч. *baltaīs*, *baltomīs* — ‘белыми’.

После срастания прилагательного с местоимением, т. е. после образования одного сложного слова, конечный *s* прилагательного и начальный *j* местоимения образовывали сочетание *sj*;ср. им. п. мн. ч. *báltos + jōs*, дат. п. мн. ч. *baltiēms + jíems*, *baltoms + joms*, вин. п. мн. ч. *bált(u)os + juos*, *bálta(n)s + jás*, твор. п. мн. ч. *baltaīs + jaīs*, *baltomīs + jomīs*.

После перехода *sj* в мягкое *s* указанные формы местоименных прилагательных изменились: твердое *s* в окончании прилагательного превратилось в мягкое, а первый звук местоимения (*j*) исчез. Таким образом, падежные формы прилагательного и местоимения в составе местоименного прилагательного более тесно слились в одно целое и тем самым отдалились от соответствующих форм простого прилагательного и местоимения *jīs*, находящихся вне местоименного прилагательного. Ср. местоименные формы *báltosios*, *baltōsios*, *baltiēsiems*, *baltósioms*, *baltúosius*, *baltōsias*, *baltaīsais*, *baltōsiomis* (произносятся: *báltos'os*, *baltōs'os*, *baltiēsiems*, *baltós'oms*, *baltúos'us*, *baltás'as*, *baltaīs'ais*, *baltōs'omis*) с соответствующими формами отдельно существующих простого прилагательного и местоимения *jīs*: *báltos* и *jōs*, *baltōs* и *jōs*, *baltiēms* и *jíems*, *baltoms* и *jóms*, *báltus* и *juōs*, *báltas* и *jás*, *baltaīs* и *jaīs*, *baltomīs* и *jomīs*.

²⁶ Следует заметить, что сочетания *tj*, *vj*, а также *pj*, *bj* во всех позициях слова сохранили не только восточнолитовские диалекты, на что обычно указывается, но и некоторые диалекты западной Литвы; например, в окрестностях местечка Laukuva в жемайтском диалекте произносят: *jietjáu* — ‘я брал’, род. п. мн. ч. *aujāq* — ‘овец’, *bálbjc* — ‘картошек’, *slapjč* — ‘мокрых’ и т. п. Грамматика Д. Клейна свидетельствует о том, что в середине XVII в. указанные сочетания звуков имелись еще в западных аукштайтских говорах, в частности в говорах Прусской Литвы. Ср. замечание Д. Клейна: „*i illud post literas b, p, t, w fieri mobile, et ut jod efferri, ut: biaurus, q. bjaurus. Sic a lobis est lobio, q. lobjo, piauji, q. pjauji, a gimis gitio q. gitjo, a liešiuvis liešiūvio q. liešiušjo*“ („Grammatica Lituanica“, 14).

²⁷ Ср. А. Salys. APh, Bd. IV, стр. 23—24.

Сочетание *sj* позже появилось также в некоторых формах местных падежей после отпадения постпозитивной частицы из окончания первого компонента; ср. формы множественного числа инессива *baltūōs+juose*, *baltōs+jose*, иллатива *baltūos+juosna*, *baltōs+josna*, адессива *baltūōs+juosempī*, *baltōs+josempī*. В указанных формах также вместо *sj* появилось мягкое *s*; например, *baltūōsiuose*, *baltōsiose*, *baltūosiuosna*, *baltōsiosna*, *baltūōsiuosemp*, *baltōsiosemp* (произносятся: *baltūōs'uose*, *baltōs'ose* и т. п.).

Однако самостоятельное употребление форм местоимения *jīs* наряду с местоименными прилагательными препятствовало осуществлению фонетического закона перехода *sj* в *ś* в системе местоименного прилагательного. Благодаря этому до сих пор сохранились в диалектах архаические формы с указанным звукосочетанием. Так, в окрестностях местечка Linkmenys употребляются формы им. п. ед. ч. *báltosjos* — 'белые' (жен. р.), род. п. ед. ч. *baltōsjos* — 'белой', вин. п. мн. ч. *baltōsjas* (вместо литературной формы *baltásias*) — 'белых' (жен. р.), тв. п. мн. ч. *baltaīsjaīs* — 'белыми' (муж. р.). Наряду с этими употребляются в данном говоре и формы без *j*: *báltos'os*, *baltōs'os*, *baltaīs'as*, *baltaīs'ais*.

2. Сокращение акутовых окончаний

Долгие корни в литовском языке могут быть акутовыми или циркумфлексными; например, *véjas* — 'ветер', *výras* — 'мужчина', *brólis* — 'брать', *dámas* — 'дым'; но: *sýkis* — 'раз', *žödis* — 'слово', *smágis* — 'удар'. Однако долгие окончания в современном языке являются только циркумфлексными; например, им. п. ед. ч. *esq̄s* — 'присущий', им. п. мн. ч. *vaikai* — 'дети'; род. п. ед. ч. *šakōs* — 'ветви', *katēs* — 'кошки', *akiēs* — 'глаза', *sūnaīs* — 'сына', род. п. мн. ч. *vaikū* — 'детей', *riemetū* — 'пастухов'; вин. п. ед. ч. *tā* — 'этот', *jī* — 'его'; твор. п. мн. ч. *vaikaīs* — 'детьми' и т. д.

Древние акутовые окончания в современном литовском языке не сохранились²⁸. В двусложных и многосложных словах они сократились, а в односложных стали циркумфлексными; например, вместо формы 1-го лица ед. ч. **nešúo* (ср. гр. φέρω, лат. ferō, готск. *baíra* и др.) в современном языке имеется форма *nešū* — 'я несу', а древнюю форму твор. п. ед. ч. **túo* (=лтш. *tuō*) заменила современная форма *tuō* — 'этим'²⁹.

Акутовые окончания сохранились только в неабсолютном конце слова, точнее, только в том случае, если к ним в древности присоединилась какая-либо частица, например в формах возвратных глаголов *nešúosi* — 'несусь', *nešíesi* — 'несьешься', *nēšamēs* — 'несемся', *nēšatēs* — 'несетесь', *nēšavos* — 'мы несемся (вдвоем)', *nēšatos* — 'вы несетесь (вдвоем)' <**nešúo+si*, **nešíe+si*, **nēšamē+si*, **nēšatē+si*, **nēšavā+si*, **nēšatā+si*

Акутовые окончания сохранились и в первом компоненте местоименных прилагательных, например:

а) им. п. ед. ч. ж. р. + *gerójī* — 'хорошая' <**gerá+jī*; диалектн. *grázjī* — 'красивая' (*Tverečius*) <**gražī+jī*;

²⁸ Современное акутовое окончание дательного падежа множественного числа, например, *šakóms* — 'ветвям', *katéms* — 'кошкам', является вторичным по происхождению, ср. *brolemus* — 'братьям' (PK 235₂), *Piemenimus* — 'пастухам' (DP 249₀) и др.

²⁹ В некоторых односложных словах акут не стал циркумфлексом, а сократился; например, им. п. ед. ч. *jī* — 'она', *šl* — 'эта', *tā* — 'та'; твор. п. ед. ч. *jā* — 'ней', *šiā* — 'это', *tā* — 'той'; вин. п. мн. ч. *jās* — 'их' (ж. р.), *šiās* — 'эти' (ж. р.), *tās* — 'те' (ж. р.); числительные *dū* — 'два', *dvi* — 'две', формы 3-го лица будущего времени *džiūs* — 'высохнет', *lis* — 'полывет', *pās* — 'будет дуть'. О причинах этого сокращения см. I. Endzelins. *Baltu valodu skačas un formas*. Rīgā, 1948, стр. 24 (§ 22).

- б) им. п. мн. ч. м. р. *geriéji* — ‘хорошие’ < **gerié + jíe*;
 в) им. и вин. п. дв. ч. м. р. *gerúoju* — ‘(два) хорошие’ < **gerúo + júo*, ж. р. *geríejí* — ‘(две) хорошие’ < **gerié + jíe*;
 г) вин. п. мн. ч. м. р. *gerúosius* — ‘хорошие’ < **gerúos + júos*, ж. р. *gerájsias* — ‘хорошие’ < **geráns + jás*;
 д) твор. п. ед. ч. м. р. *gerúoju* — ‘хорошим’ < **gerúo + júo*; ж. р. *gerája* — ‘хорошей’ < **gerán + jáñ*;

е) местн. п. ед. ч. м. р. жемайтское *geraméje* — ‘в хорошем’ < **geramén + jamén*; ж. р. *tikroieioie* — ‘в действительной’ (DP 417_{34–35}) < **tikrājén + jažén*; мн. ч. м. р. *senuoſeiouſe* — ‘в старых’ (DP 551_{10–11}) < **senuoſén + juoſén*; ж. р. **senoſejoſe* — ‘в старых’ < **senasén + jaſén*³⁰.

В результате сокращения акутовых окончаний³¹ указанные падежные формы простого прилагательного и местоимения *jís* развились иначе, чем те же самые падежные формы в местоименном прилагательном, ср. *gerà + jí*, но *geróji*; *gerù + juō*, но *gerúoju*; *gerùs + juōs*, но *gerúosius* и т. д.

Однако в окрестностях местечка Tverečius в качестве местоименных прилагательных употребляются формы как будто простого прилагательного с долгими акутовыми окончаниями; например:

а) им. п. ед. ч. ж. р. *geró vištà* (литер. *geróji vištà*) — ‘хорошая курица’, *platý gijà* — букв.: ‘широкая нить’, *didé girià* — ‘большой лес’, *vyrēnē duktērēcia* — ‘старшая двоюродная сестра’ и т. п.

б) им. п. мн. ч. м. р. *gerié arkliái* (литер. *geriéji arkliái*) — ‘хорошие лошади’, *platíe keliai* — ‘широкие дороги’ и т. п.

в) твор. п. ед. ч. м. р. *gerúo árkliu* (литер. *gerúoju árkliu*) ‘хорошей лошадью’, *platío keliū* — ‘широкой дорогой’ и т. п.³²

Если указанные формы не развились из соответствующих местоименных форм путем отпадения второго компонента, ср. *geró* из *geróji*, *platý* из *platýji* и т. д., то они могут рассматриваться как формы с сохраненным акутовым окончанием благодаря приобретению ими значения местоименных форм, так как данные формы являются более долгими по сравнению с простыми³³.

Самостоятельное употребление форм местоимения *jís* наряду с местоименными прилагательными препятствовало осуществлению фонетического закона сокращения древних акутовых окончаний во втором компоненте местоименного прилагательного. Так, в древнелитовских памятниках мы

³⁰ Следует полагать, что в древности долгий акутовый гласный имелся также в окончании твор. п. мн. ч. ж. р. *-mis* (например, *geromis* — ‘хорошими’), ср. ст.-слав. *жжками*, ст.-слав. и в литовском языке соответствует долгое *í* или дифтонги *ie*, *ei*. Любопытно, что во всех трех имеющихся примерах соответствующей местоименной формы в Постиале Даукши гласный *í* в окончании самого прилагательного обозначается знаком *i* или *j*; ср., например, *pírmomísiomis* = ‘с первыми’ (DP 188₄₂), *senomíssiomis* — ‘с старыми’ (DP 443₁₄), *tikromísiomis* (DP 249_{7–8}). По-видимому, в XVI в. еще сохранилась акутовая долгота гласного данного окончания в неабсолютном конце слова.

³¹ По мнению проф. К. Буги, сокращение акутовых окончаний произошло приблизительно в XIII в., см. К. Būga. Lietuviai kalbos žodynas. I sas. Kaunas, 1924, стр. XXXIII–XXXIV.

³² Вследствие фонетических особенностей диалекта формы *gero*, *platý*, *didé*, *platíe* произносятся: *gerá*, *placý*, *dzidé*, *placie*.

³³ Соответствующие формы местоимения с долгими акутовыми окончаниями в современных диалектах употребляются довольно широко; например им. п. ед. ч. ж. р. *anó* — ‘эта’ (Linkmenys, Antašava), *kataró* — ‘которая’ (Rimšè), *katró* — ‘которая’ (Linkmenys), *kurý* — ‘которая’ (Rudamina), *šiô* — ‘эта’ (Rimšè, Linkmenys), *šító* — ‘эта’ (Linkmenys, Rimšè, Pasvalys), *tó* — ‘эта’ (Tverečius, Rimšè, Linkmenys, Gervėčiai, Antašava, Pasvalys); им. п. мн. ч. м. р. *tle* (= *clé*; Tverečius), *anlé*, *katrle*, *jíle*, *síle* (Jurbarkas); вин. п. мн. ч. м. р. *anúos*, *júos*, *šiúos*, *túos* (Vilkaviškis; LZTP 43), ж. р. *jás*, *tás* (Vilkaviškis), *jós*, *tós*, *šiós* (Tverečius, Rimšè, Linkmenys); твор. п. ед. ч. м. р. *anúo*, *júo*, *katrúo*, *šiúo*, *túo* (Vilkaviškis, Jurbarkas) и др.

находим местоименные прилагательные, у которых во втором компоненте сохранились долгие акутовые окончания; например, *ateisētie* daiktai (DP 526₂₉), *baisusghie*... *klaiojmai* (MT[PM] 35a₃), *ischkušghie* pawaisdai (MT 214a₆), *paklidētie*... *žmones* (DP 128₂₉), *paikieghe* (BrP 404₇), *paskutineie* (DP 93₁₅), *prakieyktieje* (Brom. 48₇), *Stangusghie* weidmainei (MT 211₁₂), *sudraqskajie* wilkai (NT 9₂₁), *teisusie* wirai (DP 602₃₇), *tigjiie* *žmones* (DP 391₂₇), *schwentū-yū* (VE 67₁₁).

Местоименные формы с сохраненными долгими акутовыми окончаниями местоимения *jīs* типа *geriéjie* — 'хорошие', *gerúosiuos* — 'хороших' (вин. п. мн. ч. м. р.), *geríoujo* — 'хорошим' широко употребляются и в современных диалектах. В западной Литве они употребляются в некоторых диалектах западноаукштайтского наречия, особенно в южных, приближительно до Jurbarkas и еще несколько дальше на север; например: *jū didiéjie* vaikai išdykesni už *mažúosiuos*; *gerúosiuos* obuolius sudék atskirai; *naje* (=nuéjo) i turqū su *naujúojo* vatiniu (Jurbarkas).

В восточной Литве данные формы широко употребляются в окрестностях Svēdasai, Kupiškis, Skapiškis, Adomynė, Pandėlys, Palevenė, Antašava, Karsakiškis, даже Biržai. Однако вследствие перехода неударяемых дифтонгов *ie*, *uo* в полудолгие монофтонги *e*, *a* (в западных говорах в *ē*, *ō*) в указанных диалектах окончания второго компонента местоименного прилагательного *-ie*, *-uos*, *-uo* превратились в полудолгие *-e*, *-as*, *-a* (или *-ē*, *-os*, *-ō*); например:

а) šimet *gražūs baltiéje* *dobile* (=dobilai) (Karsakiškis), *baltiéje* *miltē* (=miltai) *raik'* pačedit' (Biržai), ar *ti* (=ten) *auga rudiéje* *vikai?* (Skapiškis);

б) *piktúosios* šunis *raikia* *rištē* (Skapiškis), *'senúosios* namus *nugriove* (Karsakiškis);

в) su mano *širmúojo* toli nenuvažiuosi (Skapiškis), *apsivilk naujúojo* *paletu* (Karsakiškis), *baltúoja*³⁴ kuinu važiuok (Svēdasai).

О популярности форм типа *geriéjie*, *gerúosiuos*, *geríoujo* в современных диалектах говорит тот факт, что И. Яблонский в первой нормативной грамматике литовского языка (1901) эти формы рассматривал как норму литературного языка.

3. Исчезновение *n* в тавтосиллабических сочетаниях *a*, *e*, *i*, *u+p*

Как известно, балтийские тавтосиллабические сочетания (так называемые смешанные дифтонги) *a*, *e*, *i*, *u+p* в литовском литературном языке сохранились только в положении перед смычными согласными, в остальных же положениях они с течением времени превратились в долгие гласные, причем последние в акутовых окончаниях подверглись сокращению. Этот процесс одинаково отражался, с одной стороны, в морфемах простого прилагательного и местоимения *jīs*, с другой стороны, в тех же самых морфемах местоименного прилагательного; ср. местоименные формы *gērqjī*, *gērqjq*, *ger̄jū* (<*gerānjin*, *gerānjan*, *gerūñjun*) с соответствующими формами простого прилагательного *gērq*, *gērq*, *gēr̄q* и местоимения *jī*, *jq*, *j̄q*. Только древние акутовые окончания, благодаря неодинаковому их развитию, дали различные рефлексы в системе простых и местоименных прилагательных, ср. местоименные формы *ger̄sias*, *ger̄ja* (<*geránsias*, **geránjan*) и соответствующие формы простого прилагательного *gēras*, *ger̄a*.

³⁴ В Svēdasai имеется и форма *baltāja* (т. е. *baltāuo*).

Так обстоит дело в литературном языке. В южных же жемайтских говорах данные сочетания сохранились лучше: они здесь встречаются почти во всех случаях внутри слова, а часто даже в ударяемых окончаниях. Благодаря этому их развитие не было одинаковым в окончаниях простого и местоименного прилагательного. Ср. южножемайтские местоименные формы вин. п. ед. ч. м. р. *gēranjī*, ж. р. *gēranja*, мн. ч. м. р. *gerúnsius*, ж. р. *geránsias* с соответствующими формами простого прилагательного *gēra*, *gēra*, *gerūs*, *gerās*. Приведем несколько конкретных примеров с южножемайтскими местоименными формами указанного типа:

а) род. п. мн. ч. *raudūonunju* (Endriejavas)³⁵;

б) вин. п. ед. ч. *žālenje* šakele nulauži viejelis (Tauragė), māžonjė (м. р. и ж. р.) *vesę* stumda (Laukuva), apserešau *geltūononjē* skepetoka (Laukuva); plg. *báltaini*, -e (PT 51);

в вин. п. мн. ч. Vincas usidieje *geránses* kelnes (Tauragė), *baltónsius* (= *baltuosius*) (Šaukėnai, Luokė), *baltünsius* (= *baltuosius*) (Kvėdarna, Svēksna, Endriejavas)³⁶;

г) твор. п. ед. ч. ж. р. *muotyna* *apsigaubi* *šiltánje* skara (Tauragė), ср. *baltáine* или *báltaine* (= *baltaja*) (Pagramantis, см, PT 51—52);

д) местн. п. ед. ч. м. р. *dēdemēnje* krestie kiaulēnės bol'bas sodieitas (Laukuva), kiaulio juovals *kiaurámēije* viedre (Laukuva), ср. *baltáine*, -nie; *baltaméine*, -nie (PT 51—52).

Ср. еще местоименные формы в календарях Ивинского: род. п. мн. ч. *tolimunju* (1846, стр. 5), вин. п. ед. ч. *pirmanje* karta (1846, 5), вин. п. мн. ч. *garsesniunsius* (1847, 1), *malžamanses* (1846, 19), твор. п. ед. ч. *su pritajsitanje* warszke (1847, 32), местн. п. ед. ч. *senamenje* Istatime (1851, 27).

Следует отметить, что исчезновение тавтосиллабического *p* началось еще в глубокой древности и произошло неодновременно в отдельных флексиях как простых, так и местоименных прилагательных. Так, современный фонетический облик флексии показывает, что *p* очень давно исчез из окончания первого компонента местоименной формы вин. п. мн. ч. м. р. *gerúosius* и что несомненно позже это произошло в соответствующей жемайтской форме *gerūsius*, *p* которой некоторые южные жемайтские говоры, как было показано, сохраняют и сейчас. То же следует сказать и о соответствующей форме женского рода, ср. литературную форму *gerósias* (<*geránsias*) и диалектн. *gerósias* (<*gerásias*).

Последняя форма в настоящее время употребляется не только во многих говорах восточной Литвы (Adučiškis, Tverečius, Linkmenys, Ignalina, Dukštas, Daugailiai, Švenčionéliai, Valkininkai, Daugéliškis, Léliūnai, Svēdasai, Dusetos, Vyžuonos, Kazliškis, Alunta, Debeikiai, Anykščiai, Skapiškis, Kupiškis, Rokiškis, Pandėlys, Karsakiškis), но также и в некоторых жемайтских говорах, например в окрестностях населенных пунктов Rietavas, Endriejavas, Kretinga, Mosėdis, Mažeikiai.

Приведем несколько примеров с данной формой: *nusprausk baltósias runkelas* (Alunta), *aš turiu skrynelas*, *aš turiu margosias* (Valkininkai, TD IV 46 Nr. 119), *naujásias virves sutraukiau* (Svēdasai), *kur pilc dzidzióses bulves?* (Rudamina), *vesas baltūosės vėstas vanags ešgaude!* (Salantai), *mazūosės mergekės apneka šonės* (Rietavas), *ā* (=ar) *vesas vėrtūosės bolves išbiere?* (Mosėdis), *tievā, isédiek elgūosės gardes!* (Rietavas).

Примеры из древнелитовских памятников: по wissas schalis *artimosias* (VEE 121₂₃), ape...wotis *biauroses* (Mž. 425₁₅), *paiunktoses* Litu-

³⁵ См. Э. Вольтер. Литовская хрестоматия. СПб., 1904, стр. 321.

³⁶ Там же, стр. 319 и 321.

wiskas giesmes (Mž. 501₁₃), uszu *pirmoses* (Mž. 439₁₅), Ischtieses *schwentes rankas* (Mž. 451₁₅).

В письменных памятниках засвидетельствована форма родительного падежа множественного числа типа *geruojū* — 'хороших' (< **geruon* + *jūn*,ср. лтш. *baltuo* — 'белых'), в которой *n* окончания первого компонента исчез также в глубочайшей древности, например: *amszino iu* *amsziu* (Mž. 79₂₀), *ant...* *amziu amzinoiu* (Mž. 67₂₄), *amziu amszinoju* (VP 131), *ant sawa miloiu sunu* (Mž. 62₁₄), *isch nomirusioiu* (Mž. 22₁₂), *papeiktojiu* (Mž. 401₁), *isch schwentoij szodziu* (VP 131), *teisñiu* (MT 6a₅), *wiriausiñiu* *daliu* (МТ, титульный лист).

В современных диалектах данная форма нами не найдена.

4. Явление гаплологии

В парадигмах простых прилагательных литовского языка падежи выражены формами, состоящими из неодинакового числа слогов. Примером могут служить парадигмы прилагательного *báltas*, *baltà* — 'белый', 'белая'.

Мужской род	Женский род.
-------------	--------------

Единственное число

Им.	<i>bál-tas</i>	<i>bal-tà</i>
Род.	<i>bál-to</i>	<i>bal-tōs</i>
Дат.	<i>bol-tā-mui</i> ³⁷	<i>bál-tai</i>
Вин.	<i>bál-tq</i>	<i>bál-tq</i>
Твор.	<i>bál-tu</i>	<i>bál-ta</i>
Местн.	<i>bal-ta-mè</i>	<i>bal-to-jè</i>

Множественное число

Им.	<i>bal-ti</i>	<i>bál-tos</i>
Род.	<i>bal-tq</i>	<i>bal-tq</i>
Дат.	<i>bal-tie-mus</i> ³⁷	<i>bal-tó-mus</i> ³⁷
Вин.	<i>bál-tus</i>	<i>bál-tas</i>
Твор.	<i>bal-taīs</i>	<i>bal-to-miś</i>
Местн.	<i>bal-tuo-sè</i>	<i>bal-to-sè</i>

В парадигмах преобладают двусложные формы. Однако в некоторых падежах, а именно в местном единственного и множественного числа мужского и женского рода, в дательном множественного числа мужского и женского рода, в дательном единственного числа мужского рода и в творительном множественного числа женского рода наличествуют трехсложные формы. Происхождение трехсложных форм в указанных парадигмах — результат длительного исторического развития³⁸.

³⁷ Формы древних памятников.

³⁸ Некоторые долгие формы унаследованы из древнейших времен, например, *baltótus* (ср. ст.-слав. *ржамъ* наряду с *ржка*), *baltomís* (ср. ст.-слав. *ржками*). Наличие одной трехсложной формы (местн. п. ед. ч. м. р.) объясняется проникновением местоименной флексии в парадигму прилагательного, например, *baltamè* (ср. *tamè*). Остальные же трехсложные формы (все формы местн. п.) развились из постпозитивных конструкций, например, в форме *baltuosè* постпозитивное **-en* слилось с древней формой винительного **baltios* (ср. *baltósius*). То же **-en* в форме *baltojè* слилось с древней формой местного падежа **baltai* (ср. лат. *Romaē* — 'в Риме', греч. диалектн. 'Олимпіαι' — 'в Олимпии', ст.-слав. *ржкъ* и т. д. См. J. Endzelins. *Baltu valodu skaņas un formas*. Rīgā, 1948, § 190 и § 208).

Неодинаковым числом слогов в падежных формах особенно отличались парадигмы местоименных прилагательных. В них местоимение *jis*, слившееся с прилагательным, превратило двусложные формы в трехсложные, а трехсложные — в пятисложные, например:

Мужской род	Женский род
Единственное число	
Им. <i>bal-tà-sis</i>	<i>bal-tó-ji</i>
Род. <i>bál-to-jo</i>	<i>bal-tô-sios</i>
Дат. <i>*bal-tâ-mu(i)-ja-mui</i>	<i>bál-ta(i)-jai</i>
Вин. <i>bál-tq-j̄i</i>	<i>bál-tq-jq</i>
Твор. <i>bal-túo-ju</i>	<i>bal-tája</i>
Местн. <i>bal-ta-mé-ja-me</i>	<i>bal-to-jé-jo-je</i>
Множественное число	
Им. <i>bal-tié-ji</i>	<i>bál-to-sios</i>
Род. <i>bal-tq-j̄u</i>	<i>bal-tq-jq</i>
Дат. <i>bal-tie-mus-jie-mus</i>	<i>bal-tó-mus-jo-mus</i>
Вин. <i>bal-túo-sius</i>	<i>bal-tq-sias</i>
Твор. <i>bal-taī-siais</i>	<i>bal-to-mís-jo-mis</i>
Мест. <i>bal-tuo-sé-juo-se</i>	<i>bal-to-sé-jo-se</i>

Такие многосложные формы еще имеются в древнейших письменных памятниках литовского языка. Примеры творительного и местного падежей типа *baltomísiomis*, *baltaméjame*, *baltojéjoje*, *baluoséjuose* уже были приведены (см. стр. 50—51). Многосложная форма дательного падежа единственного числа типа **baltamu(i)jatui* нами в памятниках не найдена. Обнаружена только форма с более кратким окончанием второго компонента, например: *amzinatuiam* Karalui (BrP 353₆), *Antramuiam* pulkui (BrP 300₅), *apschwiestamuiem* kunui (VEE 133₁₈), *ką auksczaussemuiem* apsižadeiei ataduok (MT 197a₄), *durnamuiem* wirui (BrP 248₉), *Geramuiem* kosnadieuiok (BrP II 169₁₃), *duost litaus geramuiem ir negeramuiem* (BrP II 253_{22—23}), *buk malonus man grieschnamuiem* (BrP II 303_{18—19}, 362₁₀, 363₁₅), *grieschnamuiem szmogui* (BrP II 49₂₁, 381₇), *ghrieschnamuiem... atleidimas... apžadetas jra* (VE 71₈), *iaunamuiem* Tobiaschui (BrP II 432₅), *affiera... imanczemuiem* naudinga (MT[PM] la₁₉), *Kaip luoschamuiem szokinaghimas, schitaipo pristojo (tinka) paikamuiem ape Ischminti Kalbeti* (BrB Kal. Sal. XXVI_{15—16}), *pažeistamuiem tur ganpadariti* (MT 146_{14—15}), *asch tadda piktamuiem sakau* (BrP II 83₇), *prastamuiem* (BrP 35₂₄), *Schwentamuiem* Jobui (BrP 294_{18—19}), *tikramuiem moxli* (MT 211₁₄), *tikramuiem ir amszinamuiem* Jauničkui (BrP 303₁₈), *Treczamuiem* pulkui (BrP 299_{22—23}), *biloia stabu uszmuschtamuiem* (BrP II 452_{1—2, 12})³⁹.

Форма дательного падежа множественного числа с полными окончаниями обоих компонентов в памятниках встречается часто, например:

a) *wissiemus iż tiesos gailintiemusiemus* (DP 268₃₇), *duonos ir wîno ąnt' walximo ir gerimo isztikimiemusiemus* paliko (DP 267_{36—37}), *idant ney wasarump neprieiemusiemus*, *nei wel łabay seniemus Małzenstwa ne butu duota* (PK 228₁₈), *régime, kayp didżey padūtiemusiemus* piktı wieszpates

³⁹ В древних памятниках также встречаются формы, у которых сохранился дифтонг *io* в окончании первого компонента (ср. индоевропейское окончание дат. ед. ч. *-bi -ioi*), например *giwatüyem* (VEE 60₇), *tynklui j̄mestamüiem* mariosna (VEE 195₄), *mielamüiem* Tewui (MT[PM] 11a₂₂), *pirmamüiem* (VEE 220_{2—3}), *pirmamüiem žmogui* (MT XV₁₃), *reikentemüiem* (VEE 125₂₅), *schwenczaussemüiem* kunui (MT 158_{20—21}), *uszmuschtamüiem* (VEE 126_{6—7, 16}), *wirausemüiem* (VE 41₂₃, VEE 74₂₀).

arba *wiresnicii žalas dāro* (DP 60₂₃), Ir tare tēnai *stowintiemusiemus* (DP 381₂₃), *tikriēmusiemus* ... Piemenimus (DP 249₉), Dawe tad' *weizdintiemusiemus* supratima (DP 590₁₈); *sziltōmusiomus* szalimus (DP 138_{50–51}).

В современном языке такие многосложные местоименные формы, т. е. формы с полными окончаниями обоих компонентов, уже не встречаются. Они исчезли по двум причинам. Во-первых, они резко отличались количеством слогов от большинства кратких форм других падежей той же парадигмы, во-вторых, их повторяющиеся слоги⁴⁰ синкопировались: выпали слогообразующие гласные.

Анализ данных письменных памятников показывает, что сокращение полных форм отдельных падежей осуществилось не одновременно:

1. Наиболее интенсивно сокращались формы дательного падежа, более медленно — формы творительного и местного падежей. Так, в современном языке уже не встречаются формы дательного падежа с сохранившимися гласными хотя бы в одном компоненте, в то время как формы творительного и местного падежей с сохранившимися гласными во втором компоненте (например, *baltōsiomis*, *baltājame*, *baltōjoje*, *baltuōsirose*, *baltōsiose*) употребляются не только в литературном языке, но и во многих диалектах.

2. В формах дательного падежа гласный раньше выпал из второго компонента, позже — из первого. Так, в древнейших памятниках нами не найдена форма единственного числа с сохранившимся полным вторым компонентом. Также наряду с формами множественного числа типа *baltiemusiemus*, *baltomusiomus* уже часто в древнейших памятниках встречается форма с выпавшим гласным из второго компонента, например:

a) *pakūta darantiemusiemus* gan butu galessia (MT 148₁₈), *geriemusiemus* (VEE 177_{12–13}), *giwietiemusiemus* (MT[PM] 33₁₄), *ischrinktiemusiemus* (MT 133a₁₄), *mažiemusiemus* geidullams (MT 90_{18–19}), *pirmietiemusiemus* gimditioems (MT XXIII₁₆), *pirmietiemusiemus* žodzems (MT 151a₁₅), *priskirtiemusiemus* (MT II₁), *puikiemusiemus* (VE 44₃), *Jaunieghi padūti buket seniemusiemus* (VE 44₁), *Siustiemusiemus* (VE 42₁), *wiernietiemusiemus* (MT XIII_{12–13}), *wiresniemusiemus* (VEE 206_{18–19}), *wiriausiemusiemus* kunigams (VEE 206₁₈);

б) *biednotiemusiomus* sažinems (MT 132a₁₈, 140_{16–17}).

В парадигмах грамматик XVII—XVIII вв. уже часто даются формы без гласного в обоих компонентах (*baltamjam*, *baltiemsiems*, *baltomsioms*). В текстах XVIII в. формы указанного типа являются господствующими, а в памятниках XIX в., так же как и в современном языке, — единственными.

Формы дательного падежа, в которых выпал бы гласный из второго компонента и сохранился бы в первом (наподобие **baltamjamui*, **baltiemsiemus*, **baltomsiomus*), в литовском языке отсутствуют.

3. В формах творительного и местного падежей гласный раньше выпал из первого компонента, а во втором — сохранился до современности. Однако здесь нет такой четкой последовательности, какая обнаруживается при рассмотрении процесса сокращения форм дательного падежа. Так, в древнейших памятниках

⁴⁰ Ср. *bal-ta-mui-ja-mui*
bal-tie-mus-jie-mus
bal-to-mus-jo-mus
bal-to-mis-jo-mis
bal-ta-me-ja-me
bal-to-je-jo-je
bal-tuo-se-juo-se
bal-to-se-jo-se

встречается форма местного падежа, у которой выпал гласный из первого, но сохранился во втором компоненте; например, в Постилле Даукши: *dideisioi*⁴¹, *petniczioi* (131₃₃), *wienoie' szwentoieioi* (245_{30–31}), *bażnjezioi szwentoieioi* (457₃₇), *tikroięcioi* (375_{35–36}). В данном случае -е абсолютного окончания отпал по образцу формы простого прилагательного, так как в Постилле Даукши наряду с *baltoje* употребляется и *baltoj* (около 35% всех примеров).

В памятниках встречается также форма местного падежа единственного числа мужского рода с сохраненным гласным первого компонента, но сильно искаженным вторым компонентом, например *amszinateie abeiojmę* (MT 10a₈, 88a₁₀), *Didżameie pawarge* (KG 22₁₉), *scheme nelaimingameie czese* (MT 31a_{7–8}), *administrawoghime mestischkamea* (MT 219a₁), *Numiletameie* (MT 166a₄), *prijmtomeie kune* (MT 28a₂₀), *Throne... wlosnameie* (MT 30a₁). Данная форма сохранилась до сих пор в современных жемайтских и некоторых соседних северных западно-аукштайтских говорах; например, *baltaménje*, *baltaméinie*, *baltaménjie* (Pagramantis), *baltaménje* (Laukuva), *baltaméje* (Endriejavas, Salantai), *baltamēj* (Kretinga), *baltamēji*, *baltamējie*, *baltamējiem* (Mosèdis), *baltamēje* (Šakyna). Ср. еще примеры из Даукантаса „DARBAY SENUU LITUWIU YR ZEMAYCZIU“: *pyrtamenju* (amžiuje 11), *Ketwirtamenje* (amžiuje 12), *Penktamuj* (amžiuje 22)⁴².

В парадигмах грамматик XVII—XVIII вв. уже часто встречаем формы творительного и местного падежей, в которых выпал гласный из первого компонента, но сохранился во втором; например:

- а) *geromsomis* (Klein Compendium 27, Haack 269, Ruhig 48, Ostermeyer 38), *mielomsomis* (Klein gr. 49);
- б) *Geramjame* (Klein Compendium 20, Haack 269, Ruhig 47, Ostermeyer 38), *mielamjame* (Klein gr. 35);
- в) *Gerojoje* (Klein Compendium 27, Haack 268, Ruhig 47, Ostermeyer 38), *mielojoje* (Klein gr. 49);
- г) *Gerūsūse* (Klein Compendium 21, Haack 269, Ruhig 48, Ostermeyer 38), *mielūsūse* (Klein gr. 35);
- д) *Gerososa* (Klein Compendium 27, Haack 269, Ruhig 48, Ostermeyer 38), *mielososa* (Klein gr. 49).

В некоторых диалектах, особенно западной Литвы, в настоящее время уже употребляются формы творительного и местного падежей с выпавшими гласными обоих компонентов; например, *baltōsioms* (= *baltōsiomis*), *baltājam* (= *baltājame*), *baltōjoj* и *baltōjo* (= *baltōjoje*), *baltuōsiuos* (= *baltuōsiouse*), *baltōsios* (= *baltōsiose*).

Анализ данных письменных памятников и современных диалектов свидетельствует о том, что в тесной связи с исчезновением полных местоименных форм исчезали также долгие формы простых прилагательных. Так, долгие формы дательного падежа *baltamui*, *baltiemus*, *baltonius* в современном языке уже не встречаются, так же как и полные формы местоименных прилагательных **baltamijatui*, *baltiemusiemus*, *baltomiusiomus*. Долгие формы творительного и местного падежей *baltonis*, *baltamē*, *baltojē*, *baltose*, *baltośe* в настоящее время широко употребляются, так же как и соответствующие формы местоименных прилагательных с сохраненным гласным второго компонента; например, *baltōsiomis*, *baltājame*, *baltōjoje*, *baltuōsiouse*, *baltōsiose*. В диалектах часто встречаются краткие формы творительного и местного падежей: *baltōms*, *baltaṁ*, *baltōj* (*baltō*), *baltuōs*, *baltōs*, так же как и место-

⁴¹ Т. е. *dideieioi'*.

⁴² Об условиях возникновения данной формы см. К. Явиц. Грамматика литовского языка. Пг., 1916, стр. 149, и BGLS, стр. 133.

именные формы с выпавшими гласными из обоих компонентов, например *baltōsioms*, *baltājam*, *baltōjoj* (*baltōjo*), *baltūsiuos*, *baltōsios*.

В памятниках, в которых лучше сохранились полные местоименные формы какого-либо падежа, как правило лучше сохраняются и долгие формы простых прилагательных. Так, в Постилле Даукши не засвидетельствована местоименная форма дательного падежа множественного числа с выпавшими из какого-нибудь компонента гласными (все семь имеющихся примеров типа *baltiemusiemus*, *baltomusiomus*), соответствующая краткая форма простого прилагательного в Постилле также почти не употребляется (всего лишь 26 примеров, в то время как долгой формы — 1548 примеров). В сочинениях Бреткунаса и Вайшнораса, наоборот, встречается только местоименная форма дательного падежа множественного числа с выпавшими из второго компонента гласными (*baltiemusiems*, *baltomusioms*); в указанных сочинениях также преобладают и соответствующие краткие формы простого прилагательного (*baltiems*, *baltoms*).

Как известно, в конце слова унаследованный гласный в литовском языке хорошо сохранился, ср. лит. *sūnūs* с др.-инд. *sūnus*, готск. *sunus*, греч. πῆχυς, лат. *manus*; лит. *platū* с др.-инд. *pr̥thu*, греч. πλατύ и др. Поэтому замена долгих форм дательного падежа множественного числа *baltiemus*, *baltomus* краткими формами *baltiems*, *baltoms* не могла совершиваться путем фонетического сокращения окончания. Здесь имели место изменения другого порядка.

Надо полагать, что краткие формы *baltiems*, *baltoms* сначала возникли в компонентах местоименных прилагательных в результате выпадения гласных из повторяющихся слогов и только впоследствии отсюда вошли в парадигмы простых прилагательных⁴³.

Их возникновение можно представить себе следующим образом.

Местоименные формы дательного падежа множественного числа, представлявшие ранее сложное слово, состоящее из прилагательного и местоимения со своими падежными окончаниями, например *baltiemusiemus* (*baltiemus* + *iemus*), *baltomusiomus* (*baltomus* + *jomus*), остались после выпадения гласных из повторяющихся слогов сложными словами⁴⁴, в которых, однако, оба компонента видоизменили свои окончания, например, *baltiemsiems*, *baltomsioms*. И прилагательное, и местоимение здесь уже выступают с новыми сократившимися окончаниями: *-iems* для мужского рода и *-ioms* для женского рода. Таким образом, в системе языка уже имелись для дательного падежа множественного числа два ряда окончаний: старые полные окончания *-iemus*, *-iomus*, выступавшие в простых (т. е. неместоименных) формах, и новые краткие *-iems*, *-ioms*, возникшие в местоименных образованиях в результате фонетических изменений (выпадение гласных из повторяющихся слогов).

Новые краткие окончания вытесняют постепенно громоздкие полные падежные флексии простых форм и даже проникают в систему склонения имени существительного и личного местоимения. Вторжение новых окончаний в систему указанных частей речи обусловливало с древних времен унаследованное совпадение окончаний *-tus* существительных и личных местоимений (ср. *vilkatus* — ‘волкам’, *šakotus* — ‘ветвям’, *tutus* — ‘нам’, *jutus* — ‘вам’) с соответствующей флексией простых

⁴³ Ср. J. Endzelins. Latviešu valodas gramatika, § 231, стр. 404.

⁴⁴ Несмотря на фонетические изменения, указанные формы не слились в одно слово, так как они находятся в единой системе склонения с остальными падежами, сохранившими отчетливо выраженный образ сложного слова, в котором каждый компонент имеет свое старое окончание: *baltāsis* (*báltas* + *jīs*), *báltojo* (*bálto* + *jō*), *báltajī* (*báltq* + *jī*), *báltqjā* (*baltq* + *jā*), *baltūjū* (*baltq* + *jū*), *báltosios* (*báltos* + *jōs*), *baltaīsiajs* (*bal-*
taīs + *jais*) . . .

прилагательных (ср. *baltiemus*, *baltomus*). Следовательно, *baltiemus*, *baltomus* становится *baltiems*, *baltoms*, и вслед за ними *vilkamus*, *šakomus*, *tumus*, *jums* — *vilkams*, *šakoms*, *tums*, *jums*.

Процесс исчезновения старого окончания дательного падежа множественного числа замедлялся тем обстоятельством, что в системе существительного и личного местоимения не было местоименных форм, следовательно, не было и кратких окончаний, которые попадали только через посредство прилагательного⁴⁵.

Таким же образом следует объяснять возникновение нового окончания дательного падежа единственного числа *-at* вместо старого *-atui* сначала в компонентах местоименного прилагательного как результат выпадения дифтонга *ui* из повторяющихся слогов (ср. *geratui* + *jatui*)⁴⁶, а потом и в системе простого прилагательного.

Однако в отличие от краткого окончания единственного числа краткое окончание единственного числа *-at* вторглось только в систему склонения прилагательного и других частей речи, имеющих местоименные формы, ибо существительное и личное местоимение здесь издавна имели другую флексию, ср. *baltamui* — ‘белому’, *vienatui* — ‘одному’, *pirmatui* — ‘первому’, *jatui* — ‘ему’, но *vilkui* — ‘волку’, *man* — ‘мне’, *tau* — ‘тебе’ (<*manie*, *tavie*).

Долгое окончание дательного падежа единственного числа *-atui* исчезло из системы простого (а также и местоименного, см. стр. 66 или 67) прилагательного быстрее, так как оно не нашло поддержки для дальнейшего существования в склонении тех частей речи, которые не имеют местоименных форм (существительных и личных местоимений). Поэтому уже в наиболее ранних памятниках долгое окончание дательного падежа единственного числа простых прилагательных *-atui* встречается очень редко, его заменяет краткое окончание *-at*, в то время как долгое окончание дательного падежа множественного числа *-iemus* (*-otus*) еще весьма часто употребляется. На это указывает прилагаемая таблица, где подсчитаны все случаи употребления долгих и кратких окончаний в дательном падеже (отдельно форм единственного и множественного числа) в пяти памятниках XVI—XVII вв.:

Название памятника	Единственное число		Множественное число	
	Долгая форма	Краткая форма	Долгая форма	Краткая форма
Постилла Даукши	24	1680	3471	68
1-я ч. „Пунктов“ Ширвидаса .	1	210	283	143
1-я ч. рукописи Библии Бреткунаса	5	451	246	127
Сочинения Мажвидаса	9	136	175	334
Катехизис Петкевичюса	48	161	206	175

⁴⁵ Этим следует объяснять наблюдаемое в некоторых древнейших памятниках стремление избежать краткой формы личных местоимений. Например, в 1-м томе рукописи Библии Бреткунаса краткая форма встречается только один раз: *-tutis* (I Moz. XL), в то время как долгая — 92 раза! Однако так дело обстоит не во всех древних памятниках. В сочинениях Мажвидаса, Даукши, Петкевичюса, Ширвидаса не наблюдается нарочитого неупотребления краткой формы личных местоимений.

⁴⁶ В результате слияния неслогового первого компонента с *j* второго компонента (ср. *baltamui* + *jatui* > *baltatiatui*) возникло новое окончание первого компонента *-ti*. Данное окончание засвидетельствовано в письменных памятниках, например: *tad*, *tare* *paraližewotati* (DP 346₃), *schemi* (Mž. 74₉, 221₇) и др. По образцу форм *baltamui* — *baltati*, вероятно, наряду с формой существительного *vilkui* возникла форма *vilk* (ср. И. Энзелин. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1912, стр. 159), употребляемое в окрестностях населенных пунктов Merkinė, Perloja, Alytus, Leipalingis, Veisiejai, Seirijai, Lazdijai, Pūnia, Butrimonys, Jiezna, Dėviniškis, Upitė, Krekenava, Raguva, Vodokliai, Pociūnėliai, Naujamiestis, Karsakiškis, Kupreliškis, Zeimis.

В памятниках XVIII в. долгие формы дательного падежа единственного и множественного числа встречаются уже редко, а в памятниках XIX в. только в виде исключений.

Диалектологические данные свидетельствуют о том, что долгая форма множественного числа исчезла позже, чем долгая форма единственного числа. Так, К. Буга⁴⁷ указывает, что в окрестностях местечка Lēnas 30 лет назад (Буга писал в 1922 г.—З.З.) еще часто можно было услышать из уст стариков *tīemus arklīamus*, *visomus moterīmus*, *tauriemus žmonēmus* и др. В окрестностях местечка Dieveniškės и в настоящее время употребляются формы множественного числа типа *piktīetu vilkātu* (по происхождению—формы двойственного числа)—‘альм волкам’. Ср. еще формы *akīmi*—‘глазами’, *sūnūmi*—‘сынам’, *trīmi*—‘трем’, *mūmi*—‘нам’, *jūmi*—‘вам’ (по происхождению это также формы двойственного числа) (Kaniava, Druskininkų raj.).

Полная форма дательного падежа единственного числа в современных диалектах нами не обнаружена⁴⁸.

Краткие окончания творительного и местного падежей также, следует полагать, сначала возникли в компонентах местоименного прилагательного после выпадения слогообразующих гласных из повторяющихся слов, ср. *baltomis + jomis* > *baltōmsiom(i)s*, *baltamē + jamē* > *baltamējam(e)*, *baltojē + jojē* > *baltōjoj(e)*, *baltuosē + juosē* > *baltuōsiuos(e)*, *baltosē + josē* > *baltōsios(e)*.

После выпадения гласного из формы местного падежа единственного числа женского рода *j* в окончании первого компонента слился в один звук с *j* в начале второго компонента, ср. *baltojē + jojē* > *baltōj + joj(e)* > *baltōjoj(e)*. Первым компонентом формы *baltōjoje* можно считать *baltōj-* (если *j* считается звуком первого компонента) или *baltō-* (если *j* считается звуком второго компонента). Одни диалекты обобщили для простых прилагательных форму *baltōj*—‘в белой’, другие—форму *baltō*—‘в белой’. Отсюда возникла и форма местного падежа местоименных прилагательных *baltōjo*, употребляемая в окрестностях Kibartai, Vilkiškiai, Veliuona, Jurbarkas, Žagarė, Šakyna, Karsakiškis, Pasvalys и др. Например: *Visi susigrudī siaurojo griciukė*(Karsakiškis), О ką asz veiksiu *margojo karczemē?* (Vilkiškiai, см. A. Lessien, Litauische Volkslieder, стр. 25). Данная форма часто употребляется и в „Margarita Theologica“ Вайшнораса (1600); например: *amszinoio gjwatoie* (MT[PM] 19a_{3,12}), *Antroio dienoie* (MT 40a₁₁), *dangischkoio draugistę* (MT 240₂₀), *Ketwirtoio dienoie* (MT 41₄), *kiek dienischkoio maldoie* (MT 230a₁₄), *Paskiausio dienoje* (MT 240₁, 242₁), *Penktio dienoie* (MT 41₈), *pirmoio dienoie* (MT 41a₅), *Misschoie Popieszischkoio* (MT[PM] 3₈), *Popiežischkoio Mischoie* (MT[PM] 35a₈), *sudnoio dienoie* (MT 165₁₆, 242a₇), *Scheschtoio dienoie* (MT 41₁₁), *anoie schlōwingoio sudnoie dienoie* (MT XXVI₁₃₋₁₄), *schwentoio weczerioie* (MT 160a₁₀), *Dwassio schwentoio* (MT 261a₁₇), *tikroio wietoie* (MT 145a₇), *tikroio nobažnistę* (MT 236₁₁), *tikroio maldoie* (MT 188₁₈), *Treczioio dienoie* (MT 40a₁₈), *žmogischkoio giminėia* (MT 6a₃, 92₇, 216₂, 233₁₅, 215a₁₄, 135₁₄).

Сохранение долгой формы творительного падежа *baltomis*, так же как и долгих форм местного падежа *baltamē*, *baltojē*, *baltuosē*, *baltosē*,

⁴⁷ „Kalba ir senovė“. Kaunas, 1922, стр. 8.

⁴⁸ В Прусской Литве в современных текстах зафиксирована форма простого прилагательного типа *baltāmui*, но она употребляется со значением местоименной формы. Например: *wienam sidabra*, *aksą* (= *auksą*) *antram*, *trecziamui* *demanta ēdžes padirbdina* (см. C. Jurksc h a t. Litauische Märchen und Erzählungen. Heidelberg, 1898, стр. 141), *baltāmui*—‘белому’, *gražiāmui*—‘красивому’, *didžiāmui*—‘великому’ (LŽTP 40—41).

по-видимому, обусловливается ударяемым окончанием. Известно, что ударяемое окончание является более устойчивым, чем неударяемое. Долгие формы дательного падежа *baltāmī*, *baltēmus*, *baltōmus* имеют неударяемое окончание, поэтому они рано были вытеснены краткими формами *baltām*, *baltēms*, *baltōms*.

По образцу простых прилагательных указанные гласные лучше сохранились и в абсолютном окончании местоименных прилагательных, например *baltōsiomis*, *baltājame*, *baltōjoje*, *baltōsiōse*, *baltōsiōse*.

Следует полагать, что и краткие формы иллатива, т. е. формы без постпозитивного *-a* (например, *baltañ*, *baltōn* вм. *baltana*, *baltōna*), а также адессива и аллатива без постпозитивного *-i* (например, *baltāmp*, *baltōp* вм. *baltāmpi*, *baltōpi*) раньше возникли в компонентах местоименного прилагательного в результате выпадения гласного из повторяющихся слогов.

В древнейших памятниках еще засвидетельствованы местоименные формы данных падежей с сохраненными гласными первого (реже — второго) компонента; например:

- a) *Bažnjczion' tikronaion'* (DP 403₂);
- б) *Sawumtriyump* (VEE 20₁₅), *Satumpriump⁴⁹* *tikrumpiiump* ateio (DP 46_{6—7});
- в) *Ruikumtriumpi* (BGLS 156).

Однако такие формы встречаются в памятниках редко, так же как и соответствующие долгие формы простых прилагательных. В современных диалектах широко употребляются только долгие формы иллатива множественного числа простых прилагательных типа *baltōsna*, *baltōsna*, сохранение которых объясняется, по-видимому, стремлением избежать трудно произносимое в конце слова звукосочетание *-sn⁵⁰*.

Две формы — долгую и краткую — имел также дательный-творительный падеж двойственного числа; например:

- а) по *akima didzio swietyo* (BrP 116₁₀), по *akimiū* (BrP 259₁₁), *dwiemiu* talentu užieszkoio kitu du (DP 390₁), ketures tukstanczes žmoniū... *dwiemi žuwelemi* pasotino (DP 297₂₇), pēkes tukstānczes Zmoniū pasotino... *dwiemi žuwelemi* (DP 299_{12—13});
- б) padarik Spitalas auksinas... su *dwiem gallam* (BrB II Moz. XXVIII), anis *tiem dwiem Szenklam* netikes (BrB II Moz. III).

Следует полагать, что и в данном случае краткая форма сначала возникла в компонентах местоименного прилагательного, а впоследствии была обобщена для всей системы склонения. Однако из-за отсутствия фактического материала (местоименная форма данного падежа с сохраненными полными окончаниями компонентов в памятниках нами не найдена) нельзя проследить этого процесса.

5. Исчезновение некоторых согласных в окончании первого компонента

Дательный падеж единственного числа женского рода в памятниках иногда имеет форму с полностью сохраненным окончанием первого компонента; например, *apleistaiiei*... moterischkei (MT 228₁₄), *personai nekaltaiiei* (MT 229₁₅), *Dwassei schwentaiiei* Mž. 295_{8—10}, *tikraiiei* nuomonei (MT 64₂), *žmogischkaiiei*... *giminei* (MT 44a_{15—16}).

⁴⁹ Т. е. *Sawumtriyump*.

⁵⁰ В некоторых восточноаукштайтских говорах все же употребляется форма иллатива множественного числа без *a*, причем согласный *n* в этих диалектах превратился в слогообразующий звук; например, *baltōsñ*, *baltōsñ*. Отсюда в некоторых говорах возникла форма *baltōsin*, *baltōsin* (Lénas).

Такая форма встречается и в более поздних памятниках. Так, мы ее находим не только в парадигмах первых грамматик (см. грамматики Клейна, Гаака, Руига, Остермеера, Мильке и др.), но также и в грамматиках XIX—XX вв. [см. грамматики Коссакаускиса, Шлейхера, Бекера, Межиниса, Видеманна, Шикоппа, Зейделя, Паевскиса-Гилиса, Авижониса, даже И. Яблонского (1901)]. Длительное сохранение полного окончания первого компонента, особенно в написании, объясняется влиянием соответствующей формы простых прилагательных типа *báltai*.

Наряду с указанной формой, начиная с древнейших памятников, употребляется форма без неслогоового *i* в окончании первого компонента; например, *augsztaiei szwiesibei* (DP 590₂₁), *szwentaiey sprowai* (PK 131₁₅), *tikraiei Ewangeliei* (DP 248₃₉).

Последняя форма чисто фонетически развилась из первой, путем слияния в один звук неслогоового *i* первого компонента с *j* второго компонента: *báltai + jai > báltajai*⁵¹.

В памятниках и современных диалектах, кроме *báltajai*, встречается и форма *báltojai*. Гласный *o* первого компонента данной формы следует рассматривать как рефлекс древнего *ā*, который с давних времен, будучи в открытом слоге, сохранил свою долготу⁵².

В современных диалектах данная форма наиболее широко употребляется в северо-восточных говорах восточноаукштайтского диалекта (Adutiškis, Tverečius, Daugėliškis, Ignalina, Linkmenys, Leliūnai, Vyžuonos, Dusetos, Svēdasai, Skapiškis, Pandėlys, Palévenė, Kupiškis, Salamiestis, Adomynė, Karsakiškis, Vaškai, Joniškėlis). Встречается она и в некоторых жемайтских говорах (Laukuva, Klaipėda). Примеры: ar padavei *báltojai šieno?* (Leipalingis), *bóltojai bliuskai kaunierius parmožas* (Skapiškis), *dèdžiuojē vuobelē šakas lūšt nū vuobūlų* (Laukuva), *margójai nunesk undenio* (Dusetos), numet *māžājai mergiotei duonās plutely ir vē darban* (Linkmenys), paduok *sartojė kumelis šiena* (Karsakiškis), o šio *trečiojai vis mažausojei*, tris aukso žédus ir vainikelj (Véveriškiai, Klaipédos raj. TD VII 69 Nr. 125), vis gegulai kukuoti, vis *raibojai* kukuoti (Valkininkai, Eisiškių raj. TD IV 101 Nr. 256).

Следует полагать, что по образцу формы дат. п. ед. ч. ж. р. *báltajai* (на месте древней *báltaijai*) возникли и формы: дат. п. ед. ч. м. р. *baltájam*, дат. п. мн. ч. м. р. *baltíesiems*, то же ж. р. *baltósioms*; дат.-твр. п. дв. ч. м. р. *baltíejiem*, то же ж. р. *baltójom*; вин. п. ед. ч. м. р. диалектн. *báltajī < *báltajin'*, то же ж. р. диалектн. *báltają < *báltajan*; твр. п. мн. ч. ж. р. *baltōsiomis*; местн. п. ед. ч. м. р. *baltājame*; постпозитивные местные падежи *baltājan*, *baltōjon*, *baltōjor* вместо более древних, но фонетически неудобных соответствующих падежных форм с двумя одинаковыми согласными *baltámjam*, *baltíemsiems*, *baltómoms*, *baltíemjiem*, *baltómjom*, *báltajī < báltanjin*, *báltają < baltanjan*, *baltōmsiomis*, *baltāñjan*, *baltōñjon*, *baltóþorj*⁵³.

К. Явнис⁵⁴ и некоторые другие языковеды считают исчезновение согласного *t* из окончания первого компонента только результатом диссимилиации. Данные падежные формы с дважды повторяющимся *t*, конечно, были фонетически неудобны, и поэтому естественно стремление избежать повторяющегося звука. Однако стимулом для указанного процесса, направившим его не к изменению первого из повторяющихся звуков, а к его выпадению, послужил пример дат. п. ед. ч. ж. р.

⁵¹ Ср. J. Endzelīns. Latviešu valodas gramatika, § 324a.

⁵² Ср. J. Endzelīns. Baltu valodu skaņas un formas, стр. 153; BGLS, стр. 156. LM II, стр. 136, 152 и 181.

⁵³ Ср. J. Endzelīns. Latviešu valodas gramatika, § 324a.

⁵⁴ К. Явнис. Грамматика литовского языка, стр. 149.

báltajai (вм. *báltaijai*). Результат чисто диссимилятивного воздействия мы имеем в диалектных формах: *baltánjam* < *baltámjam*, *baltañjam* < *baltáñjame* (Tauragė, Skaudvilė), *baltónsiuoms* < *baltómsioms*, *baltónsiomis* < *baltómsiomis* (Luokė, Šaukėnai), в которых губной *t* первого компонента заменен переднеязычным *n*. Ср. еще форму иллатива: *baltáñsian* < *baltañsian* (Linkmenys).

Падежные формы без *t* первого компонента (*baltájam*, *baltíesiems* и т. д.) возникли сравнительно недавно. В древнелитовских памятниках данные формы почти не употреблялись⁵⁵. Не дают их и первые грамматики. Только в грамматиках XIX в., написанных Шлейхером и Куршатом, наряду с древними формами с *t* имеются и формы без *t* в окончании первого компонента. Однако следует полагать, что и в разговорном языке, особенно в западноаукштайтском диалекте, в то время преобладали формы с *t*, так как мы еще долго находим эти формы в парадигмах грамматик [см. грамматики Юшкевича, Бекера (1886), Шикоппа (1881), Межиниса (1886), Паевскиса-Гилиса (1896), Видеманна (1897), Зейделя (1915), Авижониса (1898), Явнича (1916)].

На популярность форм с *t* в начале XX в. указывает тот факт, что автор первой нормативной грамматики литовского языка И. Яблонский сначала считал их нормой литературного языка. В парадигме первой его грамматики (1901) дано: *baltámjam*, *baltáñjame*, *baltíemsiems*, *baltómsioms*, *baltíemjiem* (дат. п. дв. ч. м. р.), *baltómjom* (то же ж. р.), *baltíemjiem* (твор. п. дв. ч. м. р.), *baltómjom* (то же ж. р.), *baltómsiomis*. Только впоследствии он заменил данные формы формами без *t*.

В современных диалектах формы с *t* еще широко употребляются. Их мы находим в некоторых южных говорах жемайтского наречия (Tauragė, Eržvilkas, Pagramantis), в западноаукштайтском наречии (Jurbarkas, Veliuona, Girdžiai, Siauliai, Šakyna) и восточных аукштайтских говорах (Daugėliškis, Iignalina, Linkmenys, Rimšė); например:

а) дат. п. ед. ч. м. р. *aukstámsiam* Jánui prisē (=teko), važiuot' (Daugėliškis), pamušė koje mūs *baltámjam* gaidžiui (Jurbarkas), sava *mažámjam* (*mažánjam*) Žuosi (=Zosé) nieka nesigailieje (Tauragė);

б) дат. п. мн. ч. м. р.: leida važiuot visiems *vyresníemsiems*, o mus darbininkus palika (Jurbarkas), ne tavā dunteliai *kétiemsiam* žirniam kramtyt (Linkmenys), *platíemsiam* ravam iškast' raikia buvā runkelas turet' (Daugėliškis), *jeunímsems* prasidieje sunkes dynas (Tauragė);

в) дат. п. мн. ч. ж. р.: nupirkau po skepeta *mažesniómsioms* (*mažespíómsiams*) mergučioms (Jurbarkas), reik vyčių *didžiuīsium* pupom (Šakyna), *vyresněmsiām* dukterim (Rimšė);

г) твор. п. мн. ч. м. р.: *siltuīsiums* dynums, vaiks visa laika praleisdava lauke (Tauragė), su *naujuīsium* kelném (Šakyna), eik grybaut su *senesniōmsioms* (*senesniōmsiums*) boboms (bobums) (Jurbarkas);

д) местн. п. ед. ч. м. р.: *aukstámsiam* kalni balti grikiai auga (Rimšė), *siaurañsiam* raveley ašerioku buvā (Linkmenys), *aukstáñjam* (*aukstañjam*) svirnely sied jauna mergeli (=mergelė) (Tauragė).

Форма иллатива с *n* в первом компоненте, так же как и форма адессива или аллатива с *p*, сохранена в памятниках (см. примеры выше) и современных диалектах восточной Литвы; например:

⁵⁵ В использованных памятниках нам встретились только следующие примеры: *Didejeme* (Cietwergie. Brom. 150₁₄), *didžiejeme* (Cietwergie. Brom. 19a₂), *amszinaiam* (VP 131), *regimqiime* (szwiesume, DP 134₁₀), *wiresniesiems* (Brom. 155₅₋₈).

⁵⁶ Не во всех диалектах употребляются все вышеуказанные формы с *t*. Наиболее широко распространены формы дательного падежа множественного числа.

a) lip (= lipk) *auukštañsian* medin (Rimšè), usikar' (= užsikark, užlipk) *aukštañjan* beržiokan (Linkmenys);

б) *durnámpjamp* Jonukip, *dzidzeliapjap* zmejap (см. стр. 52).

Однако наряду с данными формами в современных диалектах уже часто встречаем формы без *n*, *p*⁵⁷; например: *baltájan*, *baltójon* (Tverečius), *baltájan* *baltójon* (Karsakiškis), *baltajañ*, *baltojon* (Leliūnai); *žaliojop(i)*, *žaliosiosp(i)*, *žaliujump(i)* и др. (См. „Kalbomokslis Lëtuviszkos kalbos“. Iszduotas per LL. Tilžéje, 1896, стр. 31). Формы иллатива множественного числа употребляются всегда без *n* первого компонента; например: *kai nusirā* (= *nusiirē*) *didziúsiuosna* (*didziúsiuosnan*, *didziúsiuosan*) *ažeruosna* ir *šiunde nér* (Linkmenys), *didziásiāsan* (-*sna*, -*nan*) *kanapēsan* *indridā* (Daugėliškis), *baltúsiuosun*, *baltósiosun* (Tverečius).

Форма винительного падежа единственного числа без рефлекса звука *p* в окончании первого компонента распространена в северных говорах восточноакаштайского наречия; например: *vakar báltajyb* gaidyb pardaviø (= *pardaviau*) (Šeduva), *kur supylъ rágštajj* (*rágščiaj*) pienų (Karsakiškis), *patj géraji arkli raikęs parduołt'* (Biržai), *jinę man'* padovanoje sava *gráziajų* skarelby (Biržai), pamiršau, palikau *margajū* plūksneli (Papilys; см. A. R. Niemi, A. Sabaliauskas. *Lietvių dainos ir giesmės šiaurytinėje Lietuvoje. „Annales Academiae Scientiarum Fennicae ser“.* В том VI, Nr. 406, стр. 79), *žoliajū rūtałi* (Papilys; там же, Nr. 1230, стр. 281).

Исчезновение неслогового *i*, так же как и исчезновение согласных *m*, *n*, *p*, повлекло за собой сильное изменение окончания первого компонента, в результате чего указанные флексии отдалились от соответствующих окончаний простого прилагательного;ср. *báltajai*, *baltájam*, *baltíesiem*, *baltóioms*, *baltéjiem*, *baltójom*, *baltōsiomis*, *baltājame*, *baltájan*, *baltójon*, *baltúsiuosna*, *baltósiosna*, диалектн. *báltaji*, *báltaja* с соответствующими формами простого прилагательного *báltai*, *baltám*, *baltíems*, *baltóms*, *baltíem*, *baltóm*, *baltomis*, *baltamē*, *baltañ*, *baltōn*, *baltúosna*, *baltósna*, *báltą*.

На месте бывших окончаний первого компонента в данных падежных формах выступают лишь полностью изолированные от системы склонения звуки и звукосочетания *a*, *o*, *ies*, *ie*, *os*, *uos*, соединяющие корень прилагательного со вторым компонентом.

III. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СКЛОНЕНИЯ МЕСТОИМЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Система склонения местоименных прилагательных в современном литовском языке не является сложной. Все местоименные прилагательные женского рода склоняются по одному образцу (с твердой и мягкой разновидностями), несмотря на то, что соответствующие простые прилагательные склоняются по нескольким типам, ср. формы именительного падежа единственного числа простых прилагательных *baltà* — 'белая', *gerèsnē* — 'лучшая', *grazi* — 'красивая' с соответствующими формами местоименных прилагательных *baltójì*, *geresniójì*, *graziójì*. Все местоименные прилагательные мужского рода также склоняются одинаково, только в формах именительного и винительного падежей единственного числа сохранились различия. Например, им. п. ед. ч. *baltásis*, *didýsis*, *gražúsis* (ср. простые прилагательные *báltas* — 'белый', *didis* — 'великий',

⁵⁷ Формы без *n*, *p* в древних памятниках очень редки. Только одна форма аллатива ед. ч. ж. р. в большинстве случаев не имеет *p*, например *augsztosiosp* tewiksztesp (DP 374₃₄), *paleuïçncziosiosp* maldosp (DP 221₄₈), *tikrosiosp* szwiesibesp (DP 558₃), *tikrosiosp* Ewangeliosp' (DP 382₄₄).

gražūs — ‘красивый’), вин. п. ед. ч. *báltqjī, dīdījī, grāžqjī* (ср. *báltq*, *dīdī*, *grāžq*), но род. п. ед. ч. *báltojo, grāžiojo* (ср. *báltō*, *gražaūs*), им. п. мн. ч. *baltieji, gražieji* (ср. *baltī*, *grāžūs*) и т. д.

Современная система склонения местоименных прилагательных, как женского так и мужского рода, представляет собой систему склонения наиболее продуктивных типов с основами на *-i(j)o* (индоевропейская основа на *-i(j)ā*) для прилагательных женского рода и с основами на *-i(j)a* (индоевропейская основа на *-i(j)o*) для прилагательных мужского рода с сохранившимися остатками других типов склонения в формах именительного и винительного падежей единственного числа.

Процесс унификации системы склонения местоименных прилагательных протекал в разное время и еще не является завершенным, так как наиболее часто употребляемые падежи (именительный и винительный) в литературном языке и в большинстве диалектов до сих пор сохраняют различные флексии. Письменные памятники и диалекты дают нам довольно много примеров сохранения флексии непродуктивных типов склонения также в формах других падежей. На основании имеющегося материала можно заметить некоторые черты процесса замены форм непродуктивных типов склонения формами продуктивных типов.

1. Основа на *-i*

В отличие от существительных, сохранивших в литовском языке древнюю систему склонения с основой на *-i*, прилагательные и местоимения данной основы не сохранились. Не имеют их также латышский и древнепрусский языки, мало они представлены и в других индоевропейских языках, за исключением только латинского и кельтских языков.

Остатками древней флексии прилагательных и местоимений с основой на *-i* следует считать форму местного падежа единственного числа типа *didime (jime)*, сохранившуюся в памятниках⁵⁸, и восточноаукштайтскую форму именительного падежа множественного числа местоимения *ānys* — ‘они’, ‘те’. Данные флексии на *i* сохранились также в системе местоименного прилагательного как в первом, так и во втором компоненте. Так, в Постилле Даукши встречаем форму местн. п. ед. ч. *didimeiiime* (139₃₇) с флексией основы на *-i* в обоих компонентах наряду с формами, имеющими флексию на *-i* только во втором компоненте; например, *tažamēiime* ... *Catechisme* (456₅), *žokonē naujamēiime* (463₃₆), *ne pirmameiime kune* (195₂₀), *paskirtumēiime*⁵⁹ *urede* (203₁₈), *pirmamēiime sakime* (43₁₂), *pirmamēiime apiuokime* (169₄₇), *pirmamēiime ataiimē* (411₄₃), *pirmamēiime priežodiie* (DP 526₇), *žmoguie pirmamēiime* (394₇), *pirmamēiime yra waistas* (407₃₅), *Pirmamēiime weizdek' kā, antrame per kā, treczeme kodrin'* (407₂₂), *pirmamēiime vžgimime* (452₃₈), *sawameiime apreiszkime* (196₃₂), *tikramēiime* ... *sunuie* (450₂₃).

Следует заметить, что форму на *-i* во втором компоненте Даукша употребляет более часто, чем современную форму на *-ia*: первая в Постииле встречается 18 раз, вторая — лишь один (*pirmamēieme*, 554₅). Не чужда данная форма и Вайшнорасу; например, *naujemeiime Testamente* (MT 110₂₀).

Форма именительного падежа множественного числа на *-i* во втором компоненте местоименного прилагательного в настоящее время употребляется в окрестностях населенных пунктов *Tverečius*, *Kaltinėnai* и дру-

⁵⁸ Примеры см. P. Aruma a. Sur les adjectifs en *-i* dans les langues baltiques.— „Mélanges linguistiques offerts à M. Holger Pedersen“. København, 1937, стр. 431—442.

⁵⁹ Т. е. *paskirtamēiime*.

гих; например: *meiliesys* žadeliai jau iškalbėci (Latakiškė, см. LT IV, 2, 288), Neverkit, vaikeliai, mano *mažiesies*⁶⁰ (Kaltinėnai, TD IV 153), stavaėja daržely, *puikiesies* kvietkeliai (Latakiškė, LT IV, 2, 302), atvažia *cikriesies* sveteliai (Latakiškė, LT IV, 2, 300), *geriesies*, *placiesies* (Tverečius, cp. J. Q. t r e b s k i. Wschodniolitewskie narzecze twereckie, cz. I. Kraków, 1934, стр. 252, 259).

2. Основы на согласный

В системе склонения тех частей речи, которые имеют местоименные формы, флексию древнего типа склонения с основами на согласный встречаем только в парадигме причастий действительного залога, например им. п. ед. ч. м. р. *rāšqs* < *rāšants* — ‘пишущий’ (ср. греч. φέρων, лат. *ferens*); им. п. мн. ч. м. р. *rāšq*⁶¹ — ‘пишущие’ (ср. греч. φέρον).

Наряду с указанной формой ед. ч. *rāšqs* в современном языке часто употребляется форма *rāšantis* < *rāšantīs*, образованная по образцу винительного и других падежей с сохранением полной причастной основы. Последняя форма в современном языке также обобщена для первого компонента местоименных причастий; например, *rāšantysis*.⁶² В памятниках на месте новой формы *rāšantysis* имеется древняя форма *rāšqsis* с сохраненным рефлексом древней флексии на согласный в первом компоненте, например:

a) *abeioiensis* tenetik ko nog Pono gausenti (BrP II 102₁₈), balsas ižg debesies *bīqsis* (DP 591₄₁), Paukschcziu schauksmo *daboiensis* (BrB V Moz. XVIII), *darqsis* milaschirdigiste (Mž. 20_{13–14}), muras *degqsis* (KG 533₁₉), Lētai *dirbansis* Brolis (BrB Kalb. Sal. XVIII₁₇), *dūdansis* dowana swietui (BrP II 153₂₀), Dabar *essasis* swietas (MT 235₁), *Gelbansis* wissosu liggosu (BrP II 371₉), *gēndqsis* kunas (DP 436₁₇), *giwēnqsis* Tewas (DP 262₄₅), daikt's isz lauko *jeinqsis* į žmogų (NT 58₄₃), teisinikas ... *iszgānqsis* (DP 3₃₄), krumas ... liepsnas ižg sawęs *iszłaidžqsis* ir *degqsis* (DP 398₂₀), *kalbansis* wardana kitu (BrB V Moz. XVIII), *keikensis* Tiewa ir Motiną (BrB V Moz. XXVII), Liudiniks *mellūiensis* (BrB Kalb. Sal. XXI₅₈), žmogus *miegqsis* (DP 580₃₀), *muschansi* sawa Artima (BrB V Moz. XXVII), sapnas *nułakiqsis* (DP 583₄), szmogus *pateikensis* bei niekadai *nedirbansis* (BrP II 277_{7–8}), lietus *pūlasis* ant' žemės (DP 398_{41, 46–47}), paukschtis *pustasis* ant stoga (Mž. 473₅), *randansis* mane (BrB I Moz. III₁₄), *riekēnsis* liutas (BrP 275₈, BrP II 98₂₄), szwiesumas *ne žibasis* (DP 399₁₉);

б) *guljnsis* (BrB V Moz. XXVII), *milensis* prabanga (BrB Sal. XXI₃₈), *mažtikkisis* (NT 22₇), ô *nē tikissis* ... žmogau (DP 11₄₂), *ne turisis* te parduo ruba sawa (BrP 364₁₆), *norinsis* ischwengti liggas (BrP 191₁), *smirdisis* pramanjmas (MT[PM] 33₁₄), *Tikinsis* bus ischganitas (BrP 193₈), *tigisis* tarne (DP 391₁₅), *turensis* istrowa (BrP II 241_{7–8}), Karalus *wissagalisis* (Mž. 301₅);

в) musu delei *gimmensis* (BrP 93₆), naujey *gimmesis* karalus (NT 2₂₀), *iždwesesis* szū (DP 538_{18–19}), *ischlikensis* ... pulkas (BrB I Moz. XXXII), žmogus *neatgimesis* (MT 64₆), ô *nusideiēsis* žmogau (DP 162₃₉), *papikenisis* szmogus (BrP II 291₂), *pasibeigesis* kunas (MT 161₄), ô *pawārgeisis* žmogau (DP 4₄₆, 206₂₉, 312₃₆), *persiskirēsis* ôras (VEE 158_{19–20}), *prabigēsis* didžėwime (DP 129₄₁), *pražuwēsis* žmogus (DP 281₃), isch kitur ...

⁶⁰ См. выше.

⁶¹ В говоре вместо окончания *-ys* в парадигме существительных с основой на *-i* имеется окончание *-ies*; например, *äkies* — ‘глаза’, *ričcīes* — ‘баны’ и т. д.

⁶² По происхождению эта форма среднего рода, см. J. Endzelins. Latviešu valodas gramatika, § 733.

radēsis (MT 56_a₈), *uschgimesis* Karalus (BrP 148₇₋₈, 156₈₋₉), *užmirsėsis* žmogau (DP 306₅₀);

r) jis yra Elioszua *ateisēsis* (NT 15₄₁), Ar tu essi anas *ateisēsis* (NT 15₄₀), *busensis* daikta (BrB V Moz. XXXII), *ischwerszēsis* nug smertis (Mž. 290₁₅), *waldyseesis* (NT 2₄₄₋₄₅).

Современная форма именительного падежа множественного числа местоименного причастия *rašantieji* является новообразованием по типу соответствующей формы местоименного прилагательного *žalieji* с сохранением полной причастной основы. В памятниках встречается форма *rašajie* с сохраненным рефлексом древней флексии основы на согласный в первом компоненте; например:

a) *maisztus darqie* (DP 534₃₇), *wilkai draskaye* (VEE 104₂₁), *wārgai cze essaie* (DP 214₂₈), *kiemuosu giwenaghie* (VE 1₁₅), *žalczei laiždqiie* (DP 454₃₁), *žmônes miegaghie grabūsu* (MT 249₆₋₇), *mirsztqiie* ... *žmones* (DP 536₂₀), *n'iszmanaqie* Daiktai (ŠE 3₈₋₉), *paljksminqie* žodžei (DP 2₄₉), *pataikauiqie* žmones (DP 391₂₇), *wilkai pleszqiie* (DP 300₃₇, 303₂₈), *kurie wérkia idant butu kaip ne wérkiaie* (DP 581₄₂), *wilqie* Apâsztalai (DP 19₂₁), *žinqie* (DP 577₁₂);

6) *wissi intikiie* (DP 468₄₉), *netikighie* (MT 266₈), *idant tikiqghie* ... kar-schtai iem dekawotu (MT 158₈), *tigqie* ... žmones (DP 391₂₇);

b) *žmones atgimæghie* (MT 50a₇₋₁₀), *intikeiqie* (DP 469₁), *numireiie* ne žino kas su mumis weikes (DP 537₃₉), *nusideiqie* gaileiimop tur but priimti (DP 280₅₀), *paklîdqiie* ... žmones (DP 128₂₉), *giwiegh pasilikeghie* (VEE 137₁), *passitepeghie* ischkiomis biauribemis (MT 103₂₋₃), *łobei* ne regéti ... ir *pereiqie* wissas dūmas žmonių (DP 525₁₉), *prabingeiie* rupescei (DP 349₄₉₋₅₀), ne tiktai *priaugqeie* bet' ir mažieii kudikelei (DP 417₁₇), *prisiekqeie* sūdžos (DP 160₁₄), *užsimîrszqeie* žmones (DP 99₅₁);

r) nei dabar *essaie*, nei *ateiseiie* daiktai ... ne gałes mûsu atskirt' nuog mēiles (DP 526₂₉), *buseghie* (MT 176₂₄).

Замена старых форм *rašqsis*, *rašajie* новыми формами *rašantysis*, *rašantieji* произошла в сравнительно позднее время. В памятниках XVI—XVII вв. новые формы почти не встречаются: нам встретилось лишь несколько примеров формы множественного числа и ни одного случая формы единственного числа. В грамматике Д. Клейна новая форма единственного числа также не дается, а о новой форме множественного числа замечается, что „*talia Pluralia minus usitata sunt*“⁶³.

В современных диалектах старая форма множественного числа не сохранилась, не находим ее также в памятниках XIX в. По-видимому, она исчезла еще в конце XVIII в. Старая же форма единственного числа держалась в языке дольше. Эту форму, наряду с новой, еще находим в парадигмах грамматик XIX в. (См. грамматики Шлейхера, Куршата, Видеманна, Явниса, Гражбилиса и др.). Она встречается в диалектологических текстах, записанных в Прусской Литве в конце XIX в.; например, в сборнике Юркшата⁶⁴ читаем: *iszmaukiasis* žmogus (33), *lekiasis laivas* (27), *pasirodesis paukštis* (113) и т. п. Следует полагать, что в говорах нижнего течения р. Немана старики еще употребляют данную форму.

3. Основа на -i

В современном литовском литературном языке простые прилагательные с основой на -i сохранили древний тип склонения только в фор-

⁶³ См. „Grammatica Litvanica ... edita M. Daniele Klein ... Regiomonti ...“, 1653, стр. 60.

⁶⁴ См. C. Jurkschat. Lituische Märchen und Erzählungen. Aus dem Volke gesammelt in verschiedenen Dialekten, vornehmlich aber im Galbraster Dialekt. Heidelberg, 1898.

мах им. п. ед. и мн. ч. (например, *platūs* — ‘широкий’, *platūs* — ‘широкие’), род. п. ед. ч. (например, *plataūs*) и вин. п. ед. ч. (например, *platūc*). Остальные падежные формы образованы по образцу прилагательных с основой на *-ia* (индоевр. основа на *-io*); например, дат. п. ед. ч. *plačiām*, твор. п. ед. ч. *plačiū*, местн. п. ед. ч. *plačiamē* и т. д.; ср. соответствующие формы прилагательного с основой на *-ia*; например, *žālias* — ‘зеленый’: *žaliām*, *žaliū*, *žaliatē* и т. д. В памятниках зафиксирован древний тип склонения основы на *-i* еще в формах твор. п. ед. ч. (например, *saldumi⁶⁵*, DP 101₄), твор. п. мн. ч. (например, *saldumis*, DP 365₈), местн. п. ед. ч. (например, *sunkime*, PK 141₉), род. п. мн. ч. (например, *meilaszirdu*, DP 274₃₁), дат. п. мн. ч. (например, *szwiesimus*, DP 403₁₅) и вин. п. мн. ч. (например, *sotus*, PS 45₂₃; *szwiesus*, DP 330₂₉). Таким образом, не зафиксированы только формы дательного падежа единственного числа и местного падежа множественного числа.

В системе местоименного прилагательного флексия основы на *-i* сохранилась еще меньше, чем в системе простого прилагательного. В современном литературном языке формы основы на *-i* сохранили только именительный и винительный падежи единственного числа, например *platūsis* (ср. *platūs* — ‘широкий’), *platūjī* (ср. *platūc*). Все остальные падежи, в том числе и родительный единственного числа, именительный множественного числа, имеют новые формы, образованные по образцу прилагательных с основой на *-ia*; например, *plačiojo*, *plačiājam*, *plačiōju*, *plačiājame*, *platieji*... (ср. *žaliōjo*, *žaliājam*, *žaliōju*, *žaliājame*, *žalieji*...).

Причиной более интенсивного процесса исчезновения флексии в основах на *-i* именно в системе местоименного прилагательного является ассимилирующее влияние второго компонента, т. е. местоимения *jīs*, на первый компонент, так как местоимение *jīs* склоняется по типу основы на *-ia*. Под влиянием его форм *-jie* (им. п. мн. ч.) — *-jo* (род. п. ед. ч.), *-jī* (род. п. мн. ч.) и других соответствующие формы первого компонента *platūs-*, *plataūs-*, *platū-* и другие были заменены новыми формами *platīe-*, *plačio-*, *plačiū-* раньше, чем произошла соответствующая замена в системе склонения простых прилагательных; ср. местоименные формы им. п. мн. ч. *platieji*, род. п. ед. ч. *plačiojo* с соответствующими формами простого прилагательного *platūs*, *plataūs*.

В памятниках еще встречаем древнюю форму основы на *-i* им. п. мн. ч. *platūs(j)ie* (ср. *platūs + jiē*); например, *baisusghie* ... *klaiojmai* (MT[PM] 35a₃), *ischkusghie* *pawaisdai* (MT 214a₆), *Stangusghie* *weidmai-nei* (MT 211₁₂), *teisusie* *wirai* (DP 602₃₇).

Однако вместо этой формы уже преобладает новая, типа *platieji*; например, *biaurieii* *pulei* (DP 501₅), *łapieii* (DP 205₃₅), *nełaimieii* *Pahonis* (DP 94₅₁), *ne teisieghi* (MT 252₁₅). В Постилле Даукши старую форму встречаем лишь один раз, а новую — шесть раз.

В современных диалектах старая форма не обнаружена.

Древняя форма основы на *-i* род. п. ед. ч. *plataūsio* (ср. *plataūs + jo*) сохранилась до сих пор в окрестностях Тверечиус: например, *gražau-sio* *vyro* (= *gražiojo* *vyro*), *sunkaūsio⁶⁶* *darbo*.

Следует заметить, что форма типа *plataūsio* в памятниках не найдена: повсюду употребляется новая форма типа *plačiojo*; например, *biauraia* (Mž. 41₄, 361₆), *biauroia* (PK 109₁₇), *brangoia* *kraulia* (Mž. 381₆), *ischkoia* *pakaiaus* (MT 219a₇) *neteisoio* (BrP 325₂₂), *teisoja* (VEE 22₂₀, 177₁₆, MT 247a₇).

⁶⁵ Данная форма в сокращенном виде *saldum* сохранена до сих пор некоторыми восточными говорами (Adomynė, Debeikiai, Daugai...).

⁶⁶ Окончание *o* в диалекте произносится как полудолгое *a* с оттенком гласного *o*.

Древняя форма род. п. мн. ч. *plat̄jū* встречается в сочинениях Бреткунаса, Даукши и Петкевичюса; например: *baurūjū waisiū* (DP 304₃₇), *ant anū brągiūjū tapimū* (DP 185₄₉), *bukluiū... moksłū* (DP 517₂₃), *ne paklusnūjū* (DP 66₄₇), *neteisūjū pęnigū* (DP 308₁₆), *Del sudu... neteysuiū* (PK 74₁₀), *pasłepē nuog... stropūjū* (DP 256₃₈), *ant' dewiniū deszimtū teisūjū* (DP 279₁₄), *paduksysis teisūjū dzeugsmas* (DP 385₄₃), *notaiau wadintū teisūjū bet nusideiusiū* (DP 511₅, 515₁₃), *ant sudo teysuiū* (PK 44₅), *notaiau del teysuiū* (PK 121₇), *teisūjū* (BrB I Moz. XVIII [3X]; II Moz. XXIII; IV Moz. XXIII; V Moz. XXXIII), *teisūjū* (DK[TB] 37₁₄₋₁₅). Ср. еще иллатив: *Ruikumpiumpi* (BGLS 156).

Указанная форма не может рассматриваться как результат неточного написания, так как Бреткунас (в рукописи Библии!), Даукша и Петкевичюс строго различают и не путают флексии *-ūjū* и *-iūjū*. Все примеры прилагательных с основой на *-i* в двух первых томах рукописи Библии имеют окончание *-iūjū*, все примеры прилагательных с основой на *-ia* — оканчиваются на *-iūjū*. То же и в Катехизисе Петкевичюса. В Постилле Даукши все 136 примеров прилагательных с основой на *-ia* имеют окончание *-iūjū* (*-iūiū*, *-iūiū*). Нет ни одного примера, написанного без буквы *i*. 13 прилагательных с основой на *-i* написано без *i* (=знаку мягкости) (см. выше), 15 — с *i*: *baisiūjū* (435₁₅), *brągiūjū* (195₅₁, 610₁₆, 622₁₆), *dargiuū* (38₂₇₋₂₈), *łapiūjū* (434_{27, 40-41, 42}), *neteisiūjū* (284₁₃), *pranariūjū* (66₃₃), *putliūjū* (434₂₇), *smarkiūjū* (161₂, 213₈, 324₃₄, 326₂₀). Следовательно, Даукша употребляет обе формы: древнюю и новую.

В орфографии Мажвидаса, Вилентаса, Вайшнораса и некоторых других авторов нет строгого различия в написании окончаний *-ūjū* и *-iūjū*. Поэтому в данном случае нельзя ссылаться на формы, извлеченные из сочинений указанных авторов.

Форма *plat̄jū* употребляется также в современных говорах восточной Литвы (Rimšė, Tverečius, Linkmenys и др.). Так как в этих говорах простые прилагательные с основой на *-i* склоняются по образцу прилагательных с основой на *-a*, то указанная местоименная форма здесь чисто фонетически совпала с соответствующей формой прилагательных с основой на *-a* (см. стр. 93—95).

Надежных примеров древней формы основы на *-i* вин. п. мн. ч. **plat̄siūs*, так же как и остальных падежных форм древнего типа склонения основы на *-i*, не обнаружено ни в памятниках, ни в современных диалектах.

Что касается памятников, то следует подчеркнуть вообще недостаток примеров для некоторых падежей. Так, в использованных нами памятниках не найдено для дательного падежа единственного числа, творительного падежа множественного числа, местного падежа единственного и множественного числа не только старых, но также и новых форм. Поэтому остается вообще неясным, какие формы для указанных падежей (старые или новые) употреблялись в то время.

Процесс замены старых форм новыми в системе простых прилагательных данного типа показывает, что, по-видимому, раньше, чем другие, были заменены новыми старые местоименные формы дательного падежа единственного числа и местного падежа множественного числа, так как старые формы для указанных падежей не сохранились и в системе простых прилагательных, где данный процесс протекал более медленно..

4. Основа на *-ē*

Данная основа в литовском языке является довольно устойчивой. Очень близкая к устойчивой основе на *-io* (индоевр. *-iā*), она полностью сохранила древний тип склонения, по которому в настоящее время скло-

няются многие существительные и прилагательные, например *katē* — ‘кошка’, *dēdē* — ‘дядя’, *dīdelē* — ‘большая’, *vidutinē* — ‘средняя’ и т. д.

Однако первый компонент местоименных форм литературного языка флексии от основ на *-ē* уже не имеет. Она заменена параллельной флексией основы на *-iō*; например, наряду с *dīdē* — ‘большая’, *vidutinē* — ‘средняя’, *gerēsnē* — ‘лучшая’, род. п. ед. ч. *dīdēs*, *vidutinēs*, *gerēsnēs* и т. д., находим местоименные формы *didžiōjī*, *vidutiniōjī*, *geresnīōjī* (как *žaliōjī*), *didžiōsios*, *vidutiniōsios*, *geresnīōsios* (как *žaliōsios*) и т. д.

Местоименные прилагательные с основой на *-ē* исчезли по той причине, что они употреблялись очень редко.

Большая часть прилагательных с основой на *-ē* не имеет местоименных форм. Такими являются, например, очень часто употребляемые прилагательные с суффиксом *-inē* (например, *medinē* — ‘деревянная’, *geležinē* — ‘железная’, *natinē* — ‘домашняя’) и многие другие.

Местоименные формы имеют только прилагательные сравнительной степени (которые обычно в речи употребляются очень редко), несколько прилагательных с суффиксами *-utinē*, *-urinē* (например, *vidutinē*, *viduriinē*), прилагательное *dīdē* и еще несколько слов.

Несколько редко употребляются местоименные формы этих прилагательных, показывают следующие данные. В Постилле Даукши имеется лишь 19 примеров местоименных форм от прилагательных с основой на *-ē* (18 примеров от прилагательного *dīdē* и один пример от прилагательного сравнительной степени), в то время как число примеров местоименных форм от прилагательных с основой на *-(i)o* достигает 1356 (общее число примеров местоименных форм в Постилле 4212).

Разумеется, что очень редко употребляемые местоименные прилагательные с основой на *-ē* с течением времени должны были подчиниться влиянию прилагательных с основой на *-iō*, имеющих очень сходную флексию, но употребляемых гораздо чаще. Началом для указанного процесса послужило фонетическое совпадение некоторых падежных форм, например род. п. мн. ч. *didžiūjī* (совпадает форма основы на *-ē* и на *-iō*), вин. п. ед. ч. *gerēsnējā* (форма основы на *-ē*) и *gerēsnīqā* (форма основы на *-iō*; обе формы произносятся одинаково!).

Замена падежных форм основы на *-ē* формами основы на *-iō* в системе местоименных прилагательных осуществилась в сравнительно недавнее время. Древние памятники еще сохранили формы основы на *-ē*; например:

а) им. п. ед. ч.: *ārtinas anoi didēii ... szwēnte* (DP 24₃₃), *dideii ir karsztoii meiļe* (DP 192₂₆), *dideii diena* (DP 179₂₂), *dideghi dalis* (MT 168a₅);

б) род. п. ед. ч.: *atsiuntimā ... didesios dowanōs* (DP 245₂₃), ant *dide-sios Miszios* (DP 268₁₅);

в) дат. п. ед. ч. *Geresneiжеi* (Haack 269, Ruhig 48);

г) вин. п. ед. ч.: *usz ... dideie ... meile* (Mž. 140), *didesneie dali* (MT 19₃), *Geresneiē* (Haack 269, Ruhig 48); вин. п. мн. ч.: *geresneses* (Haack 270, Ruhig 48);

д) твор. п. ед. ч.: *dideia diena ēst praminta* (DP 7₉), *numiļeio mus ... didēie ir ne ižbilomaiiē mēila* (DP 530₂₅), *meiļa didēie* (DK[TB] 52₃₃);

е) местн. п. ед. ч.: *dideišioi⁶⁷ petniczioi* (DP 131₃₅).

Наряду с указанными падежными формами основы на *-ē*, в древнейших памятниках встречаются и формы основы на *-iō*; например, род. п. ед. ч. *didzoses garbes* (Mž. 249₆, 403₄), *meiles didzioses* (Mž. 438₆), *didzases tei-sibes* (Mž. 52₇), *didzoses* (VE 69₉, BrP 213₂).

Некоторые авторы употребляют последнюю форму даже чаще, чем

⁶⁷ Т. е. *dideiēioi*.

форму основы на *-ē*. Так, в сочинениях Мажвидаса форма на *-jo* встречается четыре раза, а форма на *-ē* лишь один раз. Другие авторы предпочитают форму основы на *-ē*. Например, в Постилле Даукши встречается только форма с основой на *-ē*.

В грамматиках XVII—XIX вв. даются смешанные парадигмы, в которых для некоторых падежей намечаются по две параллельные формы: на *-ē* и на *-jo*. В некоторых грамматиках (например, в грамматике Куршата) делается попытка нормализации парадигмы. В нормативных грамматиках Яблонского падежные формы основы на *-ē* исключаются.

Падежные формы основы на *-ē* до сих пор сохранились в диалектах. В настоящее время, наряду с формами основы на *-jo*, они употребляются в некоторых говорах западноаукштайтского наречия (*Jurbarkas, Garliava, Vilkiskiai* и др.), а также в северо-восточной Литве (*Dūkštas, Rimšė, Tverečius, Daugėliškis, Linkmenys* и др.). Например:

a) *didėja duktė ištékėja* (*Rimšė*), *vyresnéje merguče* (*Jurbarkas*); *didésiās pupās gerai ažderė* (= *užderėjo*) (*Daugėliškis*);

б) *didésiās pusēs kaip nebūta* (*Rimšė*), *reikėje imt iš didesnēses krūvos* (*Jurbarkas*), *buvā ažgert' jaunesnēsiās* (*Daugėliškis*);

в) *stāresnēmiām bābām visadu šilta* (*Rimšė*);

г) *didésias avižas kiaulās subraidė* (*Daugėliškis*), *vis ilgesnēsiās morkvas rauna* (*Rimšė*);

д) *didéjām bulbām sēsiu dirvų* (*Daugėliškis*);

е) *didesnēje žolē daug usnių* (*Jurbarkas*), *to mažesnējē puodynē grybai* (*Jurbarkas*), *šienų nupjovém didējāj pievāj* (*Rimšė*); *senesnēsēs pasakos daugiau senoviškų žodžių* (*Jurbarkas*), *didésiāse pievāse tik mirga žmānių* (*Rimšė*).

5. Основы на *-(i)a* и на *-(i)o*

Данные основы являются наиболее продуктивными в литовском языке. Система их склонения не только не испытала значительного влияния со стороны других систем, но, наоборот, отдельные ее элементы проникали в другие системы склонения: все слова мужского рода с непродуктивными основами постепенно получают флексию основ на *-(i)a*, слова женского рода — флексию основ на *-(i)o*. Таким образом, эти типы склонения становятся все более преобладающими.

Литовский язык унаследовал два ряда окончаний именительного падежа единственного числа в системе склонения основ на *-ia* и на *-io*; например: а) *svēčias* — 'гость', *žālias* — 'зеленый', но *brōlis* — 'брать', *dīdis* — 'великий'; б) *valdžiā* — 'власть', *žaliā* — 'зеленая', но *marti* — 'сноха', *graži* — 'красивая'. По образцу форм именительного падежа возникли двойные формы и для винительного падежа в системе склонения слов с основой на *-ia*; например, *svēčiq*, *žāliq* (ср. им. п. *svēčias*, *žālias*), но *brōli*, *dīdi* (ср. *brōlis*, *dīdis*).

Двойная флексия основы на *-ia* сохранилась до настоящего времени также в системе местоименного прилагательного; например, им. п. *žaliāsis, trečiāsis, aukščiáusiasis*, но *didēsis*⁶⁸, *vidutinysis, baltesnysis, rašantysis*; вин. п. *žaliąjì, trēciąjì, aukščiáusiąjì*, но *dīdijì, vidutinijì, baltēsnijì*,

⁶⁸ Сохранился долгий гласный *u* в окончании первого компонента, который подвергся сокращению в неударных окончаниях простых прилагательных. В ударном окончании существительного он сохранил долготу; например, *arklýs* — 'лошадь', *ožýs* — 'коzel' и т. д. В ряде восточноаукштайтских говоров долгий *u* обобщен и для неударных окончаний, например *dīdelys* — 'великий', *eīnantys* — 'идущий', *tūkstantys* — 'тысяча' и т. д. (*Dūkštas, Rimšė, Tverečius, Ignalina, Dusetos, Užpaliai, Svēdasai, Anykščiai* и др.).

rāšantiųjį. Унификация данных окончаний встречается только в некоторых диалектах⁶⁹.

Двоякая флексия основы на *-io* в системе местоименных прилагательных современного литературного языка уже устранена. По образцу *žaliójì*, *stačiójì*, *plokščiójì* (ср. *žalià* — ‘зеленая’, *stačià* — ‘крутая’, *plokščià* — ‘плоская’) в настоящее время имеем также *plačiójì*, *eǐnančiójì*, *šiójì* вместо древних форм *platýjì*, *eǐnancyjì*, *šýjì* (ср. *plati* — ‘широкая’, *eǐnanti* — ‘идущая’, *ši* — ‘эта’)⁷⁰.

Древняя форма на *-yjì* широко представлена в памятниках; например:

a) diena *baysiii* (DP 16₃₅), *baug̃ii* affiera (DP 544₃₉), dwasia *bieurii* (DP 120₃₃), *brągii*... *pūta* (DP 267₃₈), *graziii* žwaizde (DP 400₁₁), *kartii* kanczia (DP 170₁₂), diena *laimiii* (DP 25₃₉), *lap̃ii*... *dūma* (DP 380₁₅), O *małonyii*... *mērga* (DK 20₁₈), O *meilyjii*... *mērga* (DK 20₁₈), Dwasse *saldighi* (Mž. 317₁₄), *smarkij smertis* (VP 138), węzia *stipriii* (DP 497₄₀), *Schwiesighi* Triwenibe (Mž. 285₁₁), szwiesiii žwâke (DP 560₃₆), *merga*... *teisiii* (DP 396₅), bažniczia... *tiesiii* (DP 505₁₆);

b) žwaizde... *apžiebiantii* (DP 400₁₆), *atentii* Dwasia (DP 251₃), *atliekantii* szalis (DP 54₂₆), žwaizde... *blizgantii* (DP 400₁₆), *wisur esantii* (DK 8₁₆), žmôna *gimdqatii* (DP 36₁₀), karalista... *kareuietii* (DP 526₅₋₆), *netikintiji* gimmine (NT 61₂₃), *newistantij* ischmintis (MT 47₃), *ne palaubantii* linksmîbe (DP 543₃₅), *Merga*... *pradēdantii* (DP 399₃₉₋₄₀), ugnis *prar̃iantii* (DP 26₁₇₋₁₈), giwata dabar *santii* (DP 251₂₁), *wissur santii* wienibe (DP 457₄₅), *sopantii* kaline (DP 542₁₀), žwaizde *žibatii* (DP 422₄₇);

b) *bīngusiii* gerîbe (DP 529₂₅), *gimusighi* (MT 13₉), bestiia *iżdwesustii* (DP 583₁₉), *numirusiii* duszia (DP 134₃₆);

г) *yii* (DK 13₁), *kuriii* (DP 11₂₅, 83₂₉, 88_{17, 18}, 89_{34, 36}, DK 13₁₀), *schighi*... *priezastis* (MT 131a₈), diena *szyi* (DP 58₃₄).

Наряду с данной формой, в древнейших памятниках уже встречаем и новую форму; например: Smertis *baisoia* (BrP II 409₂₅), Eikitę... *ing ugni* ąmžina, *kuriöii* yra... padarita (DP 16₂₀), *ne łaimioi* burna (DP 15₂₂), *Saldzoghi*... *deiwiste* (Mž. 202₁₄), *stiproj* (MT 16). Однако новая форма встречается еще очень редко. Так, в Постилле Даукши форма типа *plačiójì* представлена лишь двумя примерами, а форма типа *platýjì* — 357 примерами.

В памятниках XVII—XVIII вв. число примеров новой формы увеличивается. В грамматиках указанных веков уже как правило даются обе формы.

В грамматике Шлейхера (1856) при форме *grazujì* дана пометка „встречается только в книгах“. Куршат этой формы вообще не указывает. Следует полагать, что в то время в Прусской Литве данная форма уже не употреблялась.

В настоящее время форма *platýjì* встречается исключительно только на северо-восточной окраине Литовской CCP, особенно в окрестностях местечка Tverečius; например: *brungýja* knyga, *grazý* merga, *placý* pi-eva (Tverečius), Tai mano užklojėlis — *gailyja* rasytėlė (Rimšė, TD IV 79, Nr. 197. См. еще KS 156)⁷¹.

⁶⁹ См. ниже.

⁷⁰ Окончание им. п. *-i* < *-ý*, ср. др.-инд. *dēvī* — ‘богиня’, готск. *þandi* — ‘связка’ и др. (см. выше, стр. 61).

⁷¹ В западной Литве часто встречается местоимение *jýji* — ‘она’; например, *jýje* < *jýja*, *jýji* (Паграмантис), *jíje* (Юбаркас); ср. еще *jíji* (см. C. Capeller. Kaip se-néji Lëtuvinkai gyveno. Heidelberg, 1904, стр. 4).

IV. ОСОБЕННОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ МЕСТОИМЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ДИАЛЕКТАХ

1. Фонетика

Фонетической нормой литовского литературного языка является произношение южных говоров западноаукштайтского наречия, т. е. тех говоров, которые сохранили наиболее архаическую звуковую систему. Остальные диалекты в разные периоды претерпели значительные изменения в своей фонетике. В результате этих изменений оба компонента местоименного прилагательного еще более отдалились от соответствующих форм простого прилагательного и местоимения *jis*, а в связи с этим и тип первоначального их образования в диалектах стал менее ясным.

Решающую роль в указанном процессе сыграло сокращение окончаний. Кроме того, заслуживают внимания также переход древнего исходного *ā* (= *o* в литературном языке) в *e* в положении после *j* и изменение *q* в различных говорах.

1. Сокращение окончаний. В значительной части диалектов литовского языка с течением времени сократились не только древние акутовые, но и циркумфлексные окончания. Результаты указанного сокращения различны по говорам.

В жемайтских и в некоторых аукштайтских говорах сокращению подверглись только долгие исходные гласные, находящиеся в баритонных падежных формах; например, им. п. ед. ч. *žētē* — 'земля' (ср. литер. *žētē*), им. п. мн. ч. *šākas* — 'ветви' (<*šākās*, ср. литер. *šākos*), *sūnus* — 'сыновья' (ср. литер. *sūnūs*), род. п. ед. ч. *vaīka* — 'ребенка' (<*vaīkā*, ср. литер. *vaīko*), вин. п. ед. ч. *ākī* — 'глаз' (ср. литер. *ākī*). В падежных формах местоименного прилагательного данных говоров циркумфлексные окончания первого компонента не подверглись сокращению и таким образом отдалились от соответствующих флексий простых прилагательных; ср. местоименные формы Лакувского говора (*Laikuva*) им. п. мн. ч. *bāltoſes*, род. п. ед. ч. *bāltojė*, вин. п. ед. ч. *bāltonje* с соответствующими формами простого прилагательного *bāltas* — 'белые' (ж. р.), *bālta* — 'белого', *bālta* — 'белой', или местоименные формы Шакинского говора (*Šakyna*) им. п. мн. ч. *bāltoſes*, род. п. ед. ч. *bāltoje*, вин. п. ед. ч. м. р. *bāltaži*, то же ж. р. *bāltažje* с соответствующими формами простого прилагательного *bāltas* — 'белые', *bālta* — 'белого', 'белую'.

В некоторых так называемых донининских (крайпедских) говорах жемайтского наречия гласные циркумфлексных окончаний чрезвычайно сильно редуцировались (практически они почти не воспринимаются); например, им. п. ед. ч. *žētъ* — 'земля'; им. п. мн. ч. *avēlъs* — 'овцы', *lāpъs* — 'губы'; род. п. ед. ч. *zōikъ* — 'зайца'; род. п. мн. ч. *krūtъ* — 'кустов'. В указанных говорах первый компонент местоименного прилагательного еще более отдалился от соответствующих падежных форм простого прилагательного, ср. местоименные формы Крайпедского говора им. п. мн. ч. *bāltoſes*, род. п. ед. ч. *bāltojъ*, вин. п. ед. ч. *bāltažъ* с соответствующими формами простых прилагательных *bāltъs* — 'белые' (ж. р.), *bālta* — 'белого' (вин. и род. п.).

Циркумфлексные окончания окситонных падежных форм в жемайтских и в соседних аукштайтских говорах не подверглись сокращению; например, им. п. ед. ч. *kātie* — 'кошка' (= *kātē*), род. п. ед. ч. *kātiēs* — 'кошки' (<*kātēs*), *šākuos* — 'ветви' (<*šākos* <*šākās*). Первый компонент местоименного прилагательного также не отдалился от соответствующих форм

простого прилагательного (разница только в ударении), ср. местоименные формы Лакуквского говора род. п. ед. ч. *baltūsēs*, род. п. мн. ч. *baltājō*, твор. п. мн. ч. *baltāsēs* с соответствующими формами простого прилагательного *baltuos* — ‘белой’, *baltū* — ‘белых’, *baltās* — ‘белыми’, или соответствующие формы Шакинского говора *baltōses*, *baltājū*, *baltāseis* (местоименные) и *baltos*, *baltū*, *baltais* (простые).

В говорах бассейна р. Муша (*Mūša*) сократились долгие гласные некоторых (не всех!) циркумфлексных окончаний также в окситонных падежных формах; например, им. п. ед. ч. *kāte* — ‘кошка’, род. п. ед. ч. *kātes* — ‘кошки’, *šakas* — ‘ветви’, твор. п. мн. ч. *patēs* — ‘домами’. В данных говорах соответствующие формы первого компонента местоименного прилагательного не совпадают с формами простого прилагательного; ср. местоименные формы Биржайского говора (*Biržai*) род. п. ед. ч. *baltōsios*, твор. п. мн. ч. *baltāseis* с соответствующими формами простого прилагательного *baltós* — ‘белой’, *baltēs* — ‘белыми’. Однако первый компонент формы родительного падежа множественного числа совпадает с той же формой простого прилагательного, ср. *baltājū* и *baltā* — ‘белых’.

Второй компонент местоименного прилагательного в результате сокращения циркумфлексных флексий на территории говоров бассейна р. Муша также отдалился от соответствующих форм местоимения *jīs*, ср. местоименные формы Биржайского говора твор. п. мн. ч. *baltāseis* (и *baltāisēt*) с соответствующей формой местоимения *jēis* (*jēt*) — ‘ими’.

Древние акутовые окончания в некоторых диалектах, а именно в говорах бассейна р. Муша и в говорах донининкского (клайпедского) диалекта жемайтского наречия, сильно редуцировались, почти полностью исчезли (практически воспринимается лишь в некоторых случаях очень слабый гласный неопределенного качества). Примеры из говоров бассейна р. Муша: им. п. ед. ч. *šakъ* — ‘ветвь’, *mártъ* — ‘сноха’; им. п. мн. ч. *baltъ* — ‘белые’; вин. п. мн. ч. *výrъs* — ‘мужчин’, *šakъs* — ‘ветви’; твор. п. ед. ч. *výrъ* — ‘мужчиной’, *šakъ* — ‘ветвью’ (ср. литер. *šakà*, *marti*, *balti*, *výrus*, *šakàs*, *výru*, *šakà*). В результате указанной редукции акутовых окончаний второй компонент местоименного прилагательного еще более отдалился от соответствующих падежных форм местоимения *jīs*, ср. местоименные формы Биржайского говора им. п. ед. ч. *baltōjō*, им. п. мн. ч. *baltiejъ*, вин. п. мн. ч. м. р. *baltūsōs*, то же ж. р. *baltāsēs*, твор. п. ед. ч. м. р. *baltúojō*, то же ж. р. *baltājō* с соответствующими формами местоимения *jīs*: *jī* (*jīnē*) — ‘она’, *jē* — ‘оны’, *jōs* — ‘их’ (м. и ж. р.). *jō* — ‘им’, ‘её’.

Из указанного ясно, что процесс сокращения окончаний в диалектах способствовал более сильному слиянию обоих компонентов местоименных прилагательных в одно целое, стирая таким образом облик первоначального образования данных форм.

В результате сильной редукции акутовых окончаний в говорах бассейна р. Муша форма винительного падежа множественного числа женского рода чисто фонетически совпала с соответствующей формой мужского рода; ср., например, *baltēs* *výrъs* и *baltēs* *vištъs*. По образцу простых прилагательных более частая форма мужского рода *baltūsōs* (<*baltūsōsius*) стала употребляться на месте формы женского рода *baltāsēs* (<*baltānsias*); например, *nukirta* *aukštūsōs*

⁷² В Постилле Даукши форма мужского рода встречается в 339 примерах, а форма женского рода — лишь в 67; подобное соотношение и в других памятниках (*Mž. 33 : 9*, *BrP 95 : 10*), а также в современном языке (например, в I томе сочинений Виенуолиса соотношение 29 : 7).

аруšьс — 'они срубили высокие осины'. В некоторых диалектах старая форма женского рода *baltásъs* совершенно исчезла.

2. Переход древнего исходного *ā* в *e* после *j*. Гласный *a* в положении после *j* (сохранившегося или уже исчезнувшего) подвергается в литовском языке очень сильной палатализации и в современном произношении во многих случаях совпадает или почти совпадает с гласным *e*; например, *svēčias* — 'гость', *sáija* — 'горсть', *sáujai* — 'горсти', *bróliai* — 'братья', *bróliais* — 'братьями' (произносятся: *svēčes*, *sáje*, *sáujei*, *brólei*, *bróleis*).

Данная палатализация наиболее интенсивно проявляется и раньше всего возникла в жемайтском наречии, где еще до начала XV в. гласный *a* в данном положении произносился как *e*, на что указывает отсутствие аффрикат в жемайтском наречии на месте древних *tja*, *dja*⁷³.

Данный процесс рано протекал также в западноаукштайтском диалекте, по крайней мере в Прусской Литве. Не только Мажвидас, в языке которого преобладает жемайтский элемент, но также и Вилентас, Бреткунас, Вайшнорас, писавшие во второй половине XVI в. на западноаукштайтском диалекте, данный звук *a* обозначают буквой *e*. Ср. написание ими местоименных форм вин. п. ед. ч. ж. р. *amszinaie* (= *amžinąjq*) (VE 81₁₈), *deschinaie* (VEE 200) (= *desiniąjq*), *pirmaghe* (BrB II Moz. XL) (= *pirmąjq*), *baiseie* (MT 2a₁₈) (= *baisiąjq*); твор. п. ед. ч. ж. р. *pirmaie* (VEE 164) (= *pirmąja*), *paszadetaie* (BrP 49₆₋₇) (= *pažadėtąja*), *amszinaie* (MT 2a₉) (= *amžinąja*); вин. п. мн. ч. ж. р. *iaunqses* (VE 2₂₀) (= *jaunqsias*), *gerqses* (VEE 195₇) (= *gerqsias*). В то же время Даукша и Петкевичюс, писавшие на среднеаукштайтском диалекте, обозначают данный гласный преимущественно буквой *a*. Ср. написание ими местоименных форм вин. п. ед. ч. ж. р. *tikraqiq* (PK 37₃) (= *tikrajq*), *pirmqiq* (DP 337₇, 396₄₄); твор. п. ед. ч. ж. р. *su tikraqia* (PK 102₁₁) (= *tikraja*), *giwqia* (DP 155₆); вин. п. мн. ч. ж. р. *Piktqsias* (PK 101₁₃), *pirmqsias* (DP 495₃₉).

В наречиях жемайтском и западноаукштайтском (по крайней мере в Прусской Литве) не только краткий гласный *a* перешел в *e*, но также и древний долгий *ā* (= о литературного языка) в неударяемых окончаниях подвергся процессу палатализации и стал произноситься как *e*. Мажвидас, Вилентас, Бреткунас и Вайшнорас данный *ā* обозначают буквой *e*. Ср. написание ими местоименных форм род. п. ед. ч. *piktoses* (Mž. 349₆) (= *piktosios*), *silpnoses* (VE 83₁₁), *pripratusoses* (VEE 10₇), *wiriausoses* (BrB I Moz. XXVIII), *didzoses* (BrP II 213₂), *žmogiskoses* (MT 1₁₀); им. п. мн. ч. ж. р. *schwentoses* (Mž. 35₂) (= *sventosios*), *neischmintingoses* (VE 2₁), *sanczioses* (VEE 172₁₀), *pirmoses* (BrB II Moz. XXXIII), *piktoses* (BrP II 436), *wiriausoses* (MT 2₃)⁷⁴. В то же время представители среднеаукштайтского диалекта Даукша и Петкевичюс везде пишут букву *o*. Ср. местоименные формы род. п. ед. ч. *didesios* (DP 245₂₁) (= *didésios*), *ne ižbižomosios* (DP 617₁₂), *stipriosios* (PK 99₈); им. п. мн. ч. ж. р. *ne naudingosios* (DP 608₄₆) (= *nenaudingosios*), *laukienciasios* (PK 93₁₈)⁷⁵.

В результате перехода исходного неударяемого *o* в положении после *j* в *e* в указанных говорах чисто фонетически совпали флексии парадигм

⁷³ См. K. Būga. Lietuvių kalbos žodynas. Kaunas, 1924, стр. LIV—LVIII; A. Salys. Kelios pastabos tarmių istorijai. APh IV, 22—25.

⁷⁴ Во всех примерах (64) в сочинениях Мажвидаса имеется окончание *-es*; в сочинениях Вилентаса лишь один пример (из 25) имеет в окончании *-as*; в Постилле Бреткунаса 18 примеров с окончанием *-es*, три — с *-as*.

⁷⁵ Все примеры в Постилле Даукши (95) и Катехизиса Петкевичюса (8) имеют окончание *-os*.

баритонных существительных с основами на *-io* и на *-ē*, т. е. такие слова, как *kárve* — ‘корова’, и такие, как *sáuja* — ‘горсть’, стали склоняться одинаково: им. п. ед. ч. *sáuje* — *kárve*, род. п. ед. ч. *sáujes* — *kárves*, дат. п. ед. ч. *sáujei* — *kárvei*, вин. п. ед. ч. *sáuję* — *kárve* и т. д.; им. п. мн. ч. *sáujes* — *kárves*, род. п. мн. ч. *sáujų* — *kárvių*, дат. п. мн. ч. *sáujems* — *kárveems* и т. д.

Так как парадигмы соответствующих окситонных существительных остались и дальше различными, то под влиянием последних в парадигме баритонных существительных начался процесс смешения флексий: одно и то же слово стало употребляться то с флексией основы на *-io*, то с флексией основы на *-ē*. Так, например, в Салантайском говоре (*Salantai*) склоняется: дат. п. мн. ч. *sáujiem*, *kárviems* (= *saujéms*, *karvém̄s*) и *sáujuoms*, *kárvioms* (= *saujoms*, *karvioms*), местн. п. ед. ч. *sáujie*, *kárvie* (= *saujéje*, *karvéje*) и *sáujo*, *kárviuo* (= *saujoje*, *karvioje*), местн. п. мн. ч. *sáujies*, *kárvies* (= *saujése*, *karvëse*) и *sáujuos*, *kárviuos* (= *saujose*, *karviose*).

В результате смешения парадигм основ на *-io* и на *-ē* падежная флексия основы на *-ē* стала проникать также во второй компонент местоименного прилагательного взамен флексии основы на *-io*. Таким образом возникли формы: им. п. мн. ч. *báltosēs*, род. п. ед. ч. *baltōsēs*, дат. п. мн. ч. *baltōsēms*, твор. п. мн. ч. *baltōsēm(i)s*, местн. п. ед. ч. *baltōjēje*, местн. п. мн. ч. *baltōsēse* вм. *báltosios*, *baltōsios*, *baltōsioms*, *baltōsiom(i)s*, *baltōjoje*, *baltōsiose*. Примеры:

а) *jáunuoses* vėštas dar neded (*Salantai*), devynios upelės plaukite *plaukiamosēs* (*Pakalniškis J. Klaipėdiškių dainos. Vilnius, 1908*, стр. 39), *jáunuosies* dokteris (*Kretinga*);

б) *paskutiniuōsies* déinuos (*Kretinga*), penkioms, šešioms atsakiau, *mylimosēs* neb'gavau (*Pakalniškis, ib. 46*), *kumruōsēs* pošeis (*Salantai*);

в) *dēdeliuosiems* truobuoms (*Mosėdis*), *stuorūosiems* buobuoms (*Salantai*);

г) *so dōrnuōsiems* ē neprasiediek (*Salantai*), *viejōutuosiems* déinuoms (*Mosėdis*);

д) *dar tebgyvenam senuōjie* truobuo (*Salantai*), *stuoriōjie* kninguo (*Mosėdis*);

е) *dēdeliuōsies* medies yr ē vēlkū (*Salantai*).

Данные формы в Прусской Литве в середине XIX в. уже широко употреблялись. Они встречаются в грамматиках Шлейхера (стр. 209) и Куршата (стр. 248—249).

В современных говорах западноаукштайтского диалекта получили широкое распространение „местоименные“ местоимения, второй компонент которых имеет флексию основы на *-ē*; например: *anojē* daug didesnē už šita; *a jijē* da ·serg? *kattrojē* mani mieste šnekinota? *šitojē* mā geriau patink (*Jurbarkas*).

3. Изменение *q* в диалектах. Во многих диалектах литовского языка древний носовой гласный *q* (<*an*) дал иные рефлексы, чем в литературном языке. Так, в пунтининкских (*puntininkai*) и дзукских (*dzükai*) говорах он превратился в *n* (*žūsis* — ‘гусь’, *ūžuolas* — ‘дуб’), в понтиинкских (*pontininkai*), некоторых пантининкских (*pantininkai*) и в одной части жемайтских говоров — в *ō* (*žōsis*, *ožuols*, жемайт. *ožouls*), в другой части жемайтских говоров имеется *an* (*žansis*, *anžuls*), или *on* (*žonsēs*, *onžouls* или *onžals*), а в приморском жемайтском говоре — *ou* (*žousēs*, *oužouls*).

В окончаниях обоих компонентов местоименного прилагательного отражаются все рефлексы древнего *q*; например:

а) вин. п. ед. ч.: *báltūjī* — ‘белого’, *báltāja* — ‘белую’ (Daugeliškis, Dūkštas, Švenčionys, Utēna и т. д.) *báltojy*, *báltojo* (Pasvalys), *báltoji*, *báltojė* (Mosėdis), *bálтанji*, *bálтанje* (Pagramantis, Škaudvilė), *báltonjė* — ‘белого’ и ‘белую’ (Laukuva);

б) твор. п. ед. ч. ж. р.: *baltāju* (Kupiškis, Sudeikiai, Debeikiai), *baltōjy* (Vaškai), *baltōjė* (Kretinga), *baltánje* (Škaudvilė), *baltōnje* (Laukuva);

в) вин. п. мн. ч. ж. р.: *baltúsbs* (Karsakiškis, Biržai), *baltósbs* (Šeduva), *baltánses* (Pagramantis, Škaudvilė), *baltōnses* (Laukuva).

Кроме сказанного, в некоторых западноаукштайтских и южных дзукских говорах в определенных случаях акутовое *q* литературного языка заменяется дифтонгом *ai*; например: *peil̄i išgaláisk* — ‘нож наточи’, *sáislavos* — ‘мусор’, сп. еще вин. п. мн. ч. ж. р. *anáis* — ‘те’, ‘тех’, *jáis* — ‘их’, *táis* — ‘этих’ (<* *anáns*, **jáns*, **táns*). В данных говорах встречается также форма вин. п. мн. ч. ж. р. местоименных прилагательных *baltáisis*; например, *palaisk dzidzáises kiaulas* (Rudamina). См. еще LŽTP 41, 44.

Указанные изменения *q* в диалектах, за исключением жемайтских, сохранивших тавтосиллабическое звукосочетание *an* (или *ən*), не способствовали дальнейшему отдалению окончаний компонентов местоименного прилагательного от флексии, имеющейся в системе склонения, так как данные процессы одинаково влияли на развитие окончаний как местоименных, так и простых прилагательных.

Однако указанный процесс в некоторых диалектах создал условия для действия аналогии. Так, в пунтиникских и дзукских говорах в результате перехода окончания *-án(>in)* в *-i* форма творительного падежа единственного числа женского рода фонетически совпала с той же формой мужского рода, сп. *su báltru stalu* — ‘с белым столом’ и *su báltru koju* — ‘с белой ногой’. В указанных говорах по образцу простых прилагательных чаще встречающаяся в речи форма мужского рода⁷⁶ местоименных прилагательных стала употребляться вместо соответствующей формы женского рода; например: *gerúoju sukniu apsrēdē* (Rimšé), *šituo gražiuoju dainu tik širdi sugraudina* (Linkmenys), *užsimanė jaunesnis brolis su tuoj gražiuoju ženycis* (Valkininkai, TD IV 259, Nr. 557), *nu jeigu tep, tai ženykis su juoj* (Kabeliai, TD IV 194), *su gerúo mergu* (Tverečius), *apsiriš⁷⁷ baltuōmju* (*baltuōmsiu*) *skarelų* (Linkmenys), *su sartuōmjuot kumely* (Rudamina).

Древняя форма ж. р. *baltāju* (=литер. *baltāja*) во многих указанных говорах тоже не встречается.

2. Склонение

1. В некоторых современных диалектах замечается сильная тенденция к окончательной унификации системы склонения местоименных прилагательных. Так, во многих жемайтских говорах устранено различие между формами именительного падежа типов *žaliāsis*, *didýsis* и *platúsis*: в большинстве доуниникских и дуниникских говоров победил тип *žaliāsis* (т. е. употребляются формы *didžiasis*, *baltesniasis*, *sukančiasis*, *plačiasis* > диалектн. *didēsis*, *baltesnēsis*, *sukantēsis*, *platesis*), а в дониникских говорах — тип *didýsis* (т. е. употребляются формы *žalýsis*, *baltesnýsis*, *sukantýsis*, *platýsis*). Например:

⁷⁶ Так, в Постилле Даукши форма мужского рода встречается в 314 примерах, а форма женского рода лишь в 148.

⁷⁷ Т. е. *apsirišk*.

а) *dėdėsės* prūds ešdžiuva (Laukuva), *dėdėsės* paršeles sōserga (Rietavas), *platėsis* maišos prakiora (Salantai), vėso *dāilesis* Juonis avis ęsęvarie (Mosėdis), tava *platėsės* dėržos gers bretvā galostę (Rietavas);

б) oi apyn', apyneli, *žalysis* pūraineli (Pakalniškis J. Klaipėdiškių dainos. Vilnius, 1908, str. 28), oi kur tu josi, broluželi mano, *žalysis* meironeli, *žalysis* (Pakalniškis, ib. 17); tas buvatas *gudryses* (Klaipėda, LF 38), *tēsis* kels (Klaipėda, LF 37).

То же следует сказать и о различии форм винительного падежа типов *žāliqjī*, *didijī* и *plātujī*, так как в жемайтских говорах преобладающим является тип *žāliqjī* (доунининские и дунининские говоры) или *didijī* (донининские говоры). Например:

а) padouk mōn tōu *dēdieji* kepala (Mosėdis); jē nušausio tōu *pōikejī* zuiki, gausi i to šuonali (Mosėdis, *sáldoji* uobola prakondau (Salantai);

б) ainu i *žālijī* mēška (Luokė); *gudrijī* vaik' (Klaipėda, LF 38).

Тенденция к унификации форм именительного и винительного падежей замечается и в некоторых восточноаукштайтских говорах. Например:

а) *didžiasai* peilys nulūza (Svēdasai); pats *gardziasei* ābuolys (Daugėliškis), šitas ūžuolas *grāžiasai* — mano (Dusetos), *kárčiasai* lubinas pašarui netinka (Svēdasai), tas *placiasei* laukas kadai dvarā buvā (Linkmenys);

б) *didžiujī* kašikų atnešk (Svēdasai)⁷⁸, tū *brúnguji* arkli pavogė (Dusetos), atneš' (=atnešk) bul'bām *placiujī* maišų (Linkmenys).

2. Во многих крайневосточных говорах Литовской ССР падежные формы слов с основой на *-i* как в системе простых, так и местоименных прилагательных заменяются не только формами основы на *-ja*, но и формами основы на *-a*. Например:

а) им. п. ед. ч.⁷⁹ *kártasai* lubinas visur auga (Svēdasai), kur tas diržas *plātasai?* (Dusetos), *sunkasei* maišas ne tau pakelteinas (=pakelti) (Linkmenys);

б) род. п. ед. ч.: *grāžājā* beržynā jau nelikā (Linkmenys), kiek tau liko ortē (=arti) *plotojo* lauko (Skapiškis), duok nor truputį *sáldaje* obole (Karsakiškis);

в) род. п. мн. ч.: prisapnavau *baisūjū* sapnū (Rimšē), šitū *platūjū* laukų žagrelis neapjos (Linkmenys), *rugštūjū* kopūstų prikirtą lig sočę (=privalgiau sočiai) (Karsakiškis);

г) дат. п. ед. ч.: *gražāmsiam* vaikui barankų nupirkau (Rimšē), ar dėsi dugnį *platājam* loviu (Karsakiškis), *platōjom* diržui isiūk ūsas (Karsakiškis);

д) вин. п. ед. ч.: išmesk *kórtoji* pipirų iš torielkos (Skapiškis), aš tau *rágštājū* obelę atidavio (=atidaviau) (Šeduva);

е) вин. п. мн. ч.: suvalgyk visus *saldūosios* obalius (Karsakiškis), raikia *skubūosius* raikalus ažbaigt' (Rimšē), palik tu tōs *smarkūosios* mušeikas (Karsakiškis);

ж) твор. п. ед. ч.: apsivilk *platūjo* paltu (Skapiškis), *platūomsiu* (*platūju*, *platūomsiuom*), keliu žmogus vaikštinėja, *síauruōmsiuom* keliu šuva šniukštinėja (Linkmenys);

з) твор. п. мн. ч.: nudundé (=nudundėjo) *plataišiai* keliais ir jau negriš (Linkmenys), *sūraišiai* kumpjais čestuja (=vaišino) (Rimšē);

и) местн. п. ед. ч.: *plataišiam* (*plataišjam*, *platājam*) lauki vėjā nesugaudysi (Linkmenys);

⁷⁸ В окрестностях Svēdasai встречается также форма *didisai didasai*, род. п. ед. ч. *didijo* (ср. *didaji* — 'великая' в „Grammatica Litvanica“ Клейна, стр. 22).

⁷⁹ Форма им. п. ед. ч. типа *plātasai* встречается во многих говорах восточной Литвы, также и в тех, в которых формы других падежей в парадигме никогда не заменяются формами на *-a*.

- к) местн. п. мн. ч.: *platūosiuosu* ažeruosu lynq̄ buvā (Linkmenys);
 anys *skubūosiuose* darbuose nuskindj̄ (Rimšē);
 л) илл. ед. ч.: *platañsian* kelian išejj̄ išvydā miestū (Rimšē), *platañsian* (*platañjan*, *platājan*) ažeran nusir (=nusiirk);
 м) илл. мн. ч.: indēt' (=jdék) sūrj̄ *rupūosiuosna* miltuosna (Rimšē).

В указанных говорах парадигма местоименных прилагательных основы на -u отличается необычайной пестротой, так как наряду с формами основы на -a употребляются также формы основы на -ia, а для именительного и винительного падежей единственного числа — и формы основы на -u, причем число вариантов еще увеличивается формами, имеющими другие особенности как фонетического, так и морфологического характера. Так, например, в Даугелишкисском (Daugēliškis) говоре встречаются следующие формы:

Единственное число

Им.	<i>plātasei</i> , <i>platūsei</i> , <i>plāciasei</i>
Род.	<i>plātājā</i> , <i>plāciājā</i>
Дат.	<i>platámjam</i> , <i>platámjui</i> , <i>platámsiui</i> , <i>platámsiam</i> , <i>placiámjam</i> , <i>placiámjui</i> , <i>placiámsiam</i> , <i>placiámsiui</i>
Вин.	<i>plātūjī</i> , <i>plāciūjī</i>
Твор.	<i>platuomjuom</i> , <i>platuōjuom</i> , <i>platuōmsiuom</i> , <i>platuōsiuom</i> , <i>pla-</i> <i>ciiōmjuom</i> <i>placiuōjuom</i> , <i>placiuōmsiuom</i> , <i>placiuōsiuom</i>
Местн.	<i>platañjam</i> , <i>platañsiam</i> , <i>placiañjam</i> , <i>placiañsiam</i>
Илл.	<i>platañjan</i> , <i>placiañjan</i> , <i>platañsian</i> , <i>placiañsian</i>

Множественное число

Им.	<i>platéji</i>
Род.	<i>platūjy</i> , <i>placiūjy</i>
Дат.	<i>platiemsiem</i> , <i>platíemjiem</i> , <i>platíesiem</i> , <i>platíejiem</i>
Вин.	<i>platúosius</i> , <i>placiúosius</i>
Твор.	<i>platañsiai</i> , <i>placiañsiai</i>
Местн.	<i>platúosiuosu</i> , <i>placiúosiuosu</i>
Илл.	<i>platúosiuosnan</i> , <i>placiúosiuosnan</i>

Пестрота парадигмы постепенно исчезает: все большее преобладание получают формы на -ia, остальные постепенно забываются и обычно встречаются лишь в речи старшего поколения.

Следует еще заметить, что в некоторых говорах, по-видимому, под влиянием парадигмы мужского рода, в парадигме местоименных прилагательных женского рода возникают формы основы на -o; например, *saldoja* *girà sveika*, *rūgštója* *da sveikesnā*.

3. Именная флексия в парадигмах местоименных прилагательных. Местоименные прилагательные в литовском языке употребляются, когда идет речь об известных, уже упомянутых лицах или предметах. Они имеют более конкретное, более определенное значение, чем простые прилагательные⁸⁰. Ср. выражения *béras arklýs* и

⁸⁰ На семантические особенности местоименных прилагательных указывают также некоторые термины, употребляемые в более древних грамматиках: например, *adjectiva emphatica* (Д. Клейн, К. Сапун — Т. Шульц, П. Руиг, Г. Остермейер, К. Мильке), *apodictica* (К. Сапун, Т. Шульц), *definita* (П. Руиг, Г. Остермейер, К. Мильке), *determinata* (К. Явнис) *apribotosios prasmés būdvardžiai* (К. Явнис), *priartinantieji* (А. Стуборис), *pažymeti* (А. Баранаускас), *bestimmte Adjectiva* (А. Шлейхер, Ф. Куршат), *Bestimmtheitsformen* (Ф. Р. Куршат), *определенная форма прилагательных* (Явнис, Баранаускас), *noteikti adjektivi* (И. Плакис).

bérasis arklýs. Простым прилагательным *béras* выражается только одна особенность лошади — гнедой цвет. Местоименным же прилагательным *bérasis*, кроме того, еще указывается, что данная лошадь является уже известной, что здесь идет речь не о любой гнедой лошади, а о конкретной, определенной.

Эта конкретизация нередко делает излишним употребление рядом с прилагательным существительного. Вместо того, чтобы сказать *bérasis arklýs*, говорят прямо *bérasis*. Следовательно, местоименные прилагательные часто выполняют функцию существительного. Ср. роль местоименных прилагательных в следующих предложениях: *Išiutinta degloji blaškési po kiemą* (П. Ц виркa); *Jis ten dirba vyresniuoju* (там же); *Tai apie ką mes čia kalbėsime, gerbiatięj?* (там же).

Такие местоименные прилагательные, как *jaunáji* — ‘невеста’, *kruvinóji* — ‘дезинтерия’, *miegamásis*, *rükomásis*, *valgomásis* — ‘комнаты’, *tuylimásis*, *meldžiamásis* — ‘милостивый государь’, *nelabásis* — ‘черт’, *šventásis* — ‘святый’, уже так сильно подверглись процессу субстантивации, что своим значением и синтаксическими функциями не отличаются от других существительных.

Близость этих прилагательных с существительными со стороны семантики и употребления обусловила их сближение по форме.

Таким образом в диалектах возникли местоименные прилагательные с именной флексией во втором компоненте типа *báltajui* (дат. п. ед. ч.), *baltiesiams* (дат. п. мн. ч.), *baltføjai* (им. п. мн. ч.), ср. соответствующую флексию существительного: *bróliui*, *bróliams*, *bróliai*.

Указанные формы особенно широко распространились в жемайтских и в соседних аукштайтских говорах, однако нередко они встречаются и в других говорах. Примеры:

а) им. п. мн. ч.: *mažéjei* paukščiukai *geresni* kai *didéjei* (*Jurbarkas*), *téi mōna mažéjē* (<*mažéjei*<*mažéjai*) *vákā pašielep* kap *velnióka* (*Rietavas*), *kur tava naujéjei* *batai* (*Šakyna*), а (=ar) *tie raudonéjei* *dobilai bus sékla?* (*Šakyna*), *senéjē žmuonis daug acémén* (*Salantai*);

б) дат. п. ед. ч.: *baltúojū* *gaidžiū* *kažekas* *údega ešruovę* (*Laukuva*), *paduok* *ést didžiójui* *paršui* (*Šakyna*), *didžiójui* *pirštui* *visa naga nuvarė* (*Šakyna*), *man' pirmámsiui* *prisē* (=teko) *stavēt'* (*Daugeliškis*), *žaliámsiui* *berželui* *neilgai svyrutė* (*Linkmenys*);

в) дат. п. мн. ч.: *baltiesiam* *jörginam* *saulb* *reik* (*Šeduva*), *parnešiau* *mažiesem* *riešutę* (*Šakyna*), *mažiesems* *daviau* *po obuoli*, о *didíemsems* *nieka nedeviau* (*Jurbarkas*), *jau nedaug* *raikia* *tumsíemsiam* *debesiam* *pratrükt'* (*Linkmenys*).

В жемайтских и некоторых западноаукштайтских говорах употребляются формы дательного падежа единственного числа местоименных прилагательных, у которых именную флексию имеет не только второй, но также и первый компонент. Об этих формах см. стр. 55—56.

4. Формант -ai. Местоимения *jís*, *kóks*, *kuřs*, *páts*, *šís*, *tás*, *tóks* имеют также более долгую форму именительного падежа *jisaī*, *koksaī*, *kursaī*, *patsaī*, *šisaī*, *tasaī*, *toksai*, образованную путем добавления частицы *-ai*.

Указанные более долгие формы обыкновенно рассматриваются как местоименные и употребляются наряду с формами „местоименных“ местоимений женского рода; ср. *tasaī*, *tóji* или *šisaī*, *šiōji* (но: *tás*, *tà* или *šís*, *ši*).

Они стали рассматриваться как местоименные вместо ожидаемых **tásis*, **šisis* по двум причинам. Во-первых, частица *-ai* имеет усилитель-

ное, определительное значение⁸¹, ср. значение форм *čionai*, *tenai*, *tiktaī*, *tataī* со значением кратких форм *čiā*, *tēn*, *tīk*, *tāt*. Благодаря указанному значению, данные формы в некоторой степени приближаются к местоименным формам. Во-вторых, данные формы числом слогов резко отличаются от форм простого местоимения и приближаются к „местоименным“.

По образцу местоимений в диалектах образовалась также форма местоименного прилагательного типа *báltasai*.

Указанная форма в настоящее время употребляется во всей восточной Литве; например, *júodas* puodas (Karsakiškis), *bérasai* arklys (Ukmergė), *pats grāžas* šuniuks nudvēse (Biržai), *sēnasai* arklys apšlubā (Obeliai), *vyrēsniasai* bralis atvažiās (Svēdasai).

Обыкновенно ударение бывает на корне первого компонента; например, *báltasai*, однако в некоторых говорах, особенно дальше на запад, данная форма имеет ударение на окончании первого компонента; например, *kōr mūsu baltas* gaidys (Šeduva).

Во многих говорах восточной Литвы древняя форма типа *baltasis* не употребляется: она везде заменена указанной формой с частицей *-ai*. Следует полагать, что эта замена произошла сравнительно в позднее время, так как в древнейших памятниках форма типа *báltasai* еще почти не употребляется: из XVI в. нам известны лишь три примера данной формы, приведенные В. Гайгалатом⁸² из рукописи Постиллы 1573 г., которая сохранялась в Вольфенбюттельской библиотеке.

В говорах восточной окраины Литовской ССР (Dūkštas, Rimšē, Tverecius, Ignalina, Daugeliškis, Mielagēnai, Adutiškis, Švenčionēliai, Linkmenys, Valkininkai) частица *-ai* в форме местоименного прилагательного заменена вариантом той же частицы *-ei*⁸³; например: *baltasei* risokas ne tau jadinēt' (Linkmenys), *karvelēli* mēlynasiai, *karosēli* geltonasiai (Valkininkai, TD IV 1), *žāliasei* kaptanas suplyšā (Rimše).

5. Влияние форм указательного местоимения и простого прилагательного на развитие местоименных форм. Известно, что в процессе развития форм местоименного прилагательного в славянских языках важную роль сыграло влияние указательных местоимений. В литовском языке указанное влияние является очень незначительным, так как мы его обнаруживаем лишь в немногих говорах исключительно в области ударения. Так, в некоторых восточноакштайтских говорах (Linkmenys, Ignalina, Mielagēnai, Vyžuonos, Utena) под влиянием ударения формы *tasaī* и в соответствующей форме местоименного прилагательного стал ударным второй компонент; например, *gerasai* vaikas (Vyžuonos), *placiasei* laukas (Linkmenys).

Несколько шире⁸⁴ распространено явление переноса ударения на второй компонент местоименных прилагательных дательного, местного и иллатива единственного числа мужского рода под влиянием соответ-

⁸¹ И. Яблонский ее называет *tvirtinamoji dalelē* (см. его грамматику 1922 г., стр. 33), а Явнис — эмфатической частицей (см. „Грамматика литовского языка“, стр. 149).

⁸² Tai-didei *didisai* akmo; ansai *didisai* kaplanas; Aplaicziantplatesai ischguldimum Elas (Evangelijos). См. W. Gaigalat. Die Wolfenbütteler litauische Postillenhandschrift aus dem Jahre 1573. Tilsit, 1900, стр. 131.

⁸³ О возникновении данного варианта см. P. Arumaa. Untersuchungen zur Geschichte der litauischen Personalpronomina. Tartu, 1933, стр. 9—21.

⁸⁴ В восточной Литве: Utena, Vyžuonos, Debeikiai, Anykščiai, Leliūnai, Antašava, Karsakiškis, Subačius. Известно данное явление и в б. говорах Прусской Литвы; см. LŽTP 41—42.

ствующих форм указательных местоимений (ср. *anám*, *anañ*, *anañ*) и простых прилагательных (ср. *baltám*, *baltam̄*, *baltañ*). Например:

а) дат. п. ед. ч.: *baltajám arkliui avižu paduok* (*Svēdasai*), *didžiojóm sūnui jau pinkti matai* (=metai) *aina* (*Skapiškis*);

б) местн. п. ед. ч.: *šindėj naujajañ klaimi kulia* (*Svēdasai*), *isimirkyk plutas saldajañ undeny* (*Karsakiškis*);

в) илл. ед. ч.: *savá gardajañ skistiman gali kū nori dëti* (*Karsakiškis*).

Вследствие сказанного подлежит сомнению мнение некоторых языковедов (например, Хр. Станга), что в форме местоименного прилагательного им. п. ед. ч. ж. р. *baltója* гласный *-a* в абсолютном конце слова возник под влиянием соответствующей формы простого прилагательного *baltà*. Следует еще заметить, что форма *baltója* употребляется не только в тех говорах, в которых обнаруживается указанное влияние в области ударения, но значительно шире: она встречается не только во всех говорах восточной, но и в некоторых говорах западной Литвы, в том числе и в определенной части жемайтских говоров. Данная форма употребляется также в древнейших памятниках; например: *Antroia nauda* (BrP II 169₂₀), *Smertis baisoia* (BrP II 409₂₅), *cziscztausaija* (VP 146), *dowana duchawniszkaia* (VP 131), *iaunoia* (VP 146), *duschele nobasznoia* (BrP 424₂₃), *paschlawintoie panna* (MT 21₁), *piktoia schirdis* (BrP II 363₆), *piktoia dwase* (BrP 280₁₇), *sanszine piktoia* (BrP 84₁₉), *pilnoia* (BrB I Jon. IV₁₈), *Pirmoia nauda* (BrP II 169₈), *pirmoia prieszastis* (BrP 252₁₈), *wissu pirmaie Mote* (BrP II 268₃), *wissur sācchioie Bažniczia* (DP 218₄₇), *Sennoie* (BrB I Moz. XXXVIII), *Sudnoia diena* (BrP 17_{16,22,18}₂), *Schwentoie Dwase* (BrP II 90₁₃), *tikroia prieszastis* (BrP 272₁₆, BrP II 349₁₁), *tikroia tyesa* (BrP 320₁₃, 325₇), *tikraijs tesa* (VP 131), *Toi̯e* (=toji) (DP 238₁₉), *trecchioia* (BrB Ap. VIII₇).

Все это говорит в пользу того мнения, что окончание *-a* в данной местоименной форме не является вторичным, возникшим под влиянием соответствующей формы простого прилагательного, а его следует рассматривать как древнее окончание основы на *-jo* (индоевр. *-iā*), сохранившейся в системе местоименного прилагательного, ср. др.-греч. *η — 'которая'*, др.-инд. *ya — 'которая'*, и ст.-слав. *-ja* в местоименной форме *нокай*⁸⁵.

6. Изменение некоторых местоименных форм под влиянием других местоименных форм той же парадигмы.

1) Дательный падеж множественного числа в современном литовском языке имеет две формы: с *-s*, например *vaikáms* — 'детям', *šakóms* — 'ветвям', *baltiems* — 'белым', *baltóms* — 'белым' (ж. р.), *jíems* — 'им', *jóms* — 'им' (ж. р.), и без *-s*, например *vaikám*, *šakóm*, *baltíem*, *baltóm*, *jíem*, *jót*. В разговорной речи преобладает вторая форма. В большинстве диалектов она является единственной, лишь в Занавикском говоре (*Zanavykai*), а также и в части говоров жемайтского наречия преобладающей является форма с *-s*.

Употребление формы второго компонента местоименных прилагательных не отличается от употребления соответствующей формы местоимения *jis* и простого прилагательного: в диалектах, в которых употребляются формы *jíem*, *baltíem*, не имеет *-s* и форма второго компонента местоименного прилагательного (например, *baltíesiem*, *baltósiom*), и наоборот, где употребляется форма *jíems*, *baltíems*, там встречается и *baltíesiem*, *baltósioms*.

⁸⁵ См. еще J. Endzelīns. Baltu valodu skaņas un formas, стр. 153; BGSL, стр. 156.

Однако *-s* первого компонента сохраняется и в тех диалектах, которые форму дательного падежа множественного числа с *-s* не употребляют. Это свидетельствует о том, что дательный падеж множественного числа в прошлом имел форму с *-s*, а форма без *-s* является вторичной.

В древних памятниках дательный множественного числа как правило выражается формой с *-s*, а формой без *-s* выражается дательный падеж двойственного числа. Обе формы в употреблении строго различаются, смешения почти не встречается. Нам не встретилось ни одного случая формы дательного множественного числа местоименного прилагательного без *-s* и ни одного случая формы дательного двойственного числа с *-s* в абсолютном конце слова. По-видимому, и в системе существительного отклонения этого рода рассматривались как ошибки, на что указывает фраза из рукописи Бреткунаса *sawa abiems Broliams* (BrB V Moz. XXII), которую редакторы (возможно, что и сам Бреткунас) исправили: *sawa abiem Broliam*.

Впоследствии, в связи с процессом постепенного отмирания двойственного числа как грамматической категории, форма без *-s* стала употребляться также для выражения дательного падежа множественного числа. Будучи фонетически более удобной, т. е. не имеющей в окончании трудно произносимого звукосочетания *-ms*, она постепенно вытеснила из сферы употребления фонетически менее удобную форму дательного множественного числа с *-s*, которая сохранилась до сих пор лишь в тех говорах, где двойственное число в настоящее время является более или менее живой категорией, а именно в Занавикском и в говорах жемайтского наречия.

В тех диалектах, где форма дательного множественного числа с *-s* полностью исчезла, сохранившийся *-s-* в первом компоненте местоименного прилагательного *baltiesiem*, *baltosiom* лишился своего морфологического значения. В некоторых говорах северо-восточной окраины Литвы этот лишенный своих функций *-s-* был обобщен также для других похожих форм той же парадигмы, т. е. для тех форм, которые, как и форма дательного множественного числа, имеет в окончании звук *m*. Например:

а) дат. п. ед. ч.: *duo* (=duok) *mažámsiam* *valgyt'* (Linkmenys), *juodámsiam* *šuniui* *kājų* *pamušē* (Rimšė), *platámsiam* *laukui* *daug* *prakaitā* *raikia* (Linkmenys), *gerámsiam* *vaikui* *niekā* *nedavē* (Daugėliškis);

б) местн. п. ед. ч.: *tās* *žuves* *giliámsiam* *ažeri* *gyvena* (Rimšė), *margámsiam* *svieti* *visako* *gali* *rast'* (Linkmenys), *aukštañsiam* *laukely*, *žaliañsiam* *miškely* *guli* *bernelis* *jau* *be* *galvelas* (Linkmenys);

в) илл. ед. ч.: *pacian* *aukštañsian* (*aukštañsian*) *beržan* *bitēs* *insimetē* (Linkmenys), *aukštañsian* *medin* *inlip* (= *jlipk*) *ir* *apsidairai* (= *apsidairyk*) (Rimšė), *baltañsian* *smelalin*, *aukštañsian* *kalnelin* *jau* *nuneš* *matinēly* (Linkmenys);

г) твор. п. ед. ч.: *baltuõmsiu* *risoku* (= *žirgu*) *nudūmē* (Linkmenys), *Tēvas su jaunuõmsiuom* *sūnum* *išvažia* (= *išvažavo*) (Rimšė).

В говорах восточной Литвы сохранилась также форма дательного множественного числа местоименных прилагательных без *-s* в окончаниях обоих компонентов, т. е. древняя местоименная форма дательного двойственного числа. Например:

а) *naujiemjem* *namam* *lungus* *indē* (= *jdējo*, — *Daugėliškis*), *sēnis do* *pirmlejem* *gaidžiom* *negedoju* *acikēlā* (Skapiškis);

б) *paskutiniámjām* *jau* *i* *nelikā* (Daugėliškis);

в) *su jodōjom* *pirštinēm* *buvo* (= *buvau*) *usimovjs* (Karsakiškis), *mano* *brolej* *tiktaij* *dovanoja* *puikiosios* *mergelēs žaliojom* *rūtelēm* (Valkininkai, TD IV 177, Nr. 438).

2) Аналогичный случай, когда лишенный функций звук (бывшая морфема) обобщается для других падежей той же парадигмы, имеющих сходство по форме, встречаем в жемайтских говорах.

Как уже было указано, южные жемайтские говоры сохранили тавтосиллабический *n* в актовых окончаниях первого компонента местоименных форм творительного единственного числа и винительного множественного числа; например, *baltánja*, *baltánsias*. Так как в системе склонения простых прилагательных указанные падежи имеют окончания *-a*, *-as* (ср. *bálta*, *báltas*), то сохранившийся в первом компоненте остаток бывшего окончания *-n* уже не рассматривается как самостоятельная морфема или ее часть. Вследствие сказанного по образцу форм *baltánja*, *baltánsias* в некоторых говорах образовались формы дат. п. ед. ч. ж. р. *báltanjai* (Скаудвиле), твор. п. мн. ч. м. р. *baltansiais* (= *baltansēs*) (*Šaukēnai*).

По-видимому, таким же образом возникла и форма именительного падежа единственного числа местоименного прилагательного, встречающаяся в календарях Ивинского; например, *didīnsis* (см. календарь 1846 г., стр. 10), *tretīnsis* (1848, стр. 25), *paskutīnsis* (1850, стр. 29) вместо *didysis*, *tretysis*, *paskutīnysis*; ср. вин. п. ед. ч. *didinjì* (1847, стр. 62).

3) Во многих падежных формах местоименного прилагательного второй компонент начинается звуком *j*; например, *baltóji*, *báltojo*, *baltájam*, *báltajai*, *báltajì*, *báltajq*, *baltúoju*, *baltája*, *baltājame*, *baltōjoje*, *baltieji*, *baltūjì*, *du baltúoju*, *dvi baltieji*. В говорах восточной Литвы к указанным формам следует добавить еще формы иллатива *baltājan*, *baltōjon*, дат. п. *baltiejiem*, *baltōjom* и твор. п. *baltōjom*. Лишь в некоторых падежных формах *j* отсутствует, так как он исчез в положении после согласного *s*; например, *báltosios*, *baltōsios*, *baltūosius*, *baltq̄sias*, *baltaisiāis*, *baltuōsiuose*, *baltōsiōse* (произносятся: *báltos'os*, *baltúos'us*, *baltás'as* и т. д.).

Под влиянием системы в дзукских говорах возникли формы, в которых согласный *s* заменен ютом: им. п. мн. ч. ж. р. *báltojos*, род. п. ед. ч. ж. р. *baltōjos*, вин. п. мн. ч. м. р. *baltuōjos*, то же ж. р. *baltájas*. Например:

а) им. п. мн. ч.: *šitos báltojos vištos dēdzingesnēs* (Leipalingis), *oi ūlyčios oi placiojos*, *gražiai mergu nušluotos* (Perloja, TŽ I 269), *is šalalių jojo viernojos slūgelės* (Eišiškės, TD IV 65, Nr. 162), *jos šakelės, jos žaliojos žemėli parėmì* (Perloja, TŽ I 226);

б) род. п. ед. ч.: *ar margōjos dar nepašērai?* (Leipalingis), *niekas nenuramins manojos širdelės* (Rodūnė, TD IV 174, Nr. 429), *oi nei pragēriou nei prauliojou žaliojos rūtelės* (Perloja, TŽ I 247);

в) вин. п. мн. ч. м. р.: *skolyk man sparnelius*, *skolyk man raibuojus* (Perloja, TŽ I 243), *gyke, gyke, martela, palsūjus joutelius* (Valkininkai, TŽ I 181);

г) вин. п. мн. ч. ж. р.: *palaisk margójas an dobilių* (Leipalingis), *per girelas, per tamsiajas, per pievelas, per žaliajas* (Merkinė, TŽ II 327), *ploukiou per marias, tai per giliajas* (Merkinė, TŽ II 378), *oi grūžyk šyvus žirgelius ir valniąjas* (Merkinė, TŽ II 383), *per lankelas, per žaliąjas teka-ploukia* Merkinėlis (Merkinė, TŽ II 391).

Ср. еще диалектн.: *baltàjis* (= *baltasis*) (Gimtoji kalba 1936, стр. 34), *Baltajis*, *Juodajis* (озера на юге Литовской ССР), *baltūjis* (= *baltasis*) (см. DLKŽ I 505), *baltūjis* (= *baltasis*) (Ériškiai — название рыбы, см. DLKŽ I 505), *pažystamais* (см. BB VII 163).

4) Формы им. п. ед. ч. ж. р. *baltōji*, род. п. ед. ч. м. р. *báltojo* и местн. п. ед. ч. ж. р. *baltōjoje* имеют сочетание звуков *-oj-*, образованное из окончания или остатка окончания (гласного *o*) первого компонента и *j* второго компонента. В некоторых восточных говорах указанная группа имеет еще формы дат. п. ед. ч. ж. р. *báltøjai* и илл. ед. ч. ж. р. *baltōjon*.

В сознании говорящего гласный *o* перед *j* в данных формах уже не является окончанием первого компонента; ср. соответствующие формы простого прилагательного *baltà* — ‘белая’, *bálta* — ‘белого’, *báltōj* — ‘в белой’, *báltai* — ‘белой’, *baltōn* — ‘в белую’. Вместе с *j* гласный *o* здесь является лишь своеобразной группой звуков, своеобразным суффиксом *-oj-*, находящимся в местоименных формах единственного числа между корнем прилагательного *balt-* и окончаниями *-a*, *-o*, *-oje*, *-ai*, *-on*.

В некоторых говорах суффикс *-oj-* обобщен также для других падежных форм единственного числа. Например:

а) дат. п. ед. ч.: *duok ést didžiójui paršui* (Šakyna), *tai aš jau vargsiu ik giliojam grabeli* (Rodūnė, TD IV 174, 428), *báltuojū gaidžiū kaže-kas üdega ešruove* (Laukuva);

б) вин. п. ед. ч. м. р.: *ir prijojo báltojì berželì* (Karsakiškis), *griaus-mas nuspyrā dìdžiojì ūžolq* (Skapiškis);

в) вин. п. ед. ч. ж. р.: *žaloj vis bado márgojq* (Leipalingis), *padiuk báltojù skarely* (Karsakiškis), *duos Dzievulis kaitrojù dzienelì* (Kalesninkai, TD IV 49, Nr. 127);

г) твор. п. ед. ч. ж. р.: *vakar su márgoju turgun buvau* (Leipalingis), *mam, apsirišk bóltoju skarely* (Skapiškis), *ar ons su raudúoje išvaževa* (Rietavas)⁸⁶.

5) В современных жемайтских говорах употребляемые местоименные формы дательного и творительного падежей двойственного числа образованы от местоименной формы именительного и винительного падежей двойственного числа путем прибавления *-m*.

Ср. местоименные формы именительного-винительного и дательного-творительного в Салантайском (Salantai) говоре:

а) им.-вин. п. дв. ч.: *atèdaviau ɔbagou abodo senòujo* (*senójo*) šarko; *nukertuom abèdvę kriavéję* (= *kreivqsiás*) poše;

б) твор. п. дв. ч.: *tyms dom senòujom oužoulom apgeniek šakas*; *abodom jaupòjom nu šnapses pynies kuojës*; *nedouso nieka ni vēinā ni abèdvem pekiéjëm buobëm*;

в) дат. п. дв. ч.: *geriau gali sotartë so dom nelabòjom nego so vēino šventoujø*; *rokavaus ne so vēino*; *bet so dvëm stuoréjëm muotréškem*.

В некоторых жемайтских говорах встречаются местоименные формы родительного падежа двойственного числа, образованные также от формы именительного-винительного двойственного числа путем прибавления

⁸⁶ Явление превращения группы *-oj-* в своеобразный суффикс в говорах восточной Литвы еще в 1903 г. обнаружил французский языковед Р. Готье в своем известном труде о Буйвидзском говоре (см. R. Gauthiot. Le parler de Buividze. Paris, 1903, стр. 47—48). Однако указанный вывод он сделал на основании ошибочных данных о том, что как будто в Буйвидзском говоре (в совр. Пандельском р-не) местоименные прилагательные не являются продуктивной категорией, редко употребляются, что они сохранили только пять падежных форм (род. п. ед. ч. м. р. *báltojo*, то же ж. р. *baltōjos*, дат. п. ед. ч. м. р. *baltōjam*, илл. ед. ч. м. р. *baltōjan*, род. мн. ч. *baltōju*). На самом деле в данном говоре местоименные прилагательные широко употребляются и имеют полные парадигмы. Форма род. п. мн. ч. *baltōjč* является недоразумением, так как она неизвестна не только Буйвидзскому говору, но, по нашим сведениям, и вообще отсутствует в литовских диалектах.

окончания *-ms*, например *baltuojums* < им. п. дв. ч. *baltuoju+ms*, ж. р. *baltiejims* < им. п. дв. ч. *baltieji+ms*.

7. Дальнейшая судьба флексии первого компонента. В связи с изменениями в падежных формах местоименных прилагательных в диалектах флексии обоих компонентов сильно отдалились от соответствующих флексий простого прилагательного и местоимения *jīs*. Так, в парадигме местоименных прилагательных Биржайского говора (*Biržai*) лишь только формы родительного падежа мужского рода сохранили ярко выраженный облик первоначального образования данных форм; например, род. п. ед. ч. *báltaja* (ср. *bálta* — 'белого' + *jā* — 'его'), род. п. мн. ч. *baltūjč*.

Все остальные падежные формы местоименных прилагательных в Биржайском говоре имеют компоненты, из которых один или оба не совпадают с соответствующими формами простого прилагательного и местоимения *jīs*: им. п. ед. ч. *báltasē* (ср. *bálts+jis*, *jisē*), *baltójō* (ср. *báltē+jī*, *jīnē*); им. п. мн. ч. *baltiéjō* или *baltiejē* (ср. *báltē+jē*), *báltosíjōs* (ср. *báltos+jōs*); род. п. ед. ч. *baltōsios* (ср. *báltos+jōs*); дат. п. ед. ч. *baltájam* (ср. *baltám+jám*), *báltajē* (ср. *báltē+jái*); дат. п. мн. ч. *baltiesem* (ср. *baltiem+jiem*), *baltósiom* (ср. *baltóm+jóm*); вин. п. ед. ч. *baltaijī* (ср. *báltū+jī*), *báltajū* (ср. *báltū+jā*); вин. п. мн. ч. *baltúosb̄s* (ср. *báltub̄s+jōs*), *baltásb̄s* (ср. *báltub̄s+jós*); твор. п. ед. ч. *baltójō* или *baltúojo* (ср. *báltē+jō*); *baltújō* (ср. *báltē+jō*); твор. п. мн. ч. *baltáisēs* или *baltaisēm* (ср. *baltēs+jēls*), *baltōsiom* (ср. *baltōm+jōm*); местн. п. ед. ч. *baltajam̄* (ср. *baltam̄+jam̄*), *baltōjē* (ср. *baltō* или *baltai+jō*, *jái*); местн. п. мн. ч. *baltuōsios* (ср. *baltuōs+juōs*), *baltōsios* (ср. *baltōs+jōs*).

Таким образом, в Биржайском говоре оба компонента местоименных прилагательных сохранили ярко выраженные окончания только в формах родительного падежа мужского рода. Следовательно, связь компонентов с соответствующими формами простых прилагательных и местоимения *jīs* является очень слабой. Но благодаря тому, что в указанном говоре наряду со вторым компонентом употребляется самостоятельное местоимение *jīs* — 'он', местоименные прилагательные сохранили облик сложного слова.

В жемайтских говорах, а также в соседних северных западноаукштайтских говорах, отсутствует самостоятельное местоимение *jīs*. Оно заменено местоимением *apas*. Ввиду сказанного для носителей указанных говоров второй компонент местоименного прилагательного не является этимологически ясным. Его падежные формы, сливвшись с окончаниями самого прилагательного, образовали своеобразную "местоименную" флексию, четко отличающуюся от флексии простого прилагательного. Таким образом, в сознании носителя диалекта местоименные прилагательные из сложных слов превратились в простые, имеющие очень долгие, двухсложные окончания.

Для иллюстрации сказанного прилагаются парадигмы местоименных и простых прилагательных жемайтского Лаукувского (*Laukuva*) и северного западноаукштайтского Шакинского (*Šakyn*) говоров.

a) Лаукувский говор

Мужской род

Женский род

Единственное число

Им.	<i>bált-āsēs</i>	<i>bált-s</i>	<i>balt-ūoje</i>	<i>bält-a</i>
Род.	<i>bált-uoje</i>	<i>bált-a</i>	<i>balt-ūosēs</i>	<i>bált-uos</i>
Дат.	<i>bált-uojū</i>	<i>balt-ām</i>	<i>balt-uojē</i>	<i>balt-ā</i>

Вин.	<i>bâlt-ōnje</i>	<i>bâlt-a</i>	<i>bâlt-ōnje</i>	<i>bâlt-a</i>
Твор.	<i>bâlt-ūjo</i>	<i>bâlt-ō</i>	<i>bâlt-ōnje</i>	<i>bâlt-a</i>
Местн.	<i>balt-amēnje</i>	<i>bâlt-ame</i>	<i>balt-ūðjuo</i>	<i>bâlt-u</i>

Множественное число

Им.	<i>balt-ŷjē</i>	<i>bâlt-e</i>	<i>bâlt-uosēs</i>	<i>bâlt-as</i>
Род.	<i>balt-ūjo</i>	<i>bâlt-ū</i>	<i>balt-ūjo</i>	<i>bâlt-ū</i>
Дат.	<i>balt-ŷsym</i>	<i>balt-ŷms</i>	<i>balt-ūosiuoms</i>	<i>balt-ūoms</i>
Вин.	<i>balt-ūsios</i>	<i>bâlt-os</i>	<i>balt-ōnses</i>	<i>bâlt-as</i>
Твор.	<i>balt-āsēs</i>	<i>bâlt-ās</i>	<i>balt-ūosiuoms</i>	<i>bâlt-uoms</i>
Местн.	<i>balt-ūsiūse</i>	<i>bâlt-ūse</i>	<i>balt-ūosiuose</i>	<i>bâlt-uose</i>

б) Шакинский говор

Мужской род

Женский род

Единственное число

Им.	<i>balt-āsis</i>	<i>bâlt-s</i>	<i>balt-ōji</i>	<i>bâlt-a</i>
Род.	<i>bâlt-oje</i>	<i>bâlt-a</i>	<i>balt-ōses</i>	<i>bâlt-os</i>
Дат.	<i>bâlt-ojui</i>	<i>balt-ām</i>	<i>bâlt-ājei</i>	<i>bâlt-āi</i>
Вин.	<i>bâlt-āji</i>	<i>bâlt-a</i>	<i>bâlt-āje</i>	<i>bâlt-a</i>
Твор.	<i>balt-ūoju</i>	<i>bâlt-u</i>	<i>balt-āje</i>	<i>bâlt-a</i>
Местн.	<i>balt-amēje</i>	<i>bâlt-am</i>	<i>balt-ōjo</i>	<i>bâlt-o</i>

Множественное число

Им.	<i>balt-iejei</i>	<i>bâlt-i</i>	<i>bâlt-oses</i>	<i>bâlt-as</i>
Род.	<i>balt-ūjū</i>	<i>bâlt-ū</i>	<i>balt-ūjū</i>	<i>bâlt-ū</i>
Дат.	<i>balt-iesēm</i>	<i>balt-īem</i>	<i>balt-ōsiom</i>	<i>balt-ōm</i>
			<i>balt-ōsium</i>	<i>balt-um</i>
Вин.	<i>balt-ūsius</i>	<i>bâlt-us</i>	<i>balt-āses</i>	<i>bâlt-as</i>
Твор.	<i>balt-āiseis</i>	<i>bâlt-ais</i>	<i>balt-ōsiom</i>	<i>bâlt-om</i>
			<i>balt-um̄sium</i>	<i>bâlt-um</i>
Местн.	<i>balt-ūosiuos'</i>	<i>bâlt-uos'</i>	<i>balt-ōsios'</i>	<i>bâlt-os'</i>
			<i>balt-ūosiuos'</i>	<i>bâlt-uos'</i>

Различия по числу слогов между формами местоименного и простого прилагательного сохранились: каждая падежная форма местоименного прилагательного на один слог длиннее, чем соответствующая падежная форма простого прилагательного. Данное различие сохранилось во всех диалектах литовского языка⁸⁷. В этом отношении и наиболее развившиеся диалектные формы местоименного прилагательного сохранили более древний облик, чем соответствующие формы современных латышского и славянских языков.

8. Исчезновение местоименных прилагательных в некоторых диалектах. Не во всех диалектах современного литовского языка местоименные прилагательные употребляются одинаково широко. В одних они употребляются очень часто, в других — наоборот, не являются обязательными, очень редко употребляются, чаще встречаются лишь некоторые застывшие падежные формы, превратившиеся в наречия или существительные.

⁸⁷ Частично исключением являются формы типа *gerō* Тверечского говора (см. стр. 61).

Обильно употребляются местоименные прилагательные в жемайтских и к ним примыкающих соседних аукштайтских говорах⁸⁸. В восточной Литве они наиболее продуктивны в дзукских говорах на север и восток от Вильнюса, а также в северной части восточноаукштайтского наречия, т. е. в окрестностях населенных пунктов Švenčionys, Linkmenys, Mielagėnai, Tverečius, Ignalina, Daugėliškis, Dūkštas, Dusetos, Utēna, Vyžuonos, Svėdasai, Skapiškis, Kupiškis, Karsakiškis, Salamiestis, Biržai и др. Оба указанные массива диалектов (т. е. жемайтский и восточной Литвы), широко употребляющих местоименные прилагательные, соприкасаются между собою на севере, вдоль границы Латвийской ССР.

Местоименные прилагательные мало употребляются в южных и средних аукштайтских говорах, особенно в южной части восточно-аукштайтского и среднеаукштайтского наречия, в так называемом Придзукском и некоторых дзукских говорах, т. е. в окрестностях населенных пунктов Vadokliai, Ramygala, Raguva, Ukmergė, Pabaiskas, Gelvonai, Musninkai, Kulva, Kaišiadorys, Žasliai, Prienai, Jieznas, Punia, Butrimonys, Valkininkai, Marcinkonys, Varėna, Merkinė, Leipalingis, Veisiejai, Alytus и др.

В указанных диалектах встречаются лишь некоторые, обычно изолированные формы субстантивированных местоименных прилагательных; например, *margója*, *juodója*, *dvylója*, *žalója* (название коров), *deglója* — 'свинья', *bérasai*, *báltasai* — 'лошади' и т. п. Иногда встречаются не только формы иминительного, но и других падежей, особенно ставшие наречиями; например, *iš tikrūjų* — 'на самом деле', *bégo iš paskutiniūjų* — 'бежал изо всех сил', *gyvena gerūju* — 'они живут в дружбе', *piktūoju*, *padarė ant greitūjų* — 'сделал наспех', (*Ukmergė*), *iš paskutiniōsios* — 'изо всех сил' (*Vadokliai*), *iš greitōsios* — 'наспех' (*Vadokliai*) и т. п.

В фольклоре, особенно в древних народных песнях, в указанных диалектах местоименные прилагательные представлены довольно широко.

В некоторых говорах еще возможно восстановление полной парадигмы местоименных прилагательных, в других — лишь части парадигмы. Так, в Лейпалингском говоре (*Leipalingis*) можно восстановить парадигму лишь женского рода и то уже не полностью (в этом говоре местоименные прилагательные обычно употребляются для названия коров по масти).

Единственное число		Множественное число	
Им.	<i>margój</i>	<i>márgojos</i> , <i>márgosios</i>	
Род.	<i>margōjós</i> ,	<i>margōsios</i>	<i>margūjū</i>
Дат.	<i>márgojai</i>	<i>margójomí</i> , <i>margójom</i> ,	<i>margósiomi</i> , <i>márgosiom</i>
Вин.	<i>márgojū</i> , <i>márgūjū</i>	<i>márgojas</i>	
Твор.	<i>márgoju</i>	<i>margójom</i>	
Местн.	—	—	
Эват.	<i>mařgoj</i>	<i>márgojos</i> , <i>márgosios</i>	

В тех диалектах, в которых местоименные прилагательные как определенная грамматическая категория в какой-то мере исчезли, есть многочисленные следы их наличия в прошлом не только в области лексики диалекта (сохранились субстантивированные и адвербализованные формы местоименных прилагательных), но и в системе склонения. Так, в указанных говорах очень широко употребляются формы местоимения *tój* — 'эта', *tíej* — 'эти', *su túoj* — 'с этим', *su tój* — 'с этой' (ср. соответствующие местоименные формы *tóji*, *tíeji*, *túoju*, *tója*)⁸⁹. Например:

⁸⁸ Они также широко употреблялись в Прусской Литве.

⁸⁹ Следует заметить, что в тех диалектах, в которых местоименные прилагательные употребляются часто, иногда встречаются местоименные формы в парадигмах

а) им. п. ед. ч.: *toj* močeka ragana (Kabeliai, TD IV 218, Nr. 512), *šitoj* dziena dar šaltesnė (Leipalingis), oi kad *joj* paklotū minkštū patałelī (Valkininkai, TD IV 100, Nr. 251);

б) твор. п. ед. ч. м. р.: *su tuoj* vežimu toli nuvažiuosi (Leipalingis), *su anuoj* keliali jin paažari aic (Leipalingis);

в) твор. п. ед. ч. ж. р.: *su tāj* dzienu jir dingo viskas (Leipalingis), nesiterliok *su tāj* vištu (Ukmergė), karalius *su tuoj* Aležiuiku apsiženino (Kabeliai, TD IV 218, Nr. 512), *su katriojoj* ca mergaiti dar pašokus (Leipalingis);

г) им. п. мн. ч.: *ciej* loukai jau ne mūs sodzous (Leipalingis), eina *jiej* abudu verkdam (Kabeliai, TD IV 218, Nr. 512), nežuderėjo (=neuzderėjo) *maniej* javeliai (Rodūnė, TD IV 173, Nr. 428), *katriej* ca jūs drūcausi (Leipalingis).

Часто указанные окончания встречаются и в системе склонения простых прилагательных. Например:

а) им. п. ед. ч.: *toj šaltōj žiema* kap buvo, tai visi sodai iššalo (Leipalingis), tai mocina mana, tai *mieliausioj* (Rodūnė, TD IV 172, Nr. 428), pavuogėla *nuovožniausioj*, šlovėla *nuodzidziausioj* (Valkininkai, TD IV 171, Nr. 426), tu, mergela, *nai jauniausioj* (Asava, TD IV 109, Nr. 277);

б) им. п. мн. ч.: *ateinanciej* metai bus derlingesni (Leipalingis);

в) твор. п. ед. ч.: *ar tu šituoj krātancuoj* mašinu atvažavai (Leipalingis).

По аналогии с указанными формами иногда добавляется *-j* и к окончанию употребляемых форм местоименного прилагательного; например: *neprakalbēj*, *mergele*, *neprakalbēj jaunojoj* (Valkininkai, TD IV 62, 63), *laškelē mana*, *margojoj mana kam mes abidzvi teksim?* (Valkininkai, TD IV 27, Nr. 68), *neverk*, *sesula*, *mūsų jaunojoj* (Rodūnė, TD IV 227, Nr. 521).

В некоторых диалектах существительные с основой на *-o* (индоевр. основа на *-ā*) для творительного единственного числа имеют окончание *-ai*; например, *sa savai bobai* — 'со своей бабой' (Zietela), *su lazdai* — 'с палкой' (Gelvonai). Следует полагать, что данное окончание восходит к *-aja*, т. е. перенесено в систему склонения существительного из местоименных прилагательных (ср. ArT 70 BS II 49, MLLG IV 168, K. Brugmann, A. Leskien. Litausche Volkslieder und Märchen, 1882, стр. 304, 305).

Так как в указанных говорах местоименные прилагательные не составляют строгой системы, отдельные сохранившиеся их формы нередко подвергаютсяискажению. Иногда встречаются падежные формы, выяснение условий образования которых представляет собой определенные трудности; например, *tēvas sunkiejas ir lengviejus* (<диалектн. *sunkiejis*, *lungviejis*) *darbus dirba* (Gelvonai), *jis į krikštynas gerūosnus* (<диалектн. *geruosnas*) *susikvietė* (Šlapaberžė), род. п. ед. ч. *didžiaso sviesto* (Birštonas), *šaltysai* (<диалектн. *šaltysa*) *vėjas ručia* (Ukmergė), *su baltųjų runkelių sunkusiaiš* *darbeliai* (Valkininkai, TD IV 40, Nr. 101), *ši pirmasi* *josim in karuži*, *mėlynasi pas jaunu mergely*, *mėlynasi pas jaunu mergelę*, *a margasi* — *in žalį laukelį* (Gelvonai)⁹⁰.

В настоящее время трудно определить, когда начался процесс постепенного исчезновения местоименных прилагательных в указанных диалектах. Нам кажется возможным мнение, что этот процесс имел место

простых указательных местоимений. Так, в Шакинском говоре (Šakyna) твор. п. ед. ч. ж. р. имеет форму *tāja*, *šiāja*, в то время как остальные падежи той же парадигмы местоименных форм не имеют. После исчезновения местоименных прилагательных в указанных диалектах местоименные формы, имевшиеся в парадигмах простых указательных местоимений, сохранились.

⁹⁰ См. еще LM II 183.

еще до появления первых письменных памятников, так как в отдельных памятниках XVI—XVII вв. объем употребления местоименных прилагательных не одинаков. Так, например, в „Пунктах“ К. Ширвидаса⁹¹ чаще встречаются только обычные формы субстантивированных местоименных прилагательных. Из 104 примеров, имеющихся в первом томе, подавляющее большинство, а именно 86, имеют форму именительного или родительного падежа множественного числа мужского рода и лишь 18 примеров имеют другие падежные формы (по три примера им. и род. п. ед. ч., пять примеров вин. п. ед. ч., семь — вин. п. мн. ч., ни одного примера дат., твор. и местн. падежей!)

В лексическом отношении местоименные прилагательные К. Ширвидаса также не представляют разнообразия. В подавляющем большинстве это существительные, религиозные термины; например, *šventasis* — 'святой' (38 примеров), *prigimtasis* — 'врожденный' (8), *prakeiktasis* — 'проклятый' (5), *senasis* — 'старый' (5), *piktasis* — 'злой' (4), *vyresnysis* — 'старший' (4) и другие, всего лишь 33 прилагательных.

В втором томе „Пунктов“ часто употребляются упомянутые формы местоимения *tój*, *tiej*, *túoj*, *táj* (в написании *toy*, *tiey*, *tuoy*, *tuy*).

Из сказанного следует, что в первой половине XVII в. в восточно-аукштайтском говоре К. Ширвидаса местоименные прилагательные уже не имели широкого употребления, подвергались исчезновению.

В процессе исчезновения местоименные прилагательные заменяются другими грамматическими средствами. Наиболее часто на месте местоименных прилагательных встречаются простые прилагательные с суффиксами *-ikas*, *-ulis*, *-utis*, *-élis* и другими, т. е. с теми суффиксами, которые по своему значению более приближаются к значению местоименных прилагательных⁹². Например:

a) *mélynükai* lubinai (вм. *mélynieji* lubinai) (*Veisiejai*), *baltükai* dobilai (*Garliava*), *geltonükai* kviečiai (*Garliava*), *antrükai* (-*antrieji*) vikiai (*Prienai*), *baltüké* šiandien be kiaušinio (*Rudamina*), *aštuntukù* (т. е. 'поездом, который отправляется в 8 часов') nespéjau, tai išvažiavau *dešimtukù* (*Keturvalakiai*), *siaurükas* traukinys (*Ukmerge*);

б) *Kur mano aštrulis* peilis (*Rudamina*), *reikia surinkti* *birulès* aguonas (*Poringis*), *juodulis* debesys nugulė ant Alytaus (*Nemunaitis*), *saldulis*, *rūgštulis*, *kartulis* obuolys (*Naujamiestis*);

в) *Jau laukutj* (arkli) pamainiau ant geresnio (*Rodūnė*);

г) *Mazélis* šuo jkando (*Vadokliai*), *maželis* pirštas (*Punia*), *ilgänéliai* linai (*Grūžiai*), grūšiom žydiut sėja greituteliūs (=ankstynuosius) *žirnius* (*Skapiškis*).

Значительно реже указательное местоимение употребляется наряду с простым прилагательным на месте местоименного прилагательного; например, *jo tą margą karvę pirk* (*Kaišiadorys*), *jis to raudono sviedinio jau negaus* (*Kaišiadorys*). Однако встречаем также случаи, когда ощущение различия значений так сильно стерлось, что на месте местоименных прилагательных употребляются простые прилагательные.

Исчезновение местоименных прилагательных в диалектах показывает, что в настоящее время пути развития местоименных прилагательных литовского языка расходятся с путями развития этой грамматической категории в славянских языках: они не только не вытесняют простых прилагательных из сферы их употребления, но в части говоров сами постепенно исчезают.

⁹¹ Вследствие буквального перевода с польского языка местоименные прилагательные также редко употребляются в Постилле Моркунаса (1600 г.).

⁹² Прилагательные с этими суффиксами в литовском языке не могут иметь местоименные формы, так как функцию „местоименности“ несет на себе суффикс.

В. В. ИВАНОВ

К ЭТИМОЛОГИИ БАЛТИЙСКОГО И СЛАВЯНСКОГО НАЗВАНИЙ БОГА ГРОМА

К числу этимологических вопросов, существенных для определения родственных связей балтийских и славянских языков, принадлежит проблема происхождения балтийских и славянских форм имени бога грома.

В отличие от славянского **pergunъ* балтийские названия грома и бога грома, восходящие к основе **perk-ūn-*, могут быть непосредственно сопоставлены с производными от основы **perk-ūn-*, общими для германских и кельтских языков. На это соответствие, давно уже обнаруженное, особое внимание обращается в последних монографиях В. Порцига¹ и Х. Краэ², посвященных исследованию индоевропейских диалектов. Оба автора видят в данной изоглоссе одно из свидетельств связей балтийских языков с „западноиндоевропейской“ или „древнеевропейской“ группой³.

В итальянских языках, относимых В. Порцигом и Х. Краэ к той же группе индоевропейских диалектов, основа **perkʷūn-* не засвидетельствована. Но в латинском (как и в германских языках) сохранилось образованное от основы **perkʷ-* название дуба (лат. *quercus*), которое родственно упомянутым выше словам кельтских, германских и балтийских языков и представляет большой интерес для исследования семантических связей между этими словами. С одной стороны, название дуба, отраженное в лат. *quercus* и лангобард. *fereha*, можно сопоставить с кельт. ἥρκος — ‘дубовый лес’ (греч. δρυμός)⁴ и с названием лесистой возвышенности, горы, к которому восходит готск. *faírguni* <**perkʷūnīo-*>, кельт. *Hercynia* (ср. одинаковое употребление кельт. *Hercynia* в *Hercynia silva* и герм. *Virgundia* в *Virgundia waldus*). С другой стороны, это название дуба можно сравнить с балтийским именем бога грома (лит. *Perkūnas*, лтш. *Pērkons*), так как сохранились многочисленные свидетельства связи культа этого бога с культом дуба. Еще в XVI—XVII вв. рядом авторов было отмечено, что литовцы поклоняются дубу как священному дереву бога грома Перкунаса⁵. Отражение этих старинных религиозных представлений можно видеть и в ли-

¹ W. Porzig. Die Gliederung des Indogermanischen Sprachgebiets. Heidelberg, 1954, стр. 120 и 196.

² H. Krahe. Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954, стр. 42—43 и 68—69.

³ Относительно истолкования этих диалектных связей в книгах В. Порцига и Х. Краэ см. В. В. Иванов. Новая литература о диалектном членении общевиндоевропейского языка. „Вопросы языкоznания“, 1956, № 2, стр. 114.

⁴ Кельтская гlossena в греческом тексте, обнаруженная А. Майером; см. А. М а у е р. Zwei Inselnamen in der Adria, I. Kerkyra. KZ, Bd. 70, H. 1/2, Göttingen, 1951, стр. 80. В книгах В. Порцига и Х. Краэ это открытие А. Майера не использовано.

⁵ W. Mannhardt. Letto-Preussische Götterlehre. Riga, 1936, стр. 435, 438, 534, 535 и 548.

товском поверии о том, что молния никогда не ударяет в дуб⁶. В Беде (в районе Купишкиса) имелся большой дуб, называвшийся „дубом Перкунаса“ (*Perkūno ažuolas*)⁷. Сходные указания можно найти и в латышских источниках. В 1836 г. И. Г. Бютнер записал рассказ о том, что в Элеке была некая Озолбирзе (*Ozolbirze* — букв. ‘дубовая роща’), где стоял дуб Перкона (латышского бога грома); эта роща считалась священной⁸.

На основании венетского племенного названия *Quarquenī* можно сделать вывод о том, что название дуба, родственное балтийскому имени бога грома, имелось не только в германских и латинских языках, но и в венетском⁹. Поскольку венетский язык был связан как с латинским и германскими языками, так и с иллирийским, значительный интерес представляет гипотеза А. Майера, согласно которой в древнем названии острова Корфу — *Κέρκυρα* отражается иллирийское слово, образованное от данного названия дуба¹⁰. В лат. *quercus*, венетск. *Quarquenī* и (по А. Майеру) в иллир. *Κέρκυρα* наблюдается закономерное для итальянских и кельтских языков изменение индоевропейского **p* в **kʷ* под влиянием **kʷ*, с которого начинается последующий слог. Следовало бы ждать, что подобное изменение произойдет и в кельтском, но в кельтских формах *'Arχύνια*, *Hercynia* ожидаемая ассимиляция не обнаруживается. На этом основании иногда делается вывод о том, что слово **perkʷupiā* было заимствовано кельтскими языками до исчезновения индоевропейского **p* в кельтском, но после перехода **p* > **kʷ* под влиянием последующего **kʷ*. В качестве источника заимствования в последнее время часто называется иллирийский язык¹¹. Однако достоверное отражение **perkʷupiā* в иллирийском до настоящего времени не найдено: в *Κέρκυρα* и других названиях, сопоставляемых А. Майером и Ю. Покорным с *quercus*, представлены иные суффиксы. Вместе с тем следует отметить, что иллирийское происхождение этих названий еще нельзя считать строго доказанным¹², а фонетический облик анализируемых А. Майером слов (с ассимиляцией начального **p*-) никак не может помочь в объяснении отсутствия ассимиляции в кельтском.

Более вероятной представляется другая гипотеза, согласно которой особенности кельтской формы можно объяснить закономерностями раз-

⁶ J. Balys. *Perkūnas lietuvių liaudies tikejimuose*. „Tautosakos darbai“, III, Kaunas, 1937, стр. 197 (запись № 802) и 229.

⁷ Там же, стр. 163 (№ 241). Ср. также опубликованную в 1926 г. легенду о том, что в *Perkūnija* (название, точно соответствующее кельт. *Hercynia*) находился большой дуб, под которым стоял бог Перкунас (Там же, стр. 163, № 246). Проф. Балис считает, однако, достоверность этой легенды сомнительной (см. там же).

⁸ „Latviešu tautas tīcējumi“, sakrājis un sakārtojis Prof. P. Smits. *Latviešu folkloras krātuvies Materiali*, A. 8, III. Rīgā, 1940, стр. 1401 (№ 23123, со ссылкой на I. G. Bütner, „Inland“, 1836, стр. 139).

⁹ См. W. Porzig. Указ. соч., стр. 95; A. Mayer. Указ. соч., стр. 85—86.

¹⁰ A. Mayer. Указ. соч., стр. 76—96. См. ниже о возражениях против этой гипотезы. Ср. также положительную оценку этой гипотезы в статье М. Майрофера: M. Mayrhofer. Indogermanische Wortforschung seit Kriegsende. „Studien zur indogermanischen Grundsprache“, herausgegeben von W. Brandenstein. Wien, 1952, стр. 40.

¹¹ J. Pokorný. Urgeschichte der Kelten und Illyrier. Halle, 1938, стр. 183; W. Porzig. Указ. соч., стр. 120; ср. A. Mayer. Указ. соч., стр. 95. Следует заметить, что В. Пордиг в данном случае отступает от того объяснения, которое он дает всем остальным германо-кельтским изоглоссам, рассматриваемым в его книге как результат диахорического кельтского влияния на германские языки (ср. W. Porzig. Указ. соч., стр. 123).

¹² О слове *Κέρκυρα* см. V. Pisani. *Linguistica generale e indeuropea*. Milano, 1947, стр. 99. См. также замечания Х. Краэ о недостоверности гипотез Ю. Покорного и А. Майера: H. Krahe. Указ. соч., стр. 99. Проф. Л. Р. Пальмер считает, что чередование *er/or*, наблюдаемое в *Κέρκυρα*, *Κόρκυρα*, характерно для „эгейских слов“; см. L. R. Palmer. Mycenaean Greek texts from Pylos. „Transactions of the Philological Society,“ 1954, стр. 29, примеч. 2.

вития индоевропейских лабиовелярных. К этой точке зрения склоняется А. Майер, объясняющий отсутствие ассимиляции $p > k^w$ в кельтском *Hercynia* тем, что индоевропейское k^w перед *u* теряло лабиализацию¹³. Однако при такой формулировке данной закономерности нельзя дать удовлетворительного объяснения кельт. $\ddot{\epsilon}r\kappa\varsigma$, где суффиксальное *-i-* отсутствовало и не могло поэтому повлиять на предшествующий согласный. Но обе формы (*Hercynia* и $\ddot{\epsilon}r\kappa\varsigma$) можно объяснить, исходя из теории развития лабиовелярных, разработанной Е. Куриловичем¹⁴. По этой теории, фонема $*k^w$ в языках *centum* стала особой фонологической единицей в результате совпадения древнего сочетания фонем *велярный + i* с лабиализованным вариантом велярной фонемы в положении перед гласным переднего ряда. В обеих кельтских формах условия, необходимые для появления $*k^w$, отсутствуют, так как в *Hercynia* за $*k$ следует слововое *u*, а в $\ddot{\epsilon}r\kappa\varsigma$ за $*k$ следует гласный заднего ряда.

Напротив, в таких формах, как венетск. *Quarqueni* и лат. *quercus*, род. п. *quercūs* (где отражена архаичная основа одушевленного рода на $*-eu-$), появление лабиовелярных легко можно объяснить в соответствии с указанной теорией. Как отметил Е. Курилович, возникновение лабиовелярного в названии дуба **perku-* было вызвано особенностями склонения этого слова¹⁵. В кельтских языках это существительное не сохранилось, а структура образованных от него кельтских слов не способствовала развитию в них лабиовелярных. Различная судьба заднеязычного, следовательно, была связана с различиями в морфологическом строении слов, образованных от основы **perk-* в германских, латинском, венетском (и, возможно, иллирийском) и кельтских языках.

К этой основе присоединяются два основообразующих суффикса: суффикс *-i-* (например, в лат. *quercus*, род. п. *quercūs*) или тематический суффикс *-o-* (например, в лат. *quercorum*). Из них более архаичным является суффикс *-i-*¹⁶; переход названия дуба в тип тематических основ можно объяснить широким распространением тематических основ в относительно поздний период развития индоевропейских диалектов (причем к числу основ на **-o-* были отнесены многие названия деревьев).

Соотношение основ **perk-i-* и **perk-i-p-* напоминает тип индоевропейских гетероклитических существительных на **-i-r/n-*. Согласно приведенному выше объяснению, в названии *Кέρхира* можно видеть отражение основы **perk-i-r*, где **-ur* находится в закономерном чередовании с **-ip*. С типом образования данного имени существительного, выступающего в балтийских языках в качестве названия грома и бога грома, можно сравнить морфологический тип греч. *κεραυνός* — ‘молния’, употребляющегося также и в качестве имени бога¹⁷. По гипотезе Э. Бенвениста, это греческое слово в древности принадлежало к гетероклитическому

¹³ А. М а у е р. Указ. соч., стр. 84.

¹⁴ J. Kuryłowicz. *Etudes indo-européennes*, I. Kraków, 1935, стр. 1—26. Идея о позднем происхождении лабиовелярных, выдвинутая еще Х. Рейхельтом, получает в последнее время широкое признание, см. F. Specht. *Der Ursprung der Indogermanischen Deklination*. Neudruck Göttingen, 1947, стр. 317; E. H. Sturtevant and A. Hahn. *A. Comparative Grammar of the Hittite Language*, vol. I. New Haven, 1951, стр. 38—39 и 55.

¹⁵ J. Kuryłowicz. Указ. соч., стр. 17.

¹⁶ Об архаичности основы **perkwus* см F. Specht. Указ. соч., стр. 61. О типе склонения этой основы см. также F. Specht. *Zur indogermanischen Sprache und Kultur*. KZ, Bd. 64. Göttingen, 1937, стр. 10—11; F. Specht. *Sprachliches zur Urheimat der Indogermanen*. KZ, Bd. 66. Göttingen, 1939, стр. 57.

¹⁷ Об имени бога *Κεραυνός* см. H. Usener. *Götternamen*, 3 Aufl., Frankfurt/Main, 1948, стр. 286—288.

типу имен на *-uer/*-uen¹⁸, предположенному выше и для *perk-ur, *perk-un.

Для сопоставления с производными от *perkun- в германских языках особый интерес представляет эпитет Зевса — Κεραύνος¹⁹, образованный от κεραύνος. Тот же тип основы на *-unjo- представлен в готск. *faírguni* < *perk-únjo- и в др.-исл. *mjöllnir* < *meldunja- < *meldhu-njo- — ‘молот бога грома и молнии Тора’. Герм. *meldunja- по характеру суффикса отличается от родственных слов в других языках (prusск. *mealde* — ‘молния’, лтш. *milna* — ‘дубина, молот бога грома Перкона’, русск. молния и т. п.). Эту особенность *meldunja- В. Порциг объясняет влиянием *fergunja — ‘принадлежащий дубовому богу’²⁰ (т. е. богу грома). К той же семантической группе слов относится готск. *lauhtuni* — ‘молния’, которое по типу образования близко к готск. *faírguni* и отличается наличием суффиксального *-i- от родственного др.-сакс. *liomo* — ‘луч’, ‘свет’, др.-исл. *lióte* (суффикс *-ten, ср. лат. *lūmen* < *leuk-s-mp), ср. также др.-инд. *rutmá* — ‘блестящий’, ‘тохарск. В’ *lyukemo*²¹, хеттск. *lalukkima* — ‘свет’, ‘теплота’²² (суффикс *-mo).

Если основы на *-ni-, представленные в др.-исл. *mjöllnir* и готск. *lauhtuni*, характерны только для германских языков, то аналогичная основа, отраженная в готск. *faírguni*, имела более широкое распространение. Точное соответствие суффиксу *-uni- в герм. *fergunja- обнаруживается не только в кельт. *Hercynia*, но и в ряде родственных слов балтийских языков с тем же суффиксом. Основа *perkunīā, к которой восходит кельт. *Hercynia*, соответствует лит. *perkānīja*²³. Для сравнения с кельтским словом особенно существенно то, что в литовском наряду с именем нарицательным *perkānīja* — ‘гроза с громом и молнией’ имеется название лесной местности *Perkūnija*²⁴ (ср. кельт. *Hercynia* в *Hercynia silva*). Основа *perkūni-, от которой образовано *perkūnīā, была общей для всех балтийских языков (на что до настоящего времени не обращалось должного внимания). Показательно, что в древнейшем письменном памятнике балтийских языков — Эльбингском словаре — представлена основа *perkuni-: прусск. *Percunis* — ‘гром’ (‘Donner-Percunis’, словарь Эльбинга, стр. 50)²⁵. Родственная форма *rērkūnis* — ‘гром’ сохранилась в латышских говорах²⁶, ср. также латышские диалектные формы *rērkuonis*²⁷ и *rērkāunis*²⁸. Поскольку литовский суффикс -nē может быть возведен к *-ū-nī²⁹, отражение древней формы *perkūnī- можно видеть

¹⁸ Э. Бенвенист. Индоевропейское именное словообразование. М., 1955, стр. 141.
¹⁹ Н. Усенег. Указ. соч., стр. 36.

²⁰ W. Porzig. Указ. соч., стр. 195. См. там же, стр. 195—196, об одинаковой области распространения производных от *meldh- и *perkun-.

²¹ Об этом „тохарском В“ слове см. W. Krause. Westtocharische Grammatik, Bd. I. „Das Verbum“. Heidelberg, 1952, стр. 47 и 284.

²² О хеттск. *lalukkima* ср. E. Laroche. Recueil d'onomastique hittite. Paris, 1952, стр. 102.

²³ Это соответствие мимоходом отмечено А. Майером (A. Mayer. Указ. соч., стр. 81), не исследовавшим, однако, употребления данного слова в литовском.

²⁴ См. J. Balys. Указ. соч., стр. 163 (№ 246) (ср. выше о легенде, по которой в данной местности находился дуб Перкунаса). *Perkūnija* встречается и в качестве названия реки (J. Balys. Указ. соч., стр. 163, № 245).

²⁵ R. Trautmann. Die altpreussischen Sprachdenkmäler. Göttingen, 1910, стр. 83.

²⁶ K. Mülenbach. Latviešu valodas vārdnīca, III. Rīgā, 1927—1929, стр. 209; J. Endzelīns. Baltu valodu skājas un formas. Rīgā, 1948, стр. 88, § 127 в. О соответствии прусск. *percunis* в латышском ср. также J. Endzelīns. Latviešu valodas gramatika. Rīgā, 1951, стр. 320, § 154; его же. Senprūšu valoda. Rīgā, 1943, стр. 46.

²⁷ См. указанное выше место словаря К. Миленбаха; ср. J. Endzelīns. Latviešu valodas gramatika, стр. 328, § 159 а.

²⁸ См. словарь К. Миленбаха, т. III, стр. 208.

²⁹ P. Skardžius. Lietuvių kalbos žodžių daryba. Vilnius, 1943, стр. 281.

в лит. *perkūnė*, засвидетельствованном в старолитовских текстах XVI в.³⁰, и в названиях озер, вода которых, по преданию, обладала чудодейственной целебной силой³¹. Представляется, что эта литовская форма и другие приведенные выше слова балтийских языков, восходящие к **perkunī-*, имеют решающее значение для доказательства связи с данной группой слов древнеисландского имени матери бога Тора *Fjörgyn*. Семантическая связь балтийского имени бога грома и древнеисландского имени матери бога грома давно уже была доказана, но эта этимология не имела достаточного морфологического обоснования. Поэтому недавно против нее выступил Ф. Р. Шрёдер, указавший на то, что др.-исл. *Fjörgyn* не является точным соответствием лит. *Perkūnas*³². Однако, хотя умлаут в др.-исл. *Fjörgyn* свидетельствует о принадлежности этого слова к типу основ женского рода на *-i-, это не может считаться доводом, говорящим против связи *Fjörgyn* с производными от **perkunī-* в балтийских языках. Как отмечалось выше, отражение древней основы на *-i- можно видеть и в лит. *perkūnē*; следовательно, это литовское слово является точным соответствием др.-исл. *Fjörgyn* < **perkunī-*.

Приведенные выше факты показывают, что производные от основы **perkunī-* в кельтских, германских и балтийских языках чрезвычайно близки друг к другу в морфологическом отношении. Для определения семантической близости этих слов существенна, во-первых, их связь с названием дуба (см. выше), во-вторых, сходство в их употреблении в качестве названия горы. В научной литературе многократно отмечалось, что употребление кельт. *Hercynia* в качестве названия возвышенности совпадает с использованием германских производных от **perkunī-* в качестве названий лесистой возвышенности или горы (готск. *fairguni* и т. п.). Но при этом не привлекались аналогичные факты балтийских языков, представляющие исключительный интерес для исследования истории данной группы слов. На территории Литвы в ряде мест встречается название возвышенности *Perkūnkalnis*³³. Это название принадлежит к числу немногочисленных литовских топонимических названий, являющихся сложными словами³⁴ (*Perkūnkalnis* — букв. 'Перкунгора'). В сходном значении употребляется и суффиксальное производное от основы *perkūnī-* — *Perkūnine*³⁵. Поскольку лит. *griaūstmas* является синонимом существительных *perkūnas* и *perkūnija*, с указанными названиями можно сопоставить и название *Griausmo kalnas* — 'Гора грома'³⁶.

Для исследования истории этих названий большую ценность имеет записанное в Павищчисе предание о том, что на горе, называемой *Perkūnkalnis*, некогда жил Перкунас³⁷. В произведениях литовского народного творчества многократно встречаются рассказы о том, что Перкунас в древности жил на высокой горе, ср.: „Senovėje Perkūnas gyveno aukštame neprieiname kalne“³⁸ — 'В древности Перкунас жил на высокой неприступной горе'; „Seniau Perkūnas gyveno žemėje, aukštame kalne“³⁹ —

³⁰ P. Skardžius. Указ. соч., стр. 282.

³¹ J. Balsys. Указ. соч., стр. 161, № 205.

³² F. R. Schröder. Erce und Fjörgyn. „Erbe der Vergangenheit. Festgabe für Karl Helm zum 80. Geburtstage. 19 Mai 1951“. Tübingen, 1951, стр. 25—36. Ср. М. Mayrhofer. Указ. соч., стр. 40. X. Краэ (указ. соч., стр. 69) считает возможным сохранить эту этимологию, но не дает обоснования своей точки зрения.

³³ См. J. Balsys. Указ. соч., стр. 163 (№№ 233—236).

³⁴ P. Skardžius. Указ. соч., стр. 441—442.

³⁵ J. Balsys. Указ. соч., стр. 163 (№ 247).

³⁶ Там же (№ 237).

³⁷ Там же (№ 235).

³⁸ Там же, стр. 149 (№ 4).

³⁹ Там же (№ 5).

'Прежде Перкунас жил на земле, на высокой горе' и т. п. Эти данные литовского фольклора не использовались ранее при сравнительно-историческом изучении балтийского имени бога грома, между тем они помогают объяснить не только употребление родственных германских и кельтских слов, но и некоторые факты славянских языков.

В свете приведенных выше данных особенно важными представляются свидетельства древнерусских письменных памятников, из которых можно сделать вывод о том, что изображение славянского бога грома Перуна обычно стояло на возвышенности. Указание на то, что Перуна пришлось низвергать с горы, имеется уже в рассказе о крещении Руси, входившем в состав повествования о начале христианства на Руси⁴⁰. В „Начальном своде“ говорится о том, что Владимир поставил деревянное изображение Перуна на холме. В „Повести временных лет“ при рассказе о клятве Игоря упоминаются холмы, где стоял Перун⁴¹. Указанные три свидетельства о местонахождении идола Перуна в Киеве согласуются с летописным известием о том, что Добрый поставил в Новгороде Перуна над рекою Волховом. На сходство этих рассказов обратил внимание Е. В. Аничков, заметивший, что и в Новгороде „местом культа тоже избирается возвышенность“⁴².

Учитывая вероятную этимологическую связь имени Перуна с названиями лесистой горы и дуба, образованными от *perk-, Е. В. Аничков выдвинул правдоподобную гипотезу о том, что в Киеве первоначальным местом культа Перуна была священная роща на холмах, где находится Киево-Печерская лавра⁴³. В пользу этой гипотезы, кроме аргументов, приведенных Е. В. Аничковым, говорят данные, свидетельствующие о связи культа Перуна с поклонением священной дубраве и дубу-дереву Перуна. В этом отношении особенно важным представляется следующее место из датируемой 1302 г. грамоты галицкого князя Льва Даниловича, в которой определяются границы владений епископа перемышльского: „а отъ той горы до Перунова Дуба горѣ склонъ“⁴⁴. В этом случае древнее место поклонения Перуну оказывается связанным с дубом и с горой; вместе с тем следует отметить, что само выражение *Перунов дуб* находит точное смысловое соответствие в литовском *Perkūno qžiolas* — 'дуб Перкунаса'. То, что культ Перуна у славян был связан с поклонением возвышенным дубравам, подтверждается и анализом южнославянской топонимики⁴⁵. Южнославянские названия, в которых отражено имя Перуна, по большей части являются названиями лесистых холмов или гор⁴⁶. Аналогичные названия встречаются и в западнославян-

⁴⁰ Относительно аргументов, говорящих в пользу гипотезы о том, что это повествование является древнейшей частью летописного свода, см. Д. С. Лихачев. Русские летописи. М.—Л., 1947, стр. 63 и след.

⁴¹ Е. В. Аничков склонен был объяснить это последнее место, как позднейшую вставку, хотя учитывал и возможность другого объяснения (Е. В. Аничков. Язычество и Древняя Русь. „Записки историко-филологического факультета Петербургского университета“, ч. 117. СПб., 1914, стр. 322). Напротив, Л. Нидерле, полемизируя с Е. В. Аничковым, признает это место вполне достоверным: „Perun stál na chlume už před touto domnělou politickou reformou Vladimírovou, už za Igora r. 945“ (L. Niederle. Slovanské starožitnosti. Oddíl kulturní, dílu II, svazek I, Druhé vydání. V Praze, 1924, стр. 103, примеч. 3).

⁴² Е. В. Аничков. Указ. соч., стр. 321.

⁴³ Там же, стр. 323—324.

⁴⁴ См. L. Niederle. Указ. соч., стр. 97.

⁴⁵ На это обратил внимание И. Иванов, сопоставивший южнославянские данные с тем, что в летописях говорится о поклонении Перуну, стоявшему на холме: И. Иванов. Культ Перуна у южных славян. „Известия Отделения русского языка и словесности АН“, 1903, т. VIII, кн. 4, особенно стр. 168—169 и стр. 174.

⁴⁶ См. материал, собранный в указанной выше статье И. Иванова и в работе М. Филиповић „Трагови Перунова культа код јужних Словена“ („Земаљски музеј

вянской языковой области⁴⁷. Следует подчеркнуть то, что эти западнославянские и южнославянские названия холмов и гор являются точными соответствиями литовских названий гор типа *Perkūnkalnis*. Со сравнительно-исторической точки зрения наибольший интерес представляет сохранившееся в Третьей Новгородской летописи (под 988 г.) название возвышенности, посвященной Перуну, — *Перынь*: „и требища разори и Перуна посъче, что въ великомъ Новъградѣ стояль на *Перыни*“⁴⁸. Связь этого названия с именем Перуна подтверждается тем, что в новгородских летописях встречаются параллельные формы *на Перынь*, *на Перуни*⁴⁹, *на Перыни*. При сопоставлении этих названий в слове *Перынь* можно выделить суффикс *-ынь* <-**ūni*, тождественный суффиксу **-ūni* в общебалт. **perkūni* и близкий к **-uni-* в германских и кельтских производных от **perk-*, употреблявшихся, как и *Перынь*, в качестве названия возвышенности. Форма *Перыня* (*на Перынь*) особенно близка к кельт. *Hercynia* и лит. *Perkūnija*, являющемуся названием лесистой местности (см. выше).

Аналогичный суффикс, восходящий к индоевр. **-pli-*, имеется и в старославянском названии горной местности, засвидетельствованном в Супрасльской рукописи в форме *прѣгынѣхъ*. А. Вайан, считающий славянский суффикс *-upjī* заимствованным из германского⁵⁰, опирается при этом на гипотезу о германском происхождении указанного старославянского слова, но эта гипотеза отнюдь не является общепризнанной⁵¹. Представляется, что именно суффикс, выделяющийся в этом слове, противоречит гипотезе о заимствовании *прѣгынѣ* из германских языков. Долгое **-ū-*, отраженное в *-кынѣ*, соответствует долгому **-a-* в общебалт. **perk-ūni-*, а не **-ūpli-* (с кратким **-ū-*) в общегерм.-кельт. **perk-unī-*. Сравнение славянского суффикса *-кынѣ* с общебалт. *-ūni-* и „тохарск.“ *-upe* позволяет предположить, что славянские языки унаследовали этот суффикс еще от той древней эпохи, когда существовали диалектные связи между славянскими, балтийскими и „тохарскими“ языками⁵². Поэтому имеет известные основания гипотеза А. Брюкнера о том, что формы типа *Перынь* (с *-ынѣ*) на славянской почве были более древними, чем форма *Перунъ* с суффиксом *-унъ*, не имеющим непосредственных соответствий в родственных словах других языков⁵³. Архаичной можно признать и общеславянскую форму **pergynplja*, к которой проф. Р. О. Якоб-

у Босни и Херцоговини. Гласник Земальског музеја у Сарајеву. Друштвене науке. Нова серија“, III. Сарајево, 1948, стр. 63—80; 1954, стр. 181). В связи с вопросом об отражении культа Перуна у южных славян следует отметить то, что связь с именем Перуна южнославянского названия растения *perunika* в настоящее время ставится под сомнение В. Махеком; см. V. Machek. Essai comparatif sur la mythologie slave. „Revue des Études slaves“, t. 23, f. 1—4. Paris, 1947, стр. 58, примеч. 1; cp. Francě Bezlaj. Nekaj besedi o slovenske mitologiji v zadnjih desetih letih. „Slovenski etnograf“, Letnik III—IV. Ljubljana, 1951, стр. 345; V. Machek. Česká a slovenská jména rostlin. Praha, 1954, стр. 273.

⁴⁷ См. L. Niederle. Указ. соч., стр. 98; V. J. Mansikka. Die Religion der Ostslaven, I. Helsinki, 1922, стр. 380.

⁴⁸ В. Мансикка с полным основанием считает это указание подробностью местного новгородского происхождения, см. V. J. Mansikka. Указ. соч., стр. 65.

⁴⁹ Ср. там же, стр. 380. О слове *Перунъ* ср. также И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка, т. 2, 1902, стр. 920.

⁵⁰ A. Vaillant. Le suffixe *-yngji*. „Revue des Études slaves“, t. 24, f. 1—4. Paris, 1948, стр. 181—184.

⁵¹ См., например, A. Mayer. Указ. соч., стр. 82.

⁵² E. Benveniste. Tokharien et Indo-Européen. „Germanen und Indogermanen“, Bd. II. Heidelberg, 1936, стр. 232.

⁵³ A. Brückner. Mitologia słowiańska. Kraków, 1918, стр. 39—43; cp. St. Urbán-czyk. Religia pogańska słowian. Kraków, 1947, стр. 25.

сон в своем очерке славянской мифологии возводит ст.-сл. прѣгыннъ, польск. *Przeginia* (название деревни) и др.-русск. перегыня⁵⁴ (берегыня⁵⁵ — название мифологического существа). Звонкий заднеязычный в основе *perg-, которая выделяется в этой форме, находит соответствие в ведическом имени бога дождя и грозы *Parjányaḥ*; следует отметить, что и это ведическое имя отражает основу на *-ni-, характерную для родственных слов других индоевропейских языков.

Рассмотренные выше слова образованы от трех основ: *per- (например, *per-āniā > слав. *perynja*, русск. *Перыня*), *perg- (например, *perg-āniā > слав. *pergynja*, ст.-сл. прѣгыннъ), *perk- (например, *perk-āniā, лит. *perkánija*). Согласно широко распространенной в настоящее время точке зрения, основы *per-k- и *per-g-⁵⁶ образованы посредством расширителя -k-(-g-) от корня *per— 'ударять', 'поражать'. Возведение к корню с таким значением имени бога грома хорошо согласуется с изображением этого бога в мифологии народов, говорящих на балтийских, славянских и германских языках. В преданиях этих народов бог грома обычно выступает как опасный противник, поражающий своих врагов⁵⁷. Для этимологического исследования особенно важно то, что оружие бога грома по поверьям этих народов сделано из камня. Древнескандинавский бог грома Тор (сын *Fjörgyn* < *Perkuni) вооружен каменным молотом, название которого — др.-исл. *hamarr* — является архаичной основой гетероклитического типа на *-mer; родственная основа на *-men представлена в лит. *aktiō* — 'камень'. По данным литовских этнографов, «„*Perkūna vadina „Akmeniniu kalviu“*»⁵⁸ — Перкунаса зовут „Каменным кузнецом“. Литовские поверья о каменных снарядах Перкунаса (*Perkūno kulkēs*)⁵⁹ полностью совпадают с латышскими преданиями о снарядах Перкона (*Pērkona lodes*)⁶⁰. Еще в XVIII в. Г. Ф. Стендерс писал: „...daži par pērkona lodēm jeb akmeniem sapņo, ar ko pērkons spečot“⁶¹ — 'некоторые грезят о снарядах или камнях Перкона (грома), посредством которых, как говорят, Перкон (гром) поражает'⁶². Аналогичные рассказы

⁵⁴ Roman Jakobson. Slavic Mythology. „Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend“, vol. II. New York, 1950, стр. 1026.

⁵⁵ О берегыняхср. L. Niederle. Rukověť slovanských starožitností. Praha, 1953, стр. 288—290. Вопрос о возможной связи этого мифологического названия с изучаемой группой слов нуждается в специальном исследовании.

⁵⁶ Необходимо отметить, что, вопреки традиционному взгляду, с индоевр. *perg- не связан древнеармянский глагол *harkanem* — '(я) бью'. Начальное h в этом армянском слове восходит не к *p-, как предполагал в свое время Лиден, а к ларингальному, отраженному и в родственном хеттск. *harnink-* — 'убивать,' 'разбивать'. Морфологическое соотношение хеттского носового инфиксa в *harnink-* (образованном от *hark-*) и арм. -ane- является вполне закономерным (ср. о связи древнеармянского суффикса -ane- с носовым инфиксом в других индоевропейских языках A. Meillet. Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique, 2 éd. Vienne, 1936, § 76, стр. 106).

⁵⁷ См. обстоятельное исследование проф. Балиса: J. Balys. Graiaustinis ir velnias Baltoskandijos kraštų tautosakoje. Lyginamoji pasakojamosios tautosakos studija. „Tautosakos darbai“, VI. Kaunas, 1939.

⁵⁸ J. Balys. Perkūnas lietuvių liaudies tikejimuose. „Tautosakos darbai“. Kaunas, 1937, стр. 160 (№ 171).

⁵⁹ Там же, стр. 181—185 (№№ 556—603).

⁶⁰ „Latviešu tautas ticējumi“, sakrājis un sakārtojis Prof. P. Šmits, III. Rīgā, 1940, стр. 1413 (№№ 23337—233341).

⁶¹ Там же, стр. 1401 (№ 23135); стр. 1412 (№ 23327) (со ссылкой на G. F. Stenders. Augstas gudribas grāmata, 1796², 30).

⁶² Лтш. *spečt* и родственное лит. *spirti*, часто употребляющиеся в значении 'ударить' (о громе), восходят к форме корня *per— 'поражать' с „приставочным“ s-. Поэтому значение этих глаголов в балтийских языках может быть дополнительным аргументом, говорящим в пользу возведения *perk-un- к корню *per- (ср. лит. *Perkūnas spiria* и лтш. *pērkons spečot* в цитированном отрывке).

о каменных стрелах Перуна встречаются в белорусском фольклоре⁶³, но здесь следует считаться с возможностью позднейшего литовского влияния.

Рассказы о каменных снарядах Перкона объясняют значение камней в латышских обрядах, связанных с культом Перкона⁶⁴. Сходные факты можно обнаружить и в литовском фольклоре. Об одной из литовских гор, носящих название *Perkūnkalnis*, Б. Бурачас сообщал, что это была гора „с большим камнем на вершине“ („su didiliu akmeniu viršukalnyje“)⁶⁵. Название *Perkūno* актио — ‘камень Перкунаса’ встречается и в других местах Литвы⁶⁶. Поскольку с культом Перкунаса связывались камни, находившиеся на возвышенностях, названия *Perkūnkalnis* и *Perkūnинė* относятся обычно к горам, на вершинах которых стояли замки. Так можно объяснить и происхождение литовского предания о том, что Перкунас жил в замке на вершине горы⁶⁷.

Связь почитания бога грома с культом камней может быть признана очень древней в свете разысканий В. Пизани, изучавшего реконструированный Х. Рейхельтом миф о „каменном небе“ („steinerne Himmel“; „cielo di pietra“) и установившего его тесную связь с преданиями о боге грома⁶⁸. Эти разыскания частично подтверждают выдвинутую еще в XIX в. гипотезу об „индоевропейском представлении тучи — горюю и скалою“⁶⁹, которую рассекает бог грома.

Рассмотренные выше факты показывают, что культ бога грома был связан с культом гор и камней, находившихся на горах. Поэтому с рассматриваемой группой слов, к которой относится готск. *faírguni* — ‘гора’ и многие названия гор и возвышенностей в других индоевропейских языках, представляется возможным сопоставить клинописное хеттское существительное одушевленного рода *perunaš* — ‘скала’⁷⁰. С фонетической и морфологической стороны это сопоставление не вызывает никаких трудностей: *perunaš* можно рассматривать как производное от корня **per-*, образованное посредством суффикса *-iп-o-, подобно тому, как др.-русск. *Перынь* восходит к **per-ān-i*. Для семантического сравнения этого слова с разобранными выше производными от индоевропейского корня **per-* особый интерес представляет употребление хеттск. *perunaš* — ‘скала’ в мифологической поэме „Песнь об Улликумми“. В этой поэме рассказывается о „большой скале“ — *sal-li-is, ri-rū-na- [aš]*⁷¹, которая рождает сына богу Кумарби. Этот сын — каменное

⁶³ См., например, А. Сержпутовский. Прымкі і забабоны беларусаў — паляшкую. „Беларуская этнографія ў досьледах і матар'ялах“, кн. VII, Менск, 1930, стр. 8 (№ 40).

⁶⁴ См. „Latviešu tautas ticējumi“, sakrājis un sakārtojis Prof. P. Šmits, III. Rīgā, 1940, стр. 1407—1408 (№№ 23237—23255); стр. 1410 (№№ 23279—23282); стр. 1414 (№ 23366); стр. 1421 (№ 23474).

⁶⁵ J. Balyš. Perkūnas lietuvių liaudies tikejimuose. „Tautosakos darbai“, III.. Kaunas, 1937, стр. 163 (№ 234).

⁶⁶ Там же (№ 242).

⁶⁷ См. об этом предании J. Balyš. Perkūnas. „Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend“, vol. II, 1950, стр. 858.

⁶⁸ V. Pisani. Akmone Dieus. „Archivio Glottologico Italiano“, vol. XXIV, 1930; V. Pisani. Le religioni dei celti e dei balto-slavi nell'Europa prechristiana. Milano, 1950, стр. 10—11 и 81—83.

⁶⁹ А. А. Потебня. О некоторых символах в славянской народной поэзии. Изд. 2, Харьков, 1914 (статья „О купальских огнях и сродных с ними представлениях“), стр. 176.

⁷⁰ Это предположение было высказано автором настоящей статьи в обзоре „Новая литература о диалектном членении общеноевропейского языка“, „Вопросы языкоизучения“, 1956, № 2, стр. 113.

⁷¹ Цит. по изданию H. G. Güterbok. The Song of Ullikummi. „Journal of Cuneiform Studies“, vol. 5. New Haven, 1951, № 4, стр. 146—147, первая таблица, I, 14. Данный фрагмент впервые напечатан в издании H. Otten. Mythen vom Gotte Kumarbi. Neue Fragmente. Berlin, 1950.

чудовище Улликумми — должен уничтожить врага своего отца — бога Кумарби. Эпос об Улликумми в основе своей заимствован хеттами у хурритов⁷², но некоторые имена в этом эпосе носят indoевропейский характер. В частности, прозвище Улликумми *Kunkipuzzi* является редуплицированным образованием от *k̄cen-* < **gʷhen-* — ‘поражать’ с суффиксом *nomina instrumenti* *-uzzi*⁷³. Употребление в этом эпосе имен indoевропейского происхождения позволяет предположить, что в поэме об Улликумми отражены и некоторые более древние черты хеттской мифологии, не обязательно связанные с хурритским источником поэмы. Поэтому для сопоставления с указанными выше фактами других indoевропейских языков существенным является то, что *perunaś* в этом эпосе является матерью мифологического каменного существа⁷⁴, призванного поразить врагов своего отца (ср. выше о др.-исл. *Fjörgyn* — матери Тора).

Высказанное выше предположение о том, что употребление *perunaś* в качестве названия супруги бога в эпосе об Улликумми может отражать древние хеттские мифологические представления, подтверждается сопоставлением с родственным хеттским словом *piru-a* (*perqa*) — ‘скала’, которое часто употребляется в качестве имени божества⁷⁵. Соотношение основ *perun-a* < **perun-o* и *piru-a* < **per-ü-o* аналогично характерному для древних indoевропейских языков соотношению типа **perk-un-* : **perk-u-*⁷⁶. Уже это соотношение полностью исключает гипотезу о заимствовании основы *pir-* из языка хатти, выдвинутую Э. Ларошем, так как предположение о том, что архаичные indoевропейские суффиксы *-и- и *-и-п- присоединялись к хаттскому корню, лишено вероятности. Не соглашаясь с Ларошем, Ф. Зоммер предложил сопоставление *peruna-* с др.-инд. *parvata* — ‘гора’⁷⁷. В этом древнеиндийском слове *a* может происходить из *-η-; в этом случае в *parvata* может быть отражена основа **peruṇt-* с -t-, характерным для гетероклинического типа, ср. выше о чередовании -и- с -и-п- в именах гетероклинического типа. Следует отметить, что морфема -t- выступает и в др.-инд. *parkatī* („*ficus religiosa*“), сопоставляемым многими учеными с названием дуба **perk-*⁷⁸. Если сопоставление хеттск. *peruna-* с *parvata* является правильным, то здесь можно видеть еще одно доказательство того, что производные от корня **per-* могли употребляться в indoевро-

⁷² О связи хеттского эпоса об Улликумми с эпическими произведениями других народов древнего Ближнего Востока ср. последнюю обзорную статью S. Kirist. Kinyras, König von Kypros, und El, Schöpfer der Erde. „Forschungen und Fortschritte“, 30. Jahrgang, H. 6, Berlin, Juni, 1956, стр. 187.

⁷³ Интерпретация Э. Стертеванта (E. H. Sturtevant and A. Hahn. Указ. соч., § 107, стр. 77), обоснованная Х. Г. Гютербоком (H. G. Güterbock. The Song of Ullikummi. „Journal of Cuneiform Studies“, vol. 6, № 1. New Haven, 1952, стр. 37).

⁷⁴ Относительно „сцены поклонения камню“ в этой поэме ср. P. Merigg i. Imiti di Kumarpī, il Kronos currīco. „Athenaeum“, Nova Series, vol. XXXI. Pavia, 1953, стр. 121, примеч. 47.

⁷⁵ См. специальное исследование Х. Оттена: H. Otten. Pirua — der Gott auf dem Pferde. „Jahrbuch für kleinasiatische Forschung“, Bd. II. Heidelberg, 1952. Имя *Pirua* встречается уже в каппадокийских табличках на рубеже III и II тыс. до н. э. (наряду с другими архаичными хеттскими именами indoевропейского происхождения), см. E. Laroche. Recherches sur les noms des dieux hittites. Paris, 1947.

⁷⁶ Употребление -и- в основах **per-u-*, **perk-u-* может быть связано с теорией „сакрального -и-“ (по отношению к названию дуба это предположение высказывал Ф. Шпехт в указанных выше работах).

⁷⁷ См. J. Friedrich. Hethitisches Wörterbuch. Heidelberg, 1952—1954, стр. 168 (со ссылкой на письмо Зоммера).

⁷⁸ См., например, W. Krogmann. Das Buchenargument, II, KZ, Bd. 73, H. 1—2, 1955, стр. 4.

пейских языках в значении 'гора' (ср. выше, о готск. *faírguni*, ст.-сл. *прѣгыни* и т. п.).

Согласно предлагаемой в настоящей статье этимологии хеттск. *peru-pa-*, образование основы на **-ip-* от корня **per-* было не менее древним явлением, чем образование аналогичной основы от **perk-*⁷⁹ или **perg-*. Поэтому следует пересмотреть традиционную точку зрения, по которой в славянском названии бога грома задненебный был утрачен в результате более позднего развития⁸⁰. Уже принятые многими учеными сопоставление славянского имени бога грома с албанским *Perēn-di* позволяло поставить под сомнение эту гипотезу; сравнение с хеттскими данными показывает, что в ряде „восточных“ индоевропейских диалектов производные от корня **per-* не имели расширителя **-k-*, характерного для некоторых других диалектов. Именно эта форма (без **-k-*) характерна для славянских языков⁸¹.

⁷⁹ В древности этой основы убеждает как сравнение „западных“ индоевропейских диалектов друг с другом, так и наличие заимствований, отражающих балтийское **perk-ip*, не только в прибалтийско-финских языках, но и в финно-волжском (эрзя-мордовском). Финно-волжские заимствования отражают очень древний этап развития балтийских языков.

⁸⁰ Этот взгляд излагается и в ряде новейших работ: см. St. Urbański. Указ. соч., стр. 25; V. Pisani. Le religioni dei celti e dei balto-slavi nell'Europa prechristiana. Milano, 1950, стр. 10 и 52—53; B. O. Unbegau. La religion des anciens slaves. „Mana. 2. Les religions de l'Europe ancienne. III. Deuxième partie“. Paris, 1948, стр. 407.

⁸¹ Корректурное дополнение. После того, как настоящая статья была закончена и сдана в редакцию в июне 1956 г., автор получил возможность познакомиться с рядом новых работ, касающихся рассматриваемой проблемы. Важнейшей из них является статья: Roman Jakobson. While reading Vasmer's dictionary. „Slavic Word“, vol. 11, № 4, December 1955, стр. 615—616, где наряду с тонкими наблюдениями относительно славянских слов данного корня содержится сопоставление славянского имени Перуна с хеттским *Perun-*, употребление которого в качестве собственного имени для древнейших анатолийских текстов было предложено А. Гетце, чья работа использована Р. О. Якобсоном (A. Goetze. Some groups of ancient Anatolian proper names. „Language“, vol. 30, № 3, 1954, стр. 356). Идея Р. О. Якобсона соответствует концепции, излагаемой в настоящей статье. Для доказательства общеславянского характера имени Перуна существенна также статья V. Pisani. Slawische Miszellen, „For Roman Jakobson“, The Hague, 1956, стр. 391—392; ср. также V. Maček. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského Praha 1957, 363, (со значительно менее обстоятельными сведениями, чем в словаре M. Vasmer. Russisches Etymologisches Wörterbuch, Bd. II, Heidelberg, 1955, стр. 345—346). О латышском Перконе ср. N. H. Biezais. Die Haupgötten der alten Letten, Uppsala, 1955, 359—360. О литовском *perkūnas* интересный диалектный материал сообщает I. Senkus. Kai kurie Lazūnų tarmės ypatumai, „Lietuvos TSP Mokslo Akademijos darbai“ seria A, 1, 1958, стр. 191 (о соотношении *perkūnas* и *graudulus*, ср. об этом последнем слове „Lietuvių kalbos žodynas“, III, Vilnius, 1956, стр. 526). О родственных словах индоевропейских диалектов ср. E. Polomé. Notes critiques sur les concordances germano-celtiques, „Ogam“, t. VI, fasc. 4, № 34, 1954, стр. 154—155.

В. Н. ТОПОРОВ

ЗАМЕТКИ ПО ПРУССКОЙ ЭТИМОЛОГИИ

1. Прусское *arrien*.

Это слово встречается в прусских текстах лишь однажды, а именно в Энхиридионе (55₃₄)¹ в следующей фразе: „Beggi stwi bille stai peisalei tu turei stesmu kurwan kas *arrien tläku*² ni stan austin perrēist ...“, представляющей собой отрывок из Первого послания к Тимофею (5₁₈)³. Соответствующее место в немецком тексте Малого Катехизиса передано так: „Denn es spricht die Schrift Du sollt dem Ochsen der da Dreschet nicht das maul verbinden...“.

Этимология прусск. *arrien* не может считаться твердо установленной, несмотря на то, что этим вопросом занимались многие: Нессельманн, Лескин, Бернекер, Брюкнер, Пирсон, М. Шульце, Бецценбергер, Траутманн, Буга, Эндзелин.

Не останавливаясь на соображениях, высказанных в свое время Нессельманном⁴ и Бецценбергером⁵, поскольку они основывались на неправильном чтении („*arrientläku*“ — одно слово), а также на конъектурах Лескина⁶ и Брюкнера⁷ (kas ari en *tläku*), отметим, что Пирсон был первым, кто указал, что *arrien* является прямым дополнением к *tläku*⁸. С 1896 г., когда Бернекер издал текст Энхиридиона⁹, воспользовавшись, между прочим, и Дрезденским экземпляром, в котором четко выделялись два слова (*arrien tläku*), это мнение Пирсона стало общепризнанным, и в дальнейшем ученые исходили из того, что *arrien* является существительным в винительном падеже, единственного числа, зависящим от *tläku*.

Именно так думал Бернекер, сравнивая прусск. *arrien* с лтш. *are* — ‘пашня’¹⁰ (prusск. *ari*, ж. р.)

¹ Здесь и в дальнейшем ссылки на прусский текст даются по изданию Р. Траутманна „Die altpreußischen Sprachdenkmäler. Einleitung, Texte, Grammatik, Wörterbuch“. Göttingen, 1910, стр. 55₃₄ (соответствует стр. 61₃₃ и след. в издании Бернекера).

² К этому слову есть примечание: „Sicher zwei Worte, was in D. schärfer als in K. hervortritt“. (D — дрезденский экземпляр, K — Кёнигсбергский).

³ В свою очередь этот отрывок взят из Второзакония, XXV, 4.

⁴ G. H. F. Nesselmann. Die Sprache der alten Preussen an ihren Überresten erläutert. Berlin, 1845, стр. 87; его же. Thesaurus linguae prussicae. Berlin, 1873, стр. 7.

⁵ A. Bezzemberger. AM, Bd. 15, стр. 269 и след. Ср., однако, BB, Bd. 23, стр. 303 (рец. на книгу Бернекера) и KZ, Bd. 44, стр. 293 (рец. на книгу Траутманна).

⁶ A. Leskien. Die Declination im Slavisch-Litauischen und Germanischen. Leipzig, 1876, стр. 34.

⁷ A. Brückner. AfsiPh, Bd. 20, стр. 486.

⁸ W. PiersoN, AM, Bd. 11, стр. 162.

⁹ E. Berneker. Die preußische Sprache. Strassburg, 1896.

¹⁰ Там же, стр. 184 и след. и 281.

Траутманн видел в прусск. *arrien* винительный падеж, единственное число, средний род, однако этимологию Бернекера он не принял на том основании, что молотьба никогда не происходит на пашне, но на гумне, на току. Поэтому, по мнению Траутманна, прусск. *arrien* было заимствовано из готск. *arin* (ср. р.) — ‘*pavimentum, area*’, ср. др.-в.-нем. *arin, erin* (ср. р.) — ‘*pavimentum, altare*’, ср. в.-нем. *ern* — ‘*Fußboden, Tenne*’¹¹.

Однако некоторые соображения не позволяют нам признать эту этимологию удовлетворительной. Прежде всего, в готских текстах не зафиксировано приводимое Траутманном слово, и о его существовании можно лишь догадываться¹². Характерно, что ученые, специально изучавшие вопрос о готских заимствованиях в прусском языке, никогда не объясняли прусск. *arrien* из готского¹³. Это относится даже к Хирту, чрезмерно преувеличивавшему готское влияние на прусский язык¹⁴. Уже после 1909 г., когда Траутманн выступил со своей этимологией, Бецценбергер¹⁵ и Буга¹⁶ доказали, что прусск. *arrien* не могло быть готским заимствованием. Эту же точку зрения, видимо, разделяет и Зенн, не поместивший прусск. *arrien* в списке готских заимствований¹⁷.

Кроме того, Буга (указ. соч., стр. 72) показал, что при готск. вин. п. ед. ч. *arin*, ожидалось бы прусск. **arins, arinan*, а не *arrien*, как в тексте.

Наконец, у Траутманна не было никаких оснований считать, что прусск. *arrien* является существительным среднего рода.

Несмотря на все это, новых этимологий данного слова больше не появлялось. Эндзелин в своей книге воздерживается от каких-либо объяснений, замечая лишь, что прусск. *arrien* имеет неизвестное значение¹⁸.

С нашей точки зрения, в прусск. *arrien* нужно видеть не существительное в винительном падеже единственного числа, а наречие, восходящее, вероятно, к корню **ār-* и имеющее значение ‘там’; ср. лит. *orañ* — ‘снаружи’, ‘там’, латш. *āran* — ‘снаружи’, ‘вне’, в текстах XVI—XVII вв. также предлог ‘из’.

Наше предположение подтверждается, кажется, рядом соображений.

Во-первых, прусск. *arrien* лишь в этом случае точно соответствует по значению *da* в немецком тексте Энхиридиона. А следует сказать, что отрывок (стр. 55₃₁), в котором встречается *arrien*, совершенно точно

¹¹ R. Trautmann. *Miscellen*. 4. Apreuß. kas arrien tläku. KZ, Bd. 43, стр. 174—176; ср. также ‘Die altpreussischen Sprachdenkmäler’, стр. XV, 238, 302.

¹² Др.-в.-нем. *arin, erin* и т. д. признается теперь заимствованием из лат. *arēna*; сопоставление же с индоевр. **āro-* отвергается из-за значения этого слова в скандинавских языках (ср. др.-шведск. *ærin, arin* — ‘очаг’, др.-исл. *arenn* — ‘возвышение’, ‘очаг’; др.-в.-нем. слово также имеет значение ‘алтарь’). См. A. Walde. *Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen*, I. Berlin—Leipzig, 1928, стр. 79.

¹³ См. H. Hirt. *Die altgermanischen Lehnwörter im Baltischen*. PBB. Bd. 23, стр. 344—349, а также J. Mikkola. *Baltisches und Slavisches*. Helsingfors, 1902—1903, стр. 10; E. Lidén. PBB, 31, стр. 600 и сл.; F. Kluge. JF, 21, стр. 361; A. Stender-Petersen. *Slavisch-germanische Lehnwortkunde*. Göteborg, 1927, стр. 132—133.

¹⁴ Он находил в прусском 34 готских заимствования, хотя теперь очевидно, что их было менее десятка.

¹⁵ A. Bezzemberger. KZ, Bd. 44, стр. 293 и след.

¹⁶ K. Büga. *Kalba ir senovė*. Kaunas, 1922. Раздел ‘Visuoseji lietuvių santiukiai su germanais’, стр. 60—76, особенно стр. 72.

¹⁷ A. Senn. *Germanische Lehnwortstudien*. Dissertation. Heidelberg, 1925, стр. 46 и след. См. также K. Alminauskas. *Die Germanismen des Litauischen*. Teil 1. Die deutschen Lehnwörter im Litauischen. Dissertation. Kaunas, 1934, стр. 19 и след.

¹⁸ J. Endzelins. *Senprūšu valoda*. Ievads, gramatika un leksika. Rīga, 1943, стр. 143. Н. ван Вейк также рассматривает прусск. *arrien* как ‘ein Wort von unsicherer Bedeutung und Herkunft’. См. ‘Altpreussische Studien.’ Haag, 1918, стр. 37.

передает соответствующее место в немецком тексте, являясь, собственно говоря, синтаксической калькой последнего (ср. „ni stan austin perreist — nicht das maul verbinden“ и т. д.). Слова же со значением ‘поле’ или ‘гумно’ (или тем более ‘зерно’) в данном отрывке не содержит ни один немецкий катехизис. Более того, и в прусском языке (правда, в помезанском диалекте) засвидетельствовано слово *plonis* — ‘гумно’ (Эльбингский словарь, стр. 233) — с другим корнем, нежели в *arrien*.

Во-вторых, при нашем предположении отпадает необходимость быть в противоречии с реалиями (как при этимологии Бернекера) или допускать сомнительный переход от значения ‘пащня’ к значению ‘ток’, ‘гумно’ или даже ‘зерно’¹⁹. Наконец, и с формальной точки зрения высказанное нами предположение имеет не меньше шансов, чем бернекеровская этимология (не говоря уже об этимологии Траутманна).

Однако здесь нужно сделать несколько пояснений.

Нет ничего удивительного в том, что прусск. *arrien*, видимо, обозначало не только направление, но и место. Такое же положение в прусск. *stwen*, *schan* (*schien*) или лит. *teñ*. Противопоставления типа лит. *oriē: orañ* в прусском были выражены слабее (ср. *stwi: stwen*).

Как объяснить *ie* в *arrien* — несовершенством орфографии, влиянием аналогичных образцов или чисто фонетически, — решить трудно и, может быть, даже едва ли вероятно, поскольку *arrien* встречается в прусских текстах лишь один раз.

Более того, *ie* в *arrien* допускает возведение к разным звукам. Возможно, что *arrien* восходит к **ärin*, ср. лит. *salīn* и другие, с чем в известной степени соглашались бы такие случаи, как лит. *arimas*, *arinjūs*, ст.-слав. *орь*, *орыа* и др. И в этом случае *ie* допускало бы несколько объяснений. Однако недостаточность материала не позволяет окончательно установить фонетический облик прототипа прусск. *arrien*. Но сейчас, пожалуй, важнее выяснение общего принципа образования, чем разрешение частных деталей²⁰.

А этот принцип состоит в том, что прусск. *arrien* является индоевропейским наследием, а не заимствованием²¹, и представляет наречие с корнем **är-*²².

2. Прусское *dēigiskan*

Это слово также принадлежит к числу ḥταξ λεγόμενα и встречается в Энхиридионе стр. 53₁₉ в отрывке: „O Deiwe Rikijs Dengnennis Taws

¹⁹ См. M. Schulte. Grammatik der altpreußischen Sprache, 1897, стр. 29.

²⁰ Одна из них — соотношение прусск. *arrien*: *artoy* (Эльбингский словарь, стр. 236), *preartue* (там же, стр. 249) и других балтийских слов, содержащих корень **ar-*, широко представленный в различных индоевропейских языках. Этот вопрос мы оставляем без рассмотрения, поскольку в противном случае мы бы рисковали слишком далеко уйти от решения основного вопроса — выяснения этимологии прусск. *arrien*.

²¹ Любопытно, что до самого последнего времени и алб. *arë* — ‘пащня’, ‘поле’ объяснялось заимствованием (из лат. *area*), пока А. Гатерс не доказал, что это исконное индоевропейское слово в албанском. (См. „Der albanische Name des Ackers“. KZ, Bd. 73, стр. 108—109).

²² Возможно, что к этому же корню восходит дошедшее до нас приблизительно от 1400 г. название прусского озера *Aryngine* < **ar-ingine*, ср. лит. *Orijos* ēžeras, лтш. *Aruona* и др. (См. G. Gerullis. Die altpreußischen Ortsnamen, gesammelt und sprachlich behandelt. Berlin—Leipzig, 1922, стр. 11. Относительно суффикса см. J. Endzelins. Senprūšu valoda, стр. 51; его же. Baltu valodu skačas un formas. Riga, 1948, стр. 100—101; его же. Latviešu valodas gramatika. Riga, 1951, стр. 369—372; P. Skardžius. Lietuvių, kalbos žodžių daryba. Vilnius, 1943, стр. 106—121; A. Bezenberger. Studien über die Sprache des preußischen Enchiridions. —KZ, Bd. 41, стр. 81—83; A. Leskien. Die Bildung der Nomina im Litauischen. Leipzig, 1891, стр. 526—530).

Signats²³ mans bhe schiens twaians Daians kawidans mes esse twaian dēigiskan labban prei mans immimai Pra Jesum Chtistum²⁴ nouson Rikijan. Amen“, в соответствии со следующей фразой немецкого текста: „Herr Gott himlischer Vatter segne uns und diese deine Gaben die wir von deiner milden Güte zu uns nemen Durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen“ (у Виллента в соответствующем месте находим: „Wieschpatie Diewe Tiewe Danguiesis perbegnok mus ir tas dowanas kurias isch tawa dosnos geribes imam per Jesu Christu Wieschpati musu. Amen“.).

Этимология этого слова не выяснена даже приблизительно; поэтому специалисты в области прусского языка воздерживаются от анализа этого слова (мы опускаем наивное сопоставление Нессельмана²⁵ с лтш. *devīgs*, неудовлетворительное в фонетическом плане и в отношении значения). Лишь Эндзелин указывает, что, возможно, правильнее было бы говорить в нашем случае о **dengiskan* (ср. прусск. *dengan* — ‘небо’, лит. *dañgiskas*)²⁶, тем более, что текст Энхирдиона знает случаи, когда вм. *n* пишется *i*, *y*²⁷.

Прусское слово со значением ‘небесный’ встречается в Энхирдионе восемь раз, будучи представлено тремя разновидностями:

dengenennis (35₁₇, 51₃₄), *dengnennissis* (51₁₆), *dengnennis* (35₉, 53₁₈)

dengenneniskans (81₇)

dengniskas (73₂₇), *dengniskans* (73₆)

Форма же **dengiskas* нигде не отмечена.²⁸ Во всех восьми случаях указанным прусским словам в немецком тексте соответствовало слово *himlisch*. Было бы весьма странно, что в одном месте (а именно на стр. 53₁₉) немецкому *milde* опять-таки соответствовало бы слово со значением ‘небесный’, переведенное особым (четвертым) способом.

Кроме того, в этих восьми примерах, а также в 25 случаях слова *dangus* во всех его вариантах корневой гласный нигде не имеет особого знака (—), а *dēigiskan* его имеет. Было бы неоправданным видеть здесь только игру случая или считать, что особый знак (—) в *dēigiskan* — результат неправильного разложения мнимого *dengiskan*, так как при *isrākilai* есть и *rāntwei*, *rākan* и т. д., а с другой стороны, *geytiey* (13₆) (вм. *geytien*) не имеет этого знака (—).

Наконец, соображения стиля также делают весьма сомнительным двойное употребление слова со значением ‘небесный’ (*Dengnennis...* **dēngiskan*) в близком соседстве друг с другом, но в различном оформлении.

Зная принципы перевода, которыми руководствовался Абелль Вилль, можно предположить, что прусск. *dēigiskan* (им. п. ед. ч. м. р. **dēngiskas*) представляет собой довольно точный, хотя, может быть, и неуклюжий, перевод немецкого *milde*, лишенный, возможно, абстрактно-религиозных наслоений немецкого слова. Нам кажется, что в данном случае можно думать о слове, продолжающем индоевр. корень **dheig'h-* — ‘месить глину’, ‘лепить’ ‘строить’, засвидетельствованный почти во всех индоевропейских языках. Сuffix *-isk*, контекст и немецкое соответствие *milde* убеждают в том, что прусск. *deigiskan* является прилагательным, значение которого с большой долей вероятности определяется как ‘мягкий’, ‘крупный’, ‘благой’. В этом предположении нас поддерживает и наличие аналогичных фактов семантического развития, ср. ст.-слав. *дѣптилъпъ* и др.

²³ Правильно: *Signāis*.

²⁴ Правильно: *Christum*.

²⁵ G. H. F. Nesselmann. Die Sprache, стр. 93; Thesaurus, стр. 27—28. Ср. также Е. Венекег. Указ соч., стр. 285 (с сомнением).

²⁶ J. Endzeliins. Senprūsu valoda, стр. 157—158.

²⁷ Там же, стр. 58; к примерам Эндзелина добавим еще один показательный случай: *isrākilai* (39₁₃) при *isrankit* (71₆), *isranktuns* (31₂₄, 71₂₅) и др.

Однако фонетические трудности делают маловероятным признание прусск. *dēigiskan* индоевропейским наследием. Дело в том, что из индоевр. **dheig'h-* в прусском ожидалось бы прилагательное **dēisiskan* (= *dēizi-skān*), поскольку *g'h*, *g'>* прусск. *s* (= *z*), и было бы слишком смело на основании ряда случаев, где индоевр. *k'h*, *k'* соответствует в прусском *k*, допускать в данном случае возможность *g'h > g²⁸*. Кроме того, в Эльбингском словаре указано слово *seydis* — 'стена' (стр. 198) с характерной для этого слова в балтийских и славянских языках метатезой (**dheig'h->g'heidh-*: *зи́дъ*, *зидж*, *зъдти*, лит. *žiesti* и др.) и с *g'h > s*. Разумеется, наличие метатезированной формы не исключает возможности существования формы без метатезы (ср. др.-русск. *дѣжа* и т. д. при указанных выше словах или приведенные Зубатым²⁹ лит. *dizti*, *diezti* и др.), но вся совокупность приведенных фактов, а также то, что указанный корень в балтийских языках нигде не содержит значения 'мягкий', заставляют нас искать источник прусск. *dēigiskan* вовне, а именно видеть в нем заимствование из германских языков. Во всяком случае, как раз германские языки более других обнаруживают в словах этого корня семантическое развитие в сторону значения 'мягкий', ср. нем. *teig*, *teigig*, *teigicht*. Это значение засвидетельствовано в слове *teig* и специально в Восточной Пруссии³⁰. Звуковой вид прусск. *dēigiskan* как будто указывает на нижненемецкий источник³¹. Факт нижненемецкого влияния на прусский язык хорошо известен. Однако в данном случае мы затрудняемся точно назвать нижненемецкий источник, легший в основу прусск. *dēigiskan*.

3. Прусск. *etnīstis*.

В отличие от предыдущих слов, *etnīstis* широко представлено в прусском тексте Энхиридиона (в первых двух катехизисах и в обоих словарях — Эльбингском и Симона Грунау — его нет). Засвидетельствованы следующие формы: *etnīstis* (69₂₂, 71₁₉), *etnīstin* (31₄, 35₂₀, 41₃₀, 59₁₀, 61₁₅, 63₅, 71₅, 73₄, 73₁₇, 73₂₂, 73₂₈, 79₂₅, 79₃₄), *etnījstis* (29₁₄, 37₂₆, 45₁₉), *etnīstan* (35₁₅).

Кроме того, в Энхиридионе это слово входит в состав композит [*etnīstislaims* (41₂₄) и *nieteīstis* (71₃₃)], которое, — учитывая нем. *Ungnade*, — следует считать опиской вместо *nietnīstis*³², а корень его встречается и в других образованиях, например, *etnīwings*, *etnīwingiskai* и т. д., всего 11 раз].

В немецком тексте в соответствующих местах всегда стоит *Gnade*³³, а принимая во внимание прусские прилагательные и наречие того же

²⁸ Не представляется убедительным в данном случае объяснение прусск. *dēigiskan* и с помощью **dheig-*, корня, параллельного к **dheig'h-* и объясняющего ряд германских фактов. См. F. A. Wood. — Modern Philology, vol. 4. Philadelphia, стр. 490 и след.

²⁹ J. Zubaty. AfslPh, Bd. 16, стр. 389.

³⁰ См. H. Frischbier. Preußisches Wörterbuch. Ost- und Westpreußische Provinzialismen in alphabetischer Folge, II. Berlin, 1883, стр. 397; см. это слово у Цисмера (W. Ziesmer) в его „Preußisches Wörterbuch“.

³¹ Во всяком случае это более правдоподобно, чем думать о заимствовании из готского, ср. готск. *deigan*, *daigs*. Ср. н.-нем. *Dēgādār* (насмешливое прозвище пекаря, булочника). Что касается *ei*, то в немецком, вероятно, следует видеть характерный для нижненемецких говоров Самландии результат развития *ē* (ср. натангскую линию *ē/ēi*). См. W. Mitzka. Ostpreußisches Niederdeutsch nördlich vom Ermland. „Deutsche Dialektographie“, Н. VI. Marburg, 1920, стр. 179.

³² См. A. Bezzemberger. BB, Bd. 23, стр. 289.

³³ Исключение *Barmherzigkeit* (31₄). Обычно в таком значении употребляется *engraūdīsna* (См. 71₆, 71₁₉, 73₃₄, 75₁₀ и т. д.).

корня, — *gnädig*, *gnädiglich*. (В аналогичных местах литовских текстов обычно встречается *malonė*, *mielaširdistė*).

В Энхиридионе нет мест, где с определенностью можно бы было предполагать у слова *etnīstis* иное значение, чем ‘милость’, однако ничто не мешает принять, что ‘милость’ есть, собственно, ‘милосердие’, ‘прощение’, ‘отпущение грехов’. Причем, последнее значение оказалось несколько оттесненным на задний план; в этом значении обычно выступает другое слово — *etwerpsennien* (вин. п. ед. ч.), построенное аналогично *etnīstin*³⁴.

A priori можно думать, что этот специфический термин возник или после введения христианства у древних пруссов из имевшихся в языке элементов, возможно, путем калькирования соответствующего иноязычного слова, или он существовал и раньше, но в ином (пусть также религиозном) значении и лишь впоследствии был использован для новых целей и переосмыслен.

Как бы то ни было, этимология этого слова до сих пор остается неизвестной: одни ученые признают ее неясной или уклоняются от высказываний по ее поводу (Нессельман³⁵, Бернекер, Траутманн), другие дают объяснения, которые, очевидно, ошибочны (Леви)³⁶ или не получили пока признания (Эндзелин).

Суть этимологии Эндзелина³⁷, — а это последняя по времени попытка проанализировать данное слово, — заключается в том, что в прусск. *etnīstis* скрыт индоевропейский корень **nī-*, представленный в лтш. *nīca*, русск. *низ*, *ниц*, др.-инд. *nī* — ‘низ’; в соединении с приставкой *et-* и суффиксом³⁸ корень образует указанное слово; ср. *снисхождение*, *Herablassung* и т. д. Такое решение вопроса нельзя признать вполне удовлетворительным. Понятно, что *снисхождение* или *Herablassung* не являются точной аналогией к *etnīstis*, поскольку наречный элемент сочетается в них с глагольным (основным), которого как раз нет в прусском слове, если принять объяснение Эндзелина. Сопоставление указанных слов не совсем точно и в семантическом плане. Наконец, серьезные сомнения вызывает структура прусского слова: приставка *et-* + наречный корень + суффикс *-sti-*. Таких образований нет в прусском языке, и едва ли их можно найти в других балтийских языках.

Несомненно, что прусск. *etnīstis* — от глагольное имя с абстрактным значением, представляющее собой лишь один пример многочисленного класса подобных образований в балтийских языках³⁹. Сопоставление засвидетельствованных в прусском языке пар типа *etnīstis*: *etnīwings* и *engraudisnas*: *engraudīwings* позволяет говорить о бесспорно отглагольном происхождении прусск. *etnīstis* и, более того, делает весьма вероятной реконструкцию глагола **etnīt*, **etnīja*; ср. прусск. **etskīt*, **etskīja*, лтш. *rit*, *rija* и т. д.⁴⁰

³⁴ В соответствии с прусск. *etwerpsennien grijkan* в лит. обычно выступает *atleidima ghrieiku* (Виллент), *atleidima greku* (Мажвидас).

³⁵ Однако симптоматично направление мысли Нессельманна: „Das Adj. *etnīwings* etc. lehrt, daß in *etnīstis* die Endung -*stis* Wortbildungssuffix ist (sl. отънесq, отънести, auffere, abducere, etwa peccata?)“ (Thesaurus, стр. 40).

³⁶ *etnīstis*: Gnade, nēth-ti? См. Е. Lewy. Preußisches. IF. Bd. 32, стр. 161 (Однако сам Леви признает, что *etnīwings* затрудняет указанное сопоставление).

³⁷ См. J. Endzelins. *Senprūšu valoda*, стр. 173; его же. *Piezimes par prūšu valodu*. FBR, II, 1922, стр. 9—14.

³⁸ См. J. Endzelins. *Senprūšu valoda*, стр. 53.

³⁹ См. Skardžius. ‘Указ. соч., стр. 330—331 (и соответствующий раздел в старой работе Лескина об образовании имен в литовском языке); Endzelins. *Baltu valodu skanas un formas*, стр. 103; его же. *Latviešu valodas gramatika*, стр. 379—380.

⁴⁰ См. J. Endzelins. Altpreußisches. ZfslPh., 18, стр. 109.

Если наши рассуждения правильны, то при объяснении этимологии *etnīstis* нужно исходить из глагольного корня, а не из наречного, как делал Эндзелин.

Таким корнем, кажется, следует считать индоевр. *nē(i)-*⁴¹ — ‘связывать’, ‘сшивать’ с дальнейшим развитием и специализацией значений по отдельным языкам. Этот корень широко представлен в различных местах индоевропейской языковой области (часто с подвижным *s*), в частности и в балтийских языках; ср. лит. *nytis*, лтш. *nīts*, слав. *nītъ* и т. д.

В соединении с приставкой *et-*, значение которой в данном случае не вызывает сомнений, и суффиксом *-sti-* указанный корень образует отглагольное имя со значением ‘развязывание’, ‘разрешение’ (в первонаучальном значении, ср. ‘разрешение уз’ и т. д.), ‘распущение’, ‘отпущение’. Дальнейшая эволюция (‘отпущение грехов’, ‘освобождение’, ‘прощение’, ‘милость’) вполне естественна и может быть иллюстрирована многочисленными семантическими параллелями, из которых одна из наиболее убедительных — структурно близкое к *etnīstis* лат. *absolution*, вошедшее в качестве термина для обозначения отпущения грехов в ряд европейских языков и имевшее сначала более конкретное значение, ср. *absolvo*, *-ēre* — ‘отвязывать’, ‘освобождать’⁴² и т. д.

Что касается фонетической стороны предложенной нами этимологии, то она безупречна, поскольку балт. *ē* (из индоевр. *ē*) в самландском диалекте прусского языка было очень близко к *ī* (в отличие от помезанского диалекта⁴³), так что в известный период переход *ē* в *ī* стал законом⁴⁴.

Разумеется, что *ē > ī* в данном случае остается несомненным независимо от того, примем ли мы точку зрения Фортунатова⁴⁵ и Бернекера⁴⁶ о двоякой трактовке балтийского *ē* в самландском диалекте, или примкнем к критике Хирта⁴⁷ и Бецценбергера⁴⁸.

Понятно, что и при предположении в прусск. *etnīstis* ступени редукции (**ni- : *nēi-*), как и лит. *nytis*, лтш. *nīts*, фонетическое объяснение прусского слова не встретит никаких затруднений.

4. Прусск. *etskiuns*.

Это слово также встречается в прусских текстах, причем во всех трех катехизисах, несколько раз:

etskiuns, им. п. ед. ч. м. р. прич. прош. вр. действ. (31₁₅; 79₂), *etskiāns* (31₃₁), *etskyuns* (11₃₀), *attskiuwns* (5₃₁)

etskīmai, 1-е лицо мн. ч. конъюнкт. (43₄)

etskīsai, 2-е лицо ед. ч. буд. вр. (51₁₁)

Засвидетельствовано также отглагольное имя с характерным суффиксом: *etskīnan* (33₃), *etskysnan* (11₃₆), а также *atskisenna* (читай: *atskisen-nan*) (7₂), об образовании которого см. у Лескина⁴⁹ и Эндзелина⁵⁰.

Контекст, в котором встречается прусск. *etskiuns*, и его значение по сути дела все время одни и те же; поэтому ограничимся лишь одним

⁴¹ См. А. Walde. Указ. соч., т. II, 1927, стр. 694—695.

⁴² См. А. Walde. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 2-te Aufl., Bd. I, Heidelberg, 1910, стр. 447, 695, 723.

⁴³ Впрочем, и здесь есть случаи типа *līsytyos*, *rīclis*, *slīdenikis*.

⁴⁴ Некоторые трудности могли бы возникнуть, если бы речь шла о первом Катехизисе, где *i*, *ī* иногда переходили в *e*, *ē*. См. R. Trautmann. Die altpreußischen Sprachdenkmäler, стр. 122; J. Endzelins. Senprūšu valoda, стр. 26—27.

⁴⁵ F. Fortunatov. BB, Bd. 22, стр. 177 и след.

⁴⁶ E. Berneker. Die preuß. Sprache, стр. 136.

⁴⁷ H. Hirt. IF, Bd. 10, стр. 37 и след.

⁴⁸ H. Bezzienberger. KZ, Bd. 41, стр. 76 и след.

⁴⁹ A. Leskien. Die Bildung der Nomina im Litauischen, стр. 380.

⁵⁰ J. Endzelins. Senprūšu valoda, стр. 47.

примером: An tirtien deynan *etskyuns* hǟse gallans (2-й Катехизис 11₃₀) при нем. Am dritten tag auferstanden von den todten.

Лишь однажды контекст несколько меняется и доставляет нам счастливую возможность для уточнения значения этого слова. Мы имеем в виду фразу из Энхиридиона: *Angstainai Kaden toū is twaiäsmu Lastin etskīsai turri tou tien Siggnat...* (51_{10–11}) при нем. *Des Morgens so du auß dem Bette fehrest soltu dich segnen...*, значение которой еще четче оттеняется при сравнении с другой фразой из Энхиридиона: *Bitai kaden tu prei lastan ēisei turei toū tien Siggnat...* (51₂₉) (нем.: *Des Abends wenn du zu Bette gehest soltu dich segnen...*), на что обратил внимание Э. Леви⁵¹.

Следовательно, было бы неправильно ограничивать прусск. *etskiuns* только специальным религиозным значением ‘воскресать’, хотя оно и преобладает в прусских текстах. ‘Воскресать’, надо думать, было лишь частным значением, наряду с которым существовали и другие значения: ‘вставать’, ‘подниматься’, возможно, ‘отделяться’ и т. д. (отчасти это подтверждается соответствующей фразой виллентовского Энхиридиона: „*Ritameta kada kelsiesi isch pata la tada persibegnok schwentu Krißu bilodams*“).

Недоучет этих значений сказался на двух известных до сих пор попытках дать этимологию этого слова, когда ученые пытались исходить из значения ‘уйти’ (от смерти). Мы имеем в виду сопоставление Лёвенталя с норвежск. *skime*—‘движение’,⁵² и замечание Леви⁵³ о близости прусск. *etskiuns* с готск. *skejan*—‘бродить’,⁵⁴ связь между которыми, по мнению самого Леви, едва ли возможна.

Кроме того, указанные сопоставления не совсем удовлетворительны и формальны.

Поэтому не случайно, что крупнейшие специалисты в области прусского языка — Нессельманн, Бернекер, Бецценбергер, Траутманн, Эндерзелин — не внесли предложений, относящихся к этимологии этого слова, хотя последний и посвятил небольшой этюд его морфологическим особенностям⁵⁵, уточнив его состав.

Со своей стороны, мы бы предложили возвести прусск. *etskiuns* к индоевропейскому корню **skēi-*⁵⁶ на ступень редукции — **skl-*—‘делить’, ‘отделять’, ср. др.-инд. *chyāti*, *chinātti*, авест. *fra-sāna* и др. (индоиранские примеры особенно ценны тем, что в них корень выступает без обычных в других языках расширителей корня⁵⁷). В таком случае **et-skī-t* значило ‘отделять’ ‘отделяться’ >‘вставать’ и т. д. Следовательно, прусск. *etskiuns* при нашем объяснении включается в широкую семью слов того же корня в балтийских языках (а не стоит изолированно, как при этимологии Лёвенталя): лтш. *šķieta*⁵⁸, *šķieva*, *šķiene*, вероятно, лит. *skiētas*, лтш. *šķiets* и даже прусск. *staytan* (Эльбингский словарь, стр. 421; читай: *scaytan*), уж не касаясь более далеких сопоставлений из балтийских и других индоевропейских языков, довольно близки по значению, ср. нем. *Abschied*, лит. *atskiestī* и др.

⁵¹ E. Lewy. Preußisches. IF, Bd. 32, стр. 161.

⁵² J. Loewenthal. Wirtschaftsgeschichtliche Parerga, III. Wörter und Sachen. 11, 61. Сюда же Лёвенталь относит греч. *σκίνα*, лат. *scintilla*, гальльское название реки **Cinticā* (теперь *Kinzig*), слав. *сѣдо*, а в прусском название священного леса *Wiskint* (см. Gerullis. Указ. соч., стр. 204) < **vis-kintan*.

⁵³ E. Lewy. Указ. соч., стр. 161.

⁵⁴ Сюда относятся др.-исл. *skoeva*, др.-англ. *sceon*, др.-фриз. *skia*, др.-в.-нем. *gi-scehan* и др. См. S. Feist. Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache. Halle, 1909, стр. 237.

⁵⁵ J. Endzeliins. Altpreußischen. ZfslPI, B. 18, стр. 109—110.

⁵⁶ A. Walde. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, II, стр. 541.

⁵⁷ Лат. *scio*, -*tre* далеко по значению.

⁵⁸ См. K. Mülenbachs. Latviešu valods vārdnīca, XXXI burtnīca. Rīgā, 1929, стр. 53.

О. Н. ТРУБАЧЕВ

ИЗ ИСТОРИИ ТАБУИСТИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

1. Русск. *росомаха* *Gulo gulo*

Русское слово *росомаха*¹ не имело удовлетворительной этимологии до настоящего времени. Ф. Миклошич (MEW, стр. 282) ставит весьма неопределенно вопрос о связи с лат. *rosomacus*, однако этого слова не знает Du Cange (Glos. med., t. VII). Форма *rosomacus* правильнее объясняется как поздняя латинизация одной из славянских форм, например, польск. *rosomak* (ср. BrSl., стр. 463). Русск. *росомаха*, польск. *rosomak* обычно считаются словами неизвестного происхождения; вместе с тем в них также видят возможные иноязычные заимствования, например из финских языков (см. и то и другое в словарях А. Преображенского, II, стр. 216, и А. Брюкнера, стр. 463; подробную сводку этимологий см. у М. Фасмера. II, стр. 537—538). Для нас ценно свидетельство В. Кипарского, который отводит предположение о заимствовании из финских языков. В. Кипарский подробно занимается этимологией русск. *росомаха* в специальной статье (см. ZfslPh, Bd. XX, 1950, стр. 359—365). Он считает это слово заимствованием, но не из финских, а из обско-угорских языков, ср. vogульск. *tolmaχ*, *tolmīχ* — 1) 'вор', 2) 'росомаха'; южн.-остякск. *totmaχ*, вост.-остякск. *jalmaχ* — 'разбойник', 'вор', сев.-остякск. *lalmaχ* — 'росомаха'. Первоначальное значение всех относящихся сюда угро-финских слов — 'вор' (указ. соч., стр. 363). Такое эвфемистическое обозначение вредного лесного хищника вполне допустимо. Далее, как справедливо указывает сам автор, „труднее перекинуть мост от вышеупомянутых обско-угорских форм к русск. *росомаха*... Если даже предположить существование русск. **росомахъ* (ср. засвидетельствованное у Мицкевича польск. *rosmak*), то по-прежнему остается налицо большое различие между vogульско-остякскими *t* и *l*, с одной стороны, и русск. *r* или *c* — с другой... Ввиду этих фонетических трудностей моя попытка объяснения может расцениваться лишь как осторожная гипотеза, хотя я и верю, что она отнюдь не лишена внутренней убедительности“ (там же).

Далее В. Кипарский излагает очень гадательные предположения о возможности перехода *totmaχ* > русск. **сосмахъ* > **росомахъ* (в результате диссимиляции). О вероятности этого перехода имеет право судить, конечно, специалист по угро-финским языкам.

Тем не менее для нас очевидна гадательность этого предположения с точки зрения развития русской формы. Совершенно неясно, например, отсутствие **росомах* в русском, когда, казалось бы, как раз эта форма с успехом могла выжить без изменений. Развитие **росомах* > *росомаха* необъяснимо.

Как отмечает В. Кипарский, никто до сих пор не думал о возмож-

¹ Написание *росомаха* является неточным.

ности рассматривать русск. *росомаха*, как исконное слово (указ. соч., 361). И вместе с тем общее состояние вопроса, изложенное выше, заставляет думать также и об этой возможности. К этому побуждает малая вероятность заимствования русского слова, прежде всего — из финских, обско-угорских языков.

Таким образом, следует поставить вопрос об исконно славянском происхождении русск. *росомаха*. Сразу надо указать, что в своем современном виде русское слово стоит как будто обособленно по отношению к другим образованиям индоевропейского языка в целом, в том числе к индоевропейским названиям животных. В непосредственной связи с этим вполне допустимо предположение о неисконном происхождении современной формы русск. *росомаха*, возникшей в результате своеобразного изменения звуков. Своебразие изменения звуков находит здесь объяснение в его психологической основе. По-видимому, изменение совершилось сознательно, в интересах табу, как это будет показано ниже.

Обширной проблеме истории любого языка — проблеме табу — посвящены многочисленные специальные исследования. Так, Дж. Фрэзер посвятил этой проблеме большой труд, в котором, подчеркивая универсальное распространение табу как одного из проявлений суеверия среди всех народов мира², он приводит ряд примеров, как охотники, рыбаки и крестьяне стран современной Европы избегают употреблять названия вредных, опасных животных во время охоты, в определенные сезоны³. Упоминается обыкновение называть лесных зверей (медведя, волка, рысь) ласковыми и льстивыми иносказательными прозвищами в Швеции, Финляндии, Эстонии и других странах.

Важность проблемы табу слов для индоевропейского исторического языкознания впервые обосновал А. Мейе в работе „Quelques hypothèses sur des interdictions de vocabulaire dans les langues indo-européennes“⁴. Исходя из табуистических запретов, Мейе объясняет исчезновение в ряде индоевропейских языков древних названий медведя, змеи, мыши, лисицы, жабы, оленя.

Исключительно богат материалом труд Д. К. Зеленина „Табу слов у народов восточной Европы и северной Азии. Часть 1. Запреты на охоте и иных промыслах“⁵.

Совершенно очевидно, что упомянутая работа А. Мейе далеко не исчерпывает всего индоевропейского словарного материала из области названий животных, затронутых табуистическими запретами. Об этом свидетельствуют и отдельные позднейшие попытки пополнить список табуизированных индоевропейских названий животных, имеющийся у Мейе. Так, к изложенному выше перечню причисляются еще названия ласки и зайца⁶.

В общем и в представлении Хафтерса круг табуизированных животных у индоевропейцев еще довольно узок (см. указ. соч., стр. 28—55), как узок он и у Мейе. О том, что знакомый нам перечень может отражать лишь часть действительно табуизируемых животных, видно из материалов Д. К. Зеленина.

² J. G. Frazer. The Golden Bough. Part II. Taboo and the Perils of the Soul. Изд. 3, London, 1922, стр. V.

³ Там же, стр. 396—398.

⁴ См. сборник: A. Meillet. Linguistique historique et linguistique générale, 2-е édition. Paris, 1926, стр. 281 и след.

⁵ „Сборник Музея антропологии и этнографии“, VIII. Л., 1929, стр. 1 и след.

⁶ Cp. Wilhelm Havers. Neuere Literatur zum Sprachtabu. „Abhandlungen der Wiener Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse“, Bd. 223, № 5, 1946.

В частности, представляется пробелом отсутствие в упомянутом списке росомахи.

Росомаха — „...коренной обитатель сплошных густых дебрей лесной полосы Европейской и Азиатской России, откуда она перебралась в область тундр...“⁷. Все пространство хвойных лесов до недавнего времени было густо заселено росомахами. Промысловая ценность росомахи как пушного зверя, видимо, никогда не была значительна. Больше того, ее значение прямо отрицательно: росомаха похищает запасы охотников, выкрадывает добычу из капканов и силков, нападает на различных животных и отличается чрезвычайной прожорливостью. „При-
сутствие ее в лесу одинаково ненавистно как прочим животным, так и промышленникам, величающим ее всевозможными бранными названиями“⁸.

Надо сказать, что в литературе мало упоминаний о табу, связанном с росомахой. Так, в богатой фактами работе Д. К. Зеленина отмечается для росомахи только один случай: „Бурятские охотники, преследуя росомаху, приговаривают „не теряй имени!“, т. е. не теряй своего достоинства, не нарушай своей чести! Делают это с целью, чтобы росомаха не испустила дурного запаха, вредного для следующих за нею собак и человека (Жив. Стар., 1913, № 1, стр. 181, В. Михайлов). Здесь росомаха представляется, с одной стороны, понимающей людскую речь, с другой — существом, которому не чуждо человеческое представление о чести и достоинстве“ (Указ. соч., стр. 16).

Древние охотники наделяли обитателей леса сверхъестественными способностями и качествами. В хищной росомахе они, несомненно, видели злого духа. Эти анимистические воззрения чудесным образом сохранились с древности на старой славянской территории, у белорусов. Как отметил В. Даль (Толковый словарь, т. IV, стр. 104) белорусы считали росомаху злобным духом, человеком со звериной головой и лапами, который живет в конопле. Ср. бранное выражение „Каб цябе расамаха задрала!“ Такие фантастические представления сохранялись до последнего времени в тех местах, где сама росомаха давно исчезла. Ср. любопытное свидетельство в записи А. Сержпутовского: „Старыя людзі кáжуць, што кóліс тут у ліесі вадзіліса зъверы расамахі, алé гэто мáбыць непráуда, бо я сам з дзецикамі бáчыў расамаху, да яна была ў постаці жанчыны з распúшчанымі кóсамі. Гэто не зъвер, а якась нéчысь. У нас людзі кáжуць, што расамаха рóбіцца жанчына, як яна зынішчыць свае дзіця да й сама ўтóпіцца...“⁹.

Табуизирование названия животного могло носить характер сознательного изменения порядка звуков в старом названии.

Примеры такого табуизирования уже неоднократно указывались среди индоевропейских названий животных. Это так называемая табуистическая метатеза¹⁰.

К числу вероятных примеров табуистической метатезы индоевропейских названий животных могут быть отнесены нем. *Ziege* — ‘коза’ < *dīghā < *ghaido-, спр. нем. *Geiß* — ‘коза’ (так считает Gunter Ipsen, IF, 41),

⁷ А. А. Силянтьев. Обзор промысловых охот в России. СПб., 1898, стр. 56—57.
⁸ Там же.

⁹ А. Сержпутовский. Прымкі і забабоны беларусаў-паляшкоў. „Беларуская этнографія ў досьледах і матар'ялах“, кн. VII. Минск, 1930, стр. 262—263.

¹⁰ Ср. G. Bonfante. Études sur le tabou dans les langues indo-européennes „Mélanges de linguistique offerts, à Charles Bally“. Genève, 1939, стр. 196; W. Havers. Указ. соч., стр. 120—122; Heinz Kronasser. Handbuch der Semasiologie. Heidelberg, 1952, стр. 171.

индоевр. **lukos*, **lukuos* — 'волк', ср. греч. λύκος, лат. *lupus* при **ilqos*, ср. слав. *vylkъ*¹¹, из более поздних — укр. *ведмідь* < *медвідь* — 'медведь'¹².

Нельзя отрицать того факта, что табуистические изменения звуков широко распространены, тем более, что соответствующий лингвистический материал еще недостаточно исследован. Отдельные случаи, совершенно необъяснимые средствами регулярной фонетики, получают в этом освещении правдоподобную этимологию¹³.

Наша попытка этимологии русск. *росомаха* сводится к предположению именно такой табуистической метатезы. Причина табуистических изменений звуков коренится в эмоциональном моменте значений¹⁴. Вполне возможно, поэтому современная форма русск. *росомаха* сменила старую форму **соромаха*, чтобы избежать омонимии с др.-русск. *соромъ* — 'стыд', 'срам'. Это, кажется, противоречит тому, что уже говорилось выше о *росомахе* — враге охотника. Но на самом деле никакого противоречия нет. В лесу, во время охоты, охотник должен был тщательно маскировать от „злых духов“ и от самих зверей свои истинные намерения. Ни в коем случае нельзя „оскорблять“ зверя или говорить что-либо обидное для него. В таких условиях даже зозвучие с обидным словом могло оказаться недопустимым, откуда и изменение старого названия *росомахи*. Достаточно вспомнить при этом, с какой вежливостью обращаются к преследуемой *росомахе* бурятские охотники, уговаривая ее „не терять имени“ (см. выше, у Д. К. Зеленина).

Таким образом, мы пришли к предположению о развитии русск. *росомаха* из древней формы **соромаха* в результате табуистической метатезы. Последняя форма легко может быть объяснена как восточнославянское продолжение гипотетического слав. **sormаха*. Эта славянская форма, в отличие от современного русского слова, отнюдь не однокака, напротив, она очевидно связана с другими индоевропейскими названиями ближайших биологических родственников *росомахи*. Сюда относятся дороманск. *carmo* — 'ласка'¹⁵, нем. *Hermelin* — 'горностай', др.-в.-нем. *harmo* — 'горностай', лит. *šarmiō*, *šermiō* — 'горностай', лтш. *sāmulis*, *sermulis* — 'горностай', 'ласка'. (См. Р. Траутманн. *Balt.-Sl. W*, стр. 300, и Мюленбах-Эндзелин. *Латышский словарь*, т. III, стр. 722). Родство названных германских, романских и балтийских форм между собой является давно доказанным фактом (ср., например, KEW, стр. 246—247). В случае правильности предложенной этимологии русск. *росомаха* < **sormаха* эта группа пополняется еще одним родственным словом, правильно восходящим к общему индоевр. **korm-*.

Сформулируем некоторые доводы в пользу нашей этимологии: 1) метатезы такого рода известны; 2) слово *росомаха*, не имеющее сколько-нибудь точной этимологии, при нашем объяснении становится в один ряд с очевидно близкими формами родственных языков; 3) все эти близкие формы, восходящие к общему **korm-*, обозначают вместе с тем биологически четко обособленное семейство куньих (*Mustelidae*) — *росомаха*, *куница*, *соболь*, *горностай*; 4) названиям куньих вообще не чужды явления, связанные с табу [ср. исчезновение в ряде индоевро-

¹¹ Ср. W. Havers. Указ. соч., стр. 37.

¹² См. Roman Smal-Słocki. Taboos on Animal Names in Ukrainian. „Language“, vol. 26, № 4, 1950, стр. 489 и след., ср. Д. К. Зеленин. Указ. соч., стр. 105.

¹³ См. Heinz Kronasser. Указ. соч., стр. 172.

¹⁴ Там же, стр. 174.

¹⁵ См. J. Kuryłowicz. Sur quelques mots pré-romans. „Mélanges linguistiques offerts à J. Vendryes“. Paris, 1925, стр. 208—209.

пейских языков старого названия собственно куницы, — вместо него немецкий имеет *Marder* (ср. KEW, стр. 376), славянский — *kuna*].

Следовательно, в слове *росомаха* русский сохранил в измененной форме очень старое название. Суффикс *-аха*, словообразовательное новшество славянского, играл здесь, видимо, увеличительную роль: **sorm-аха* — ‘большая куница’. *Росомаха*, — действительно, крупнейшее животное из куных (длина ее тела — до 80 см.).

В отличие от других славян русские до последнего времени хорошо знают на своей территории *росомаху* как лесного зверя. В определенной зависимости от этого обстоятельства находится отсутствие соответствующей старой формы в других славянских языках. Польск., чешск. *rosotak* заимствованы из русского (последнее — через посредство польского). Мена суффиксов — *-ак* вместо *-ах(а)* могла осуществиться уже в польском, видимо, по аналогии некоторых других названий животных на *-ак*.

Старого названия *росомахи* не сохранили — видимо, тоже по мотивам табу — балтийский, германские, ср. описательные названия *Gulo gulo*, характеризующие ее прожорливость: нем. *Vielfraß*.

2. Термин *болеть* в славянском, балтийском и хеттском

Замечательно, что почти все доказанные случаи табу относятся к названиям животных. Это объясняется, видимо, более очевидным характером табу в названиях животных. Однако совершенно несомненно, что табу наложило отпечаток также на другие стороны жизни и на другие элементы лексики¹⁶. Своеобразие заключается в том, что эти проявления табу труднее поддаются изучению. Тем не менее их нужно постоянно иметь в виду, так как они должны были существенно влиять на судьбу многих слов. Это касается в первую очередь названий ряда важных жизненных функций человека, к которым, в его представлении, причастны сверхъестественные силы.

Одним из типичных примеров этого является, по нашему мнению, судьба термина *болеть* в некоторых индоевропейских языках. Общий индоевропейский термин *болеть* как будто не известен. Взамен общего названия отдельные языки представляют целый ряд местных названий термина *болеть*. Представляются две возможности объяснить такое положение:

1. Общий термин *болеть* в индоевропейском вообще отсутствовал и развился как таковой позднее из названий конкретных болезней по языкам.

2. Общий индоевропейский термин *болеть* был в силу определенных причин вытеснен по языкам другими названиями.

К этой последней возможности применима мысль А. Мейе: „Вообще отсутствие общего индоевропейского названия в условиях, в которых *a priori* можно было бы ожидать наличие такого, всегда нуждается в объяснении, и отнюдь не будет совершено насилие над значением принципа лингвистических запретов, если мы припишем своеобразным проявлениям табу отсутствие индоевропейского термина для понятия, которое в нормальных условиях должно было бы иметь такой термин“¹⁷.

В наши задачи не входят поиски общеиндоевропейского названия *болеть*. Для нас здесь представляет больший интерес определение харак-

¹⁶ Ср. А. Meillet. Указ. соч., стр. 288.

¹⁷ А. Meillet. Указ. соч., стр. 291.

тера, который носила замена возможного общего индоевропейского термина *болеть* по языкам. С этим связаны и некоторые конкретные этиологические выводы нашей статьи.

Одним из названий, заменивших старый общий термин *болеть*, было, вероятно, и слав. *bolēti*. Целесообразно видеть в известном значении этого общеславянского слова вторичное семантическое развитие, какого-то исконного значения. Мы считаем исконным для основы, представленной в слав. *bolēti*, значение 'сильный', 'сила', 'быть сильным' и предполагаем для слав. *bolēti* этимологическое происхождение, общее с др.-инд. *bála-m* — 'сила', 'власть', греч. βελτίων — 'лучший', ст.-сл. **волин**, **волк**, русск. **большой**, объединяемыми обычно вокруг индоевр.* *bel* — 'сильный' (Ср. Walde-Pokorný. Bd. II, стр. 110—111). В принципе это сближение выдвигалось уже А. Вайаном, предлагавшим, однако, маловероятное морфологическое обоснование (A. Vaillant, La dépréverbation, — RÉS, XXII, 1946, стр. 40). Прежние этимологии, исходящие из признания исконным для слав. *bolēti* значения 'болеть', при сколько-нибудь пристальном изучении производят впечатление бесперспективности. В этом нас убеждает и знакомство с привлекаемым обычно при этом сравнительным материалом, который нельзя признать доброкачественным: герм. **bolwa* — 'дурной', 'злой', 'несчастье', ' зло'. Еще Э. Бернекер сомневался в верности сближения, указывая на различие суффиксов и значений (BEW, I, стр. 71—72, см. также Преображенский, Этим. словарь, т. I, стр. 36). Тем не менее эта этимология продолжает держаться, ср. упомянутый словарь А. Вальде и Ю. Покорного, т. II, стр. 189; индоевр. **bhol* — 'дурно', ст.-слав. **волкъ**, **волкти** и готск. *balwa-wesei* — 'Bosheit'.

Вполне допустимо, что древние славяне, избегая старого термина *болеть*, употребляли эвфемизм с фактическим первоначальным значением 'быть сильным'. Природа такого эвфемистического обозначения совершенно очевидна и может быть проиллюстрирована примерами обозначения болезней разными „хорошими“ названиями. Арабы о человеке, который укушен змеей, говорят, что он „здоров“; проказу или чесотку они называют „благословленной болезнью“¹⁸. Замалчивая настоящие и употребляя иносказательные „хорошие“ обозначения, человек надеется повлиять на болезнь. Как известно, в этом заключается древняя вера в магическую силу слова.

На конкретном примере слав. *bolēti* мы обнаруживаем, что в основе местных общих терминов *болеть* может лежать не конкретное название какой-либо болезни, а эвфемистическое обозначение. Это позволяет нам избрать вторую из двух изложенных выше возможностей объяснения. Стремление избежать прямого названия болезнь, *болеть* приводит к его замене, забвению и к табуистическим наименованиям. В. Хаферс специально обращает внимание на распространенность запретов действительных названий болезней и отмечает также случаи табу общего термина *болезнь, больной*¹⁹.

В подтверждение сказанного мы приведем еще один пример, который, в случае правильности, может рассматриваться как новая балто-славяно-хеттская изоглосса. Хеттск. *ištar̥k* — 'заболеть', собственно — *star̥k-*²⁰ может быть объяснено из индоевр. **stergh-*, **storgh-*, что делает вероятным его сближение со слав. **stergo*, ст.-слав. **стражгъ**, русск. **сторегу**, **сторож**. Пропасть между значениями хеттского и славянского слов заполняет балтийский, имеющий несомненно родственные формы

¹⁸ J. G. Frazer. Taboo and the Perils of the Soul, стр. 400.

¹⁹ W. Havers. Указ. соч., стр. 90.

²⁰ См. И. Фридрих. Краткая грамматика хеттского языка. М., 1952, § 24.

с корнем *serg-*, *sarg-*. Свидетельство балтийского особенно ценно благодаря наличию в пределах близких форм обоих сравниваемых выше значений, ср. лит. *sérgēti* — ‘охранять’, ‘стеречь’ и *siřgti*, *sergù* — ‘болеть’. Изложенные выше наблюдения позволяют и здесь предположить для индоевропейской основы **stergh-* значение ‘стеречь’, ‘охранять’ как первоначальное. В литовском и хеттском эта глагольная основа выступила в новом значении ‘болеть’ уже в порядке табуистической замены какого-то старого названия²¹.

Семантическое развитие в этом последнем случае, хотя и носит вполне вероятный характер табу, представляется, естественно, несколько более гипотетичным, чем в разобранном выше случае со слав. *bolēti*. Для большего обоснования перехода значений ‘хранить’, ‘стеречь’ > ‘болеть’ у нас отсутствуют необходимые факты. При всем этом этимологическая связь хеттск. *ištark-*, слав. **stergo*, балт. *serg-* вполне возможна, а развитие значений ‘хранить’ > ‘болеть’ находит существенную поддержку в факте сосуществования обоих значений в пределах названной глагольной основы балтийского.

²¹ Соотношение *st:s* в начале славянского и балтийского слов не является препятствием для сопоставления этих близко родственных форм. Ср. J. J. Mikkola-Slavica. IF, Bd. 6, 1896, стр. 349—351; А. Преображенский. Этимологический словарь, т. II, стр. 384; R. Trautmann. Baltisch-Slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923, стр. 257. Попытка объяснить это соотношение старым чередованием *st:s* в начале слов в индоевропейском принадлежит И. М. Эндзелину; ср. его „Славяно-балтийские этюды“. Харьков, 1911, позднее также — К. Mülenbach — Endzelin, Latviešu valodas vārdnica, т. III, стр. 716. Есть и другие примеры достоверного соотношения *st:s*; ср. русск. *стегать* и лит. *ségti*. Во всяком случае родство лит. *sérgēti*: слав. *stergo* несомненно.

Что касается последовательного разграничения лингвистами в балтийском основ *serg* — ‘стеречь’ и *serg* — ‘болеть’ (ср. R. Trautmann. Указ. соч., стр. 257—258; K. Mülenbach — Endzelin. Указ. соч., т. III, стр. 845—846), то для этого нет видимых оснований, кроме действительно глубокой разницы значений, которая, однако, может быть объяснена вторичным переносом, как мы это пытались показать. Исконная самостоятельность этих двух основ гораздо менее вероятна.

В. МАЖЮЛИС

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРИСТАВКИ *da-* В БАЛТИЙСКИХ ЯЗЫКАХ

В большом академическом словаре литовского языка¹ приставка *da* имеет помету *lit. sl.* (т. е. литовско-славянское), из этого следует, что приставка *da-*, по мнению составителей словаря, является и литовской и славянской, а не заимствованием. Однако в этом случае не требовалось бы никаких помет, как это и наблюдается при словах, общих балтийским, славянским и всем индоевропейским языкам (например, *dámas* — 'дым', *dúoti* — 'дать' и др.). Если редакция данного словаря считает приставку *da* славянской по происхождению, то следовало бы ожидать помету *sl.* (т. е. славянское). Это говорит о том, что происхождение приставки *da* — редактору Литовского словаря не известно. Нет единого мнения о происхождении приставки *da-* и среди других исследователей балтийских языков. По ранее высказанному мнению Я. Эндзелина, лит. *da-*, лтш. *da* — „заимствование из славянских языков вероятно, но собственно не может быть доказано“². Подобное мнение выражает и Р. Траутманн³. В последнем издании латышской грамматики Я. Эндзелина говорится, что употреблению приставки *da-*, лтш. *da-(da)* содействовала идентичная ей славянская приставка *do-(do)*, причем лит. *da-*, лтш. *da-(da)* встречается только в восточных литовских и латышских говорах, т. е. в говорах, граничащих со славянскими⁴. Таким образом, о происхождении *da-* собственно не говорится. У Фр. Куршата о происхождении приставки *da-* не упоминается⁵. Пр. Скардюс приводит альтернативу: либо приставка *da* — заимствована из славянских языков, либо она впоследствии синтаксически в значительной мере уподобилась славянской приставке *do-*⁶. Таким образом, о происхождении этой приставки нет единого мнения.

Приставку *da-* находим во всех говорах Литвы; однако она чаще встречается в восточных и южных районах республики, где литовское население соприкасается с белорусским и польским. В литовских говорах приставка *da-* употребляется обычно с глаголами, в которые она вносит следующие значения:

¹ „Lietuvių kalbos žodynas“, ris, J. Balčikonis, t. II (C—F), Vilnius, 1947, стр. 134.

² ЖМНП, 1910, июль, стр. 196; подобное мнение Я. Эндзелин высказал и в своих „Латышских предлогах“, ч. I. Юрьев, 1905, стр. 71.

³ R. Trautmann. Baltisch-Slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923, стр. 42.

⁴ См. J. Endzeliņš. Latviešu valodas gramatika. Rīga, 1951, стр. 650.

⁵ См. „Litauisch-deutsches Wörterbuch von Fr. Kurschat, Halle a. S., 1883, стр. 75.

⁶ См. Pr. Skardžius. Slavische Lehnwörter im Altlitauischen. „Tauta ir žodis“, t. VII. Kaunas, 1931, стр. 60.

1. Добавление (дополнение) до определенного предела (с отрицанием *neda-* выражает неполноту)⁷: *dapilk* puodynė (Дусетос, Утена, Рокишкис)⁸—‘долей горшок’; *šieno savo neužtekadavo*, — *reikėdavo dasipižkti* (Vilkaviškis)—‘своего сена не хватало — нужно было докупить’; *duona nedakēpus* (Žagarė)—‘хлеб недопеченный’; *tik po truputį, nedapildavom ant saikū, bet, žiūrėk, vogos trūksta* (Vadokliai)—‘только немножко мы не досыпали до меры, но, смотри, не хватает веса’; *sakė, bet nedasākė*—‘сказал, но недосказал’; *ans man trijų kapeikų nedamokėjo* (Alsėdžiai)—‘тот мне не доплатил трех копеек’; *kai viralas nuseks, dapildyk vandens* (Subačius)—‘когда суп уварится, долей водой’; *ištraukė nedavirusių mėsą* (Kupiškis)—‘он вынул недожаренное мясо’; *nuodas nuvirė, reikia dapilti* (Dusetos)—‘вода в горшке выкипела, надо доливать’; *dadėk man riešutų* (Garliava, Jurbarkas)—‘добавь мне орехов’; *dadėk ir jam truputį* (Onuškis, Dusmenys, Daugai)—‘добавь и ему немножко’; *duona nedakēpus* (Antazavė, Kriaunos)—‘хлеб недопеченный’; *nedakēpęs pyragas* (Obeliai)—‘недопеченный пирог’; *duona nedakēpus* (Mažeikiai)—‘хлеб недопеченный’ и др. Глаголы *kepti*—‘печь’, ‘жарить’, *virti*—‘варить’ и т. п., особенно их причастные формы с отрицанием, встречаем с приставкой *da-* во всех литовских говорах: *dakėpti*—‘допечь’, ‘дожарить’, *davirti*—‘доварить’, *nedakēpęs*—‘недопеченный’, ‘недожаренный’, ‘глуповатый’; *nedakēpēlis*—‘недопеченный’ (о булке), ‘глуповатый человек’, *nedašūtės*—‘неупречный’ и др.

2. Доведение действия до конца, результата, обычно всегда с оттенком вышеупомянутого значения (с отрицанием *neda-* выражает недостаточность действия): *datempk žabus lig pamiskės* (Rokiškis)—‘дотащи хворост до опушки леса’; *dàbaigiau rugius vežti* (Dusetos)—‘я кончил возить зерно (рожь)’; *nedavažiāvus Kriauną* (Obeliai)—‘не доехав до села Краунос’; *lig namą nedanėšiau* (Alsėdžiai)—‘я не донес до дома’; *dėlto dàsmušeit*, *nors ir daug žmonių* (Leipalingis)—‘все-таки пролез (букв. ‘добрался’), хотя и много народу’; *ar jau ir tu dasiprotėjai, ką jis sakė* (Žilinai)—‘догадался ли и ты уже, что он сказал?’; *dakařto man tas tavo li-ežuvis* (Sėta)—‘надоела (букв. ‘стала горькой’) та твоя болтовня (букв. ‘язык’)’; *šiaip taip ir jis dasižinōjo* (Merkinė)—‘так или иначе он узнал’; *vargo, vargo buožėms, tai vos sklypelio dasiplakė* (Anykščiai)—‘трудился, трудился у кулаков, а еле приобрел клочек земли’; *kaip tu ten ir dasiklausei, kur jis gyvena?* (Laukuva)—‘как ты там узнал (букв. ‘допросился’), где он живет?’; *paduok man pagalį, aš nedasiiekiu* (Alovė)—‘дай мне палку, я не достаю’; *ar dastráuksi su pašaru lig Jurgio?* (Dusetos Liškiava)—‘хватит ли (букв. ‘дотянем ли’) фуражка до Юрьева дня’; и др. Слово *daësti*—‘застеть’, ‘надоесть’ встречается во всех литовских говорах.

У первого литовского писателя Мажвидаса (?—1563) приставку *da-* находим только в одном слове *dasilytēti*—‘прикоснуться’, встречающемся два раза в одном и том же предложении: *Atnesche lhesausp Bernelus idant tu dassilitetu* (Mž 96, 122⁹)—‘принесли детей к Иисусу, чтобы он прикоснулся к ним’ [у Мажвидаса это цитата из библии (евангелие от Марка, гл. X), она взята Мажвидасом, вероятно, из библии в литовском переводе, не сохранившемся до наших дней]; у Мажвидаса всегда используются литовские приставки, а не приставка *da-* (которую мы

⁷ В литовском языке данное значение приставки *da-* является преобладающим.

⁸ В скобках здесь и далее указывается место употребления данного слова.

⁹ Mž = Mažvidas. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams. Spaudai parūpino dr. Jurgis Gerullis leipcikio universito ekstraordinarinis profesorius. Kauñas, 1922.

считаем славянской по происхождению): Maria... Wira *nepageide* Nei io *priliteia* (Mž 165) — ‘Мария... не желала мужа и не прикоснулась к нему’; Bet ranka sawa *palitek* (Mž 435) — ‘но своей рукой прикоснись’, ср. выше *dassiletetu*; Mumus gime... Isch mergos *nelitetos* (Mž 370) — ‘для нас родился... от девы непорочной (букв. ‘нетронутой’); *prileiskit* susimilti (Mž PLK 164¹⁰) — ‘смилийтесь’; Sweikata ir *palaimi* tassai gal *pridoty* (Mž PLK 97) — ‘здоровье и благодать тот может дать’; Pagalba mums tu pats *priedok* (Mž PLK 166) — ‘помощь нам ты сам дай’; Tap sakramentapi *perleisti* (Mž PLK 115) — ‘допустить к тем сакраментам’; Dwasse schwenta tu *papildik...* (Mž PLK 153) — ‘ты пополняй святым духом...’; dok mums werkientiems *ischgirsti*, jag mus nari sawin tureti (Mž PLK 153) — ‘дай нам плачущим услышать, что ты хочешь нас взять (букв. ‘иметь’) к себе’ и др. Приставка *da-* у Мажвидаса встречается только в словах, заимствованных из славянских (польского) языков, ср. *dastainas* (Mž PLK 95), *dastainy* (Mž PLK 118), *nedastainai* (Mž PLK 115, 163), *dachadu* (Mž PLK 138) и др.

М. Даукша (1527—1613) приставки *da-* также почти не употребляет¹¹; вместо нее он пишет обычно приставки *per-*, *pri-* и т. п. (как и Мажвидас); например, *pérłaizdia* west kitā moter̄j (=dopuszczaję poiąć inczą żone. DP 70)¹²; *pridawinéio* tūlū gardumīnū (=dodawał rozmaitych przysmaków. DK 41)¹³ и др., однако иногда встречаем и *da-*: *Daláiskit* waikelamus... manesp eiti (DK 3) — ‘разрешите детям... подойти ко мне’; *dasižinot* (DK 132) — ‘узнать’ и др.

У Бреткунаса (1532—1602) приставка *da-* также редка¹⁴. Восточно-литовский писатель XVI в. М. Петкевичюс приставку *da-* использует также редко; например, *dalayskit* waykamus eyt manęsp — dopuśczenie działkom przyść do mnie (PK 195)¹⁵; ko tikray *daeysim* — czego zaiste doydziemy (PK 212) и, может быть, еще несколько примеров; в этом двухязычном катехизисе соответствующие польские слова с приставкой *do-* на литовский язык переводятся обычно с литовскими приставками, ср. по *pabaigimui* — по *dokončzeniu* (PK 82); *noredam* *prieyt* — *dochodząc* (PK 132); *palideiau* — *doprowadzal* (PK 59) и др.

В словаре Сирвидаса [Ширвид (1564—1631)] находим больше примеров для приставки *da-*: *nedakiepis* — niedopieczony (Sz D 175)¹⁶, [но: *periapinu* — przepiekam (Sz. D 298), *iszkiepinu* — wypiekam (Sz D 416), *iszkiepis* — wypiekły (Sz D 416)], *daduomi* — dodaię (Sz D 41), *daduomi* — nadążam (Sz D 161), *nedaaugis* — niedorosły (Sz D 175), *nedagirdžiu* — niedosłyszę (Sz D 175), *nedagir* deimas (Sz D 175), *nedamoku* — zostaię (Sz D 458), *nedamakieimas* (Sz D 458), *dasižinau*, *dasitiriu* — bądam się (Sz D 4), *dasižino* toias (Sz D 42, 43), *dasitiriu* — cmacam

¹⁰ Mž PLK = Pirmoji lietuviška knyga. Vilnius, 1947.

¹¹ Pr. S kardžius. Slavische Lehnwörter im Altlitauischen, стр. 60.

¹² DP = Postilla Catholicka... Per Kúniga Mikaloiv Davkzą, Kanoniką Médnikų... Wilniui Drukarnio Akadémios Societatis Jesv A. D. 1599 (цифры указывают страницы).

¹³ DK = Катехизис Даукши 1595 г. см. в „Der polnische Katechismus des Ledesma und die litauischen Katechismen des Daugba und des Anonymus vom Jahre 1605 nach dem Krakauer Originalen und Wolters Neudruck interlinear herausgegeben von Ernst Sittig“. Göttingen, 1929. (Помещено в 7^х Ergänzunghefte к KZ).

¹⁴ Некоторые примеры см. Lietuvių Kalbos Žodynas, red. J. Balčikonis, t. II (C — F), стр. 134.

¹⁵ PK = Polski z Litewskim Katekismem... Nakładem Jego Mści Páná Málcherá Pietkiewiczá, Pisarzā ziemskego Wileńskiégo. W Wilnie, Drukował Stanisław Wierzeyski, 1598 (цифры указывают страницы).

¹⁶ Sz D = Dictionarium trium linguarum. In usu Studiosae Iuuentutis, Avctore R. P. Constantino Szyrwid... Quinta editio recognita et aucta (первое издание 1629 г. — B. M.). Vilnae MDCCXIII (цифры указывают страницы).

(Sz D 139), *daraszau* — dopisuię (Sz D 43), *daszoku* — doskaknię (Sz D 43), *dawerdu* — dowaram (Sz D 45) и др: (ряд сирвидасских примеров с приставкой *da-* служит только для перевода польских слов с *do-*)¹⁷. Приставку *da-* находим и в послесирвидасских словарях литовского языка — Нессельмана, Куршата, Юшки, Межиниса, Шлапялиса и др.

О приставке *da-* говорится и в литовской грамматике Д. Клейна от 1653 г., где ее (приставки *da-*) значение — доведение действия до известного результата¹⁸.

Исследование показывает, что у древнелитовских писателей восточной Пруссии приставка *da-* встречается реже, чем у древнелитовских писателей Великого Литовского Княжества¹⁹. По словам Пр. Скардюса, приставка *da-* известна только тем литовским писателям XVI—XVII вв. восточной Пруссии, которые вышли из Литвы или имели сношения с людьми, знающими польский или другой славянский язык²⁰.

Приставка *da-* имеется и в латышских говорах; она распространяется по всей восточной Латвии до Триката, Рауны, Валмиеры, Цесиса, Скуене (т. е. и в среднелатышских говорах)²¹: *daliec pieci pie piecem* (*Lizuma*) — 'прибавь (букв. 'доложи') пять к пяти'; *maize nav dacēpusi* (*Kaldabruna*) — 'хлеб недопеченный'; *cīlvēku dajēm* (*Kaldabrunā*) — 'принимай человека'; *dēls nedacepis* (*Kaldabruna*) — 'глуповатый сын'; *dajemt* (*Oknistē*) — 'принять'; *es rītu daēcesu* (*Mālupē*) — 'я завтра добороню'; *kulšana gan daēda* (*Kaldabruna*) — 'молотьба уж надоела'; *kāzas daēd* (*Aulējā*) — 'свадьба уж надоела'; *lai vēl mieži dabriest pilnīgāki* (*Saiskavā*) — 'пусть ячмень еще больше (букв. 'полнее') доспевает'; *nedabarot* (*Zvīrgzidine*) — 'недокормить'²² и др. Судя по древнелатышским письменным памятникам (XVI—XVII вв.) приставка *da-* употреблялась в XVI—XVII вв. и в Земгале²³. В восточнолатышских говорах при употреблении различают приставку *da-* и *pie*²⁴. По мнению Я. Эндзелина, приставка *da-* в латышском языке вносит в глаголы следующие значения:

1. Достижение предела или цели²⁵: *da dibinam nevar daitet* — 'до дна не может дойти'; *davest līdz ceļam* — 'довести до дороги'; *dabraukusi pie var-tiem* — 'доехавшая до ворот'; *linu druvu dagājusi* — 'дошедшая до посевов льна' и др.

2. Добавление (дополнение) до определенного предела²⁶: *dabēr vēl drusku klāt!* — 'досыпь сюда еще немножко'; *daspraušt puķi* — 'приколоть цветок'; *daliec pienu pie putras* — 'доливай молока в кашу' и др.

¹⁷ Cp. мнение Остен-Саккена, что приставка *da-* „bei Szyrwid Dict. fast nur zur Übersetzung von poln. *do-* in Komposita dient“ (JF, Bd. XXXIII, стр. 202); cp. также замечание № 5 (там же).

¹⁸ „... da significat perfectionem eius rei, quam nomē seu verbum intendit, ut: *da-kepēs perfecte assatus*, wol ausgebraten (*daswera adaequat liberam es wiegt zu*) *daraszau compleo paginam scribēdo*, *dadirbu laborem perficio*, *dasiklāusu diligenter interrogo*, *ut intelligam*“ — Grammatica Litvanica... à M. Daniele Klein Pastore Tils. Litu. Regiomonti... anno 1653, стр. 172.

¹⁹ Cp. Pr. Skardžius, Slavische Lehnwörter im Altltauischen, стр. 60.

²⁰ „Am zahlreichsten begegnet es aber bei ost- und mittellitauischen Autoren jener Zeit, z. B. bei Širvydas, in KN., Post. u. a.; in vielen Fällen dient es bei ihnen nur zur Übersetzung von p. od. wr. *do-* in Kompositis“ (там же).

²¹ „Tālāk uz rietumiem tagad sniedzas verbu priedēklis *da-*, kas lietojams arī Trikātas, Raunas, Valmieras, Čēsu un Skujenes vidusizlōksnēs“ (J. Endzelins. Указ. соч., стр. 650).

²² Другие примеры см. в K. Mülenbachs, Latviešu valodas vārdnica, S. I (под *da-*).

²³ „Spriežot pēc 16. un 17. gadsimteņa tekstiem, priedēklis *da-* ir bijis toreiz lietojams arī Zemgalē“ (J. Endzelins. Указ. соч., стр. 650).

²⁴ См. там же, стр. 651.

²⁵ „... Kadas robežas vai darbības mērķa sasniegšanu“ (cp. K. Mülenbachs. Указ. соч., стр. 427.)

²⁶ „Ar pievienošanu kam ir darišana“ (J. Endzelins. Указ. соч., стр. 651).

Всем верхнелатышским говорам (а также и в Циргали, Пиебалга, Ранке) известна не только приставка *da-*, но и предлог *da*²⁷; последний в некоторых верхнелатышских говорах употребляется наряду с предлогом *līdz* — ‘до’²⁸. Дальше к западу от восточнолатышских говоров предлог *da* не встречается, а только приставка *da-*. Литовские говоры предлога *da* не знают; в восточнолитовских говорах находим только частицу *do* (*kas do mergos* — ‘что за девушки’), которая с *da* или *da-* не имеет ничего общего²⁹.

Тот факт, что *da-* чаще встречается в восточных и южных районах Литвы, восточных районах Латвии (см. выше) и реже в низнелитовских (жемайтских) говорах, а в западнолатышских говорах отсутствует³⁰, следует объяснить тем, что приставка *da-* — славянского происхождения³¹. Кроме того, в древнелитовских (а также в древнелатышских) письменных памятниках приставка *da-* редка, а там, где она встречается, нетрудно установить ее славянское происхождение. Приставку *da-* не употребляет первый литовский писатель Мажвидас (см. выше), она мало известна и другим западнолитовским писателям древнего периода. Приставка *da-* чаще появляется в более поздних, особенно в восточнолитовских письменных памятниках. Приставки часто соотносятся с предлогами, но встречающийся в восточнолатышских говорах предлог *da*, без сомнения, славянского происхождения³² и по этому признаку; вместо *da* в литовском языке — *iki*, *lig* (*ligi*) — ‘до’, в латышском — *līdz* — ‘до’. В славянских же языках предлог *do* очень продуктивен³³, а приставка *do-* имеется во всех славянских языках³⁴. Приставку *do-* находим и в отлагольных именных образованиях во всех славянских языках (что является древним фактом), ср. russk. *довод*, *добыча*, *договор*,польск. *dostęp* — ‘доступ’, *dozór* — ‘присмотр’, чешск. *dobytok*, болг. *добитък* — ‘животное’ и др. Подобного типа образования с приставкой *da-* в литовском, а также в латышском (за исключением самых восточных окраин литовского и латышского населения и некоторых древних литовских и латышских писателей, где славянское влияние в этом случае бесспорно) не употребляются, если не считать лит. *nedakēpēlis* — ‘недопеченный’ (о хлебе и т. п.), ‘глуповатый человек’, которое также не является древним. Если в балтийских языках *da-* было бы исконно балтийским, то оно употреблялось бы и с именными образованиями, как в славянских языках приставка *do-* или в балтийских приставки — лит. *iš-*, *uz-*, *at-* и др. Итак, факт отсутствия в балтийских языках собственного предлога или частицы *da* еще раз говорит в пользу заимствования приставки *da-* из славянских языков. Что приставка *da-* является исконно балтийской, говорит, наконец, еще и тот факт, что ее значение совпадает со значением славянского *do-*³⁵.

27 См. J. Endzelīns. Указ. соч., стр. 650.

28 См. „Rakstu krājums. Rīgas Latviešu Biedrības Zinību Komisijas izdots“, s. XVII, стр. 146.

29 О происхождении лит. *do* — ‘за’ см. A. Augstkalns. Lituano *do*. Studi Baltici, vol. VI. Roma, 1936—37, стр. 99—103.

30 См. J. Endzelīns. Указ. соч., стр. 650.

31 Приставку *da-* в балтийских языках славянской считают: A. Brückner. Litu-slavische Studien, Bd. I. Weimar, 1877, стр. 161; A. Leskinen. Die Bildung der Nomina im Litauischen. Leipzig, 1891, стр. 457; Osten-Sacken. — JF, Bd. XXXIII, 202; „Li. da-iet hinzugehen stammen aus dem Slavischen“ — J. Pokorný. Indogerma-nisches etymologisches Wörterbuch, Lief. II. Bern, 1951, стр. 182 и др.

32 Ср. И. Эндзелин. Латышские предлоги, ч. 1. Юрьев, 1905, стр. 72.

33 Ср. Vondrák. Vergleichende slavische Grammatik, Bd. II. Göttingen, стр. 372 и след.

34 Об этимологии слов. *do*, *do-* см. E. Hermann. Litauische Studien. Berlin, 1926, стр. 351; J. Pokorný. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Lief. II. Bern, 1951, стр. 181—182.

35 В отношении значения лит. *da-* см. ниже.

Распространению приставки *da-* в литовском языке содействовал и следующий фактор. Во всех литовских говорах встречается наречие *dà* (*dá*) — 'еще' вместо литературного *dár* — 'еще' [*dà* (*dá*) — 'еще' восходит к *dár* — 'еще'³⁶ (в некоторых литовских говорах *dà* (*dá*) употребляется наряду с *dár*)]: *dà neprivalgiau*, *duok dà truputj sūrio* (*Panevėžys*) — 'я еще не наелся, дай еще немного сыру'; *dà tunai man šnekési!* (*Ziežmariai*) — 'будешь ты мне еще говорить!'; *dá neužauges* (*Dusetos, Zarasai*) — 'еще не выросший'; *dá nematyti parvažiuojant* (*Keturvalakiai, Vilkaviškis*) — 'еще не видать его (ее, их) приезда'; *dá nesikelsiu*, *dá ne dienelé*, *dá negiedojo raibi gaideliai* (*Daukšiai, Marijampolė*) — 'еще не встану, еще слишком рано (букв. 'еще не денечек'), еще не пели пестрые петушки'; *o kai dabègsi aukštà kalnelj*, *da gausi abrakèlio* (*Merkinė*) — 'а когда добежишь до высокой горы, еще получишь корма'; *duok dà* (*Veivirženai, Klaipėda*) — 'дай еще'; *Neskobk obuoliu*, *da tegu auga* (*Mažcikiai*) — 'не рви яблок, пусть еще растут' и др. Это *dà(dá)* — 'еще' находим и в литовских словарях; только *dár* — 'еще' у Юшки, Шлапялиса, Лалиса, Межиниса и др.

Наречие *dà(dá)* восходит к *dár* — 'еще' (*darkos* — 'еще' — *Gervėčiai*), а это к *dābar* — 'еще'³⁷. *Dābar* — 'еще' находим в районах Гаргждай, Клайпеда, Паланга, Лаздунай и др.³⁸; литовские говоры восточной Пруссии в XIX в. уже не знают *dābar*, а только *dár*³⁹. *Dābar* — 'еще' находим и в древнелитовской письменности: *labai anksti*, *dabar nepraauschus* (BP I 398⁴⁰) — 'очень рано, еще не рассвело'; *o kada mums dabar*, *Pone*, *tà meilę dotumbey* (PK 179) — 'а когда, господь, оказал бы (букв. 'дал бы') ту милость'; *kiti bus dābar... ženklai* (DP 14) — 'другие еще будут... знаки'; *dābar* (DP 10, 21, 42, 51, 79) и др., а также *Dabar penkis pri-désiu* (*Dauk. D. № 19*⁴¹) — 'еще добавлю пять'; *dābar* находим и в словаре Юшки. Лит. *dābar* был синкопирован в *dár*; когда произошел этот процесс, точно установить трудно, однако данный факт нельзя считать древним, так как *dár* в литовских письменных памятниках XVI—XVII вв. не встречается (а только *dābar*)⁴², причем *dābar* известно, как уже указывалось, и современным литовским говорам. Синкопирование *dābar* — 'еще' в *dár* — 'еще' аналогично синкопированию *dabař* — 'теперь' в *dař* — 'теперь'⁴³, последнее, т. е. *dař* — 'теперь' встречаем в дзукских и некоторых других литовских говорах [ср. *dařtes* — 'теперь' из *dabařtes* — 'теперь' (*Marijampolė*)]. Итак, имеем два аналогичных по фонетическому развитию ряда слов — *dābar*: *dár // dabař:dař* (или *dābar*, *dabař > dár*, *dař*)⁴⁴.

³⁶ Cp. Pr. Skardžius. *Daukšos akcentologija*. Kaunas, 1935, стр. 239.

³⁷ Там же.

³⁸ См. „Lietuvių kalbos žodynas“, red. J. Balčikonis, t. II (C—F). Vilnius, 1947, стр. 135.

³⁹ „dábar, Adverb., nach Brd. noch, annoch, noch nicht, weitgefehlt, warte ein wenig. In pr. Litt. jetzt ganz unbekannt“ — Litauisch-deutsches Wörterbuch von Fr. Kurschat. Halle a. S., 1883, стр. 75.

⁴⁰ BP = Postilla, tatai esti, Trumpas ir Prastas Ischguldimas Evangeliu... Per Jana Bretkuna... Karaliauczinie, 1591.

⁴¹ Dauk. D. = S. Daukantas, Dajnes, Petropile, 1846.

⁴² Cp. Lietuvių, kalbos žodynas, red. I. Balčikonis, t. II (C—F). Vilnius, 1947, стр. 182—183.

⁴³ В литовском литературном языке *dár* — 'еще', *dabař* — 'теперь', а не *dābar* — 'еще', *dař* — 'теперь'.

⁴⁴ Литовские слова *dābar* — 'еще' и *dabař* — 'теперь' в этиологическом отношении, вероятно, те же самые. В прусском языке находим *dabber* — 'еще', которое совпадает с литовским *dābar* — 'еще' (в латышском никакого *dabar* 'еще' нет), но *dabař* — 'теперь' нет ни в прусском, ни в латышском языках. Следует предполагать, что лит. *dabař* — 'теперь' по сравнению с лит. *dābar* — 'еще' и прусск. *dabber* — 'еще' является новообразованием в отношении переноса места ударения с начала слова на конец (*dābar* → *dabař*) и изменения значения ('еще' → 'теперь'). В какой-то мере аналогичный факт: *paskui* — 'за', 'вслед' и *paskui* — 'позже', 'потом'; различие в местах ударения *paskui* и *paskui* — не древнее явление (см. Pr. Skardžius. *Daukšos akcentologija*, стр. 239).

Конечный *-r* с предыдущим ударным, особенно долгим гласным в литовском языке имеет тенденцию исчезать,ср. *duktē* < **duktér* (и даже *i*⁴⁵ — ‘и’ вм. *iř* — ‘и’, *ā*⁴⁵ — ‘ли’ вм. *ař* — ‘ли’); подобным образом исчез и конечный *-r* в *dár* — ‘еще’. Если юго-западные верхнелитовские говоры употребляют это наречие с нисходящей интонацией, т. е. *dá*, то этот факт указывает на то, что конечный *-r* наречие *dár* потеряло недавно, в противном случае была бы или восходящая интонация, или краткость (хотя в некоторых местах Литвы и находим краткость)⁴⁶.

Наречие *dà(dá)* — ‘еще’ в сочетании с глаголами несомненно имело влияние на глагольную приставку *da-* (заимствованную из славянских языков): *dá këpti* (Dusetos, Jurbarkas, Marijampolé) — ‘еще печь’, ‘жарить’ и *dakëpti* (там же) — ‘допечь’, ‘дожарить’, *duona nedakēpus* (там же) — ‘недопеченный хлеб’; *dà pirkšiu* (там же) — ‘еще буду покупать’ и *dapirkšiu* (там же) — ‘докуплю’; *dá dirbo* (там же) — ‘еще он работал’ и *dadirbo* — ‘доработал’, *dadirbo kojines* (там же) — ‘довязал чулки’; *dá piausiu šieno* (Дусетос) — ‘еще покошу сено’ и *kai lig sodo dapiáusiu, eisiu namo* (там же) ‘как докошу до сада, пойду домой’; *dá pilsiu alaus, noris gert* (Dusetos) — ‘еще налью пива, хочется пить’; и *dapilsiu puodeli, kad būtq pilnas* (там же) — ‘долью кружку, чтобы была полной’; *dá dëk, bus daugiau* (Dusetos, Marijampolé) — ‘еще положи, будет больше’; и *ir man dadék obuoliū* (там же) — ‘и мне добавь яблок’; *dá sakýk, jdomu* (там же; Jurbarkas) — ‘еще скажи, интересно’; *dasakýk, jeigu pradéjai* (там же) — ‘доскажи, раз уже начал’; *dá mokëk* (там же) — ‘еще плати’; и *damokëk, da trüksta* (там же; Merkinė) — ‘доплати, еще не хватает’ и др.

Влияние литовского наречия *dà (dá)* — ‘еще’ (*dár* — ‘еще’) на славянскую по происхождению приставку *da-* в литовских говорах привело к тому, что преобладающим значением данной приставки стало значение добавления (дополнения) [т. е. *dà (dá)* — ‘еще’ → *da-*].

Итак, можно сделать следующие выводы:

1. Приставка *da-* известна всем говорам Литвы (в литературном литовском языке ее нет); в Латвии она распространяется только в верхнелатышских и в средних диалектах (в латышском литературном языке ее также нет). Данная приставка территориально шире распространена в областях, соприкасающихся с русским и белорусским населением — в Латвии и польским населением — в Литве.

2. В литовском языке приставка *da-* почти всегда вносит в глаголы значение (или его оттенок) добавления; в латышском языке она в отношении значений совпадает со славянским *do-*.

3. Подобному значению приставки *da-* в литовском языке содействовало влияние литовского наречия *dà (dá)* — ‘еще’ (<*dár* — ‘еще’), встречающегося во всех диалектах Литвы.

4. Первый литовский писатель Мажвидас приставки *da-* не употребляет; редко она встречается и у других древних западнолитовских писателей. Приставка *da-* чаще появляется у древних восточнолитовских писателей. Приставка *da-*, встречающаяся в древнелитовской письменности, по значению полностью совпадает со славянской *do-*, так как в древнелитовском наречии *dà (dá)* — ‘еще’ и даже *dár* — ‘еще’ [от которого произошло *dà(dá)*] нет, а есть только — *dabar* — ‘еще’ (от которого произошло *dár* — ‘еще’).

5. Приставка *dá-* в литовском и латышском языках — славянского происхождения, в прусском ее нет.

что касается *dabar* и *dabař*, то тут различие, по-видимому, древнее, так как оно имеется и в древнелитовском (ср. там же, стр. 239). В Катехизисе Мажвидаса (1547) *dabar* — ‘теперь’ нет, а только *nu* — ‘теперь’.

⁴⁵ Диалектное.

⁴⁶ См. выше, стр. 132.

В. Н. ТОПОРОВ

НОВЕЙШИЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ БАЛТО-СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

(*Библиографический обзор*)

Задача настоящей статьи заключается в том, чтобы дать по возможности полную информацию о работах, в той или иной степени касающихся вопросов балто-славянских языковых отношений. Поэтому в ней будут указаны не только исследования, освещдающие балто-славянские языковые связи в целом, но и работы, которые посвящены отдельным частным вопросам этой темы. Наряду с трудами, разбирающими проблемы древнейших отношений между балтийскими и славянскими языками, будут указаны и те работы, в которых изучаются позднейшие связи между этими языками, главным образом, в плане влияний отдельных славянских языков на балтийские. Использованный материал будет включать, как правило, лишь те статьи и книги, которые в той или иной степени непосредственно посвящены вопросам балто-славянских языковых связей. Помимо них, существует еще ряд исследований, в которых содержатся отдельные ценные наблюдения в области индоевропейских языков (прежде всего балтийских), причем эти наблюдения и выводы могли бы в ряде случаев с пользой быть учтены при анализе балто-славянских проблем. Однако размеры статьи не позволяют коснуться этих работ с достаточной полнотой.

В хронологическом отношении в этом обзоре рассматриваются работы за послевоенный период (т. е. за десятилетие с 1945 г. по 1955 г.), однако нередко упоминаются и некоторые исследования, появившиеся в годы войны. Такое расширение хронологических рамок обзора оправдывается тем, что ряд важных работ военных лет остался малоизвестен или труднодоступен для тех, кто интересуется балто-славянскими проблемами.

* * *

Если попытаться сделать общее заключение об эволюции взглядов индоевропеистов на родственные связи внутри индоевропейского праязыка и на характер и пути его распадения, то можно сказать, что последние 50 лет отмечены утверждением и признанием идеи „волновой“ теории И. Шмидта в ущерб идеям „родословного дерева“ А. Шлейхера¹. При этом сохранилась лишь основная мысль И. Шмидта, а все остальное было в различной степени преобразовано и модернизировано. Эта основ-

¹ Правда, некоторые лингвисты пытаются найти компромисс между этими двумя теориями, считая их взаимодополняющими, или предложить какое-нибудь новое объяснение. См., например, E. Pulgram. Family Tree, Wave Theory and Dialectology. Orbis Bulletin international de documentation linguistique, vol. II, Nr. 1, Louvain, 1953, стр. 67—72; O. Höfler. Stamm'saumtheorie, Wellentheorie, Entfaltungstheorie. „Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur“, Bd. 77, 1955; и след.

ная мысль заключалась в том, что, вопреки шлейхеровской теории, неминуемо предполагающей целый ряд прайзыков на пути распада индоевропейского прайзыка, родственные отношения различной степени между отдельными индоевропейскими языками можно объяснить, не прибегая обязательно к промежуточным прайзыкам, а с помощью „волн“ (в современной терминологии — „изоглосс“). Идеи Г. Шухардта, лингвистическая география, труды итальянских „неолингвистов“ с их специфическим интересом к лингвистико-географическим проблемам способствовали в значительной степени дискредитации шлейхеровской точки зрения и торжеству взглядов Шмидта.

Общие работы об индоевропейских диалектах А. Мейе², Х. Педерсена³, Дж. Бонфанте⁴, В. Пизани⁵ и других привели к убеждению, что поиски изоглосс и определение взаимного географического расположения индоевропейских диалектов важнее и более оправданы, чем попытки объяснения сходства между отдельными индоевропейскими диалектами посредством частных прайзыков.

В связи с этим менялось и отношение ученых к подобным промежуточным прайзыкам. Уже А. Мейе в первом издании „Индоевропейских диалектов“ подверг сомнению существование балто-славянского прайзыка⁶. Разгоревшаяся после книги Мейе дискуссия, в которой приняли участие И. Эндзелин, И. Розводовский, В. Поржезинский, А. Шахматов, И. Иокль, Н. Ван-Вейк и другие, выявила наличие различных точек зрения по вопросу о древнейших отношениях между балтийскими и славянскими языками.

В 1917 г. А. Вальде⁷ установил, что итalo-кельтское единство в том виде, как это предполагалось раньше, не существовало: выяснилось, что латино-фаликские диалекты были теснее связаны с ирландским, а оскско-умбрские с бритскими диалектами. Некоторые новые факты, ставшие известными благодаря открытию хеттского и тохарского языков, еще более способствовали расшатыванию старой теории итalo-кельтского прайзыка⁸ и утверждению точки зрения Вальде, которую в настоящее время разделяют В. Порциг, Г. Краэ, Ю. Покорный и др.

Усложнились и взгляды ученых на индо-иранский прайзык. Правда, это было вызвано не соображениями общего характера, а новым материалом (мы имеем в виду споры между Г. Гриersonом, С. К. Чаттерджи, Ж. Блоком, Г. Моргенштерне, Р. Л. Тэрнером и другими о языковой принадлежности дардских диалектов северо-западной Индии и смежных районов Афганистана). Однако в целом теория индо-иранского языкового единства остается, разумеется, непоколебимой.

Таким образом, из трех несомненных для лингвистов XIX в. промежуточных прайзыков (индо-иранский, итalo-кельтский и балто-славянский) именно балто-славянский привлекает в настоящее время наиболее

² A. Meillet. *Les dialectes indo-européens*. Paris, 1908.

³ H. Pedersen. *Le groupement des dialectes indo-européens*. København, 1925.

⁴ G. Bonfante. *Dialecti indoeuropei*. „Annali del R. Institute Orientale di Napoli“, t. IV, 1931, стр. 69—185.

⁵ V. Pisani. *Studi sulla preistoria delle lingue indoeuropee*. „Memorie della R. Accad. Naz. dei Lincei, cl. mor.-stor.-filol“, vol IV, fasc. 6, 1934, стр. 547—653; его же. *Geolinguistica e indoeuropeo*. Там же, vol. IX, fasc. 2, 1940.

⁶ Сомнения в существовании балто-славянского прайзыка высказывались и до Мейе, но они оставались почти никак не аргументированными и были полностью субъективными. См., например, И. Бодуэн де Куртене. Лингвистические заметки и афоризмы. ЖМНП, 1903, апрель, стр. 246 (критика взглядов В. Богородицкого).

⁷ A. Walde. *Über die älteste sprachliche Beziehungen zwischen Kelten und Italikern*. Innsbruck, 1917.

⁸ Исключением в этом отношении оказался А. Мейе, который и во втором издании „Индоевропейских диалектов“ (1922) отстаивал теорию итalo-кельтского прайзыка.

пристальное внимание языковедов. Вокруг общих и частных проблем балто-славянского языкоznания все время идет острая дискуссия, однако вопрос о древнейших языковых балто-славянских отношениях по-прежнему не решен, и более того, его решение в силу ряда обстоятельств стало, пожалуй, еще более сложной задачей, чем раньше.

В решении вопроса о древнейших балто-славянских связях сейчас существует два направления: первое не признает существования балто-славянского прайзыка и объясняет значительность балто-славянских сходств долгим соседством этих языков, сохранением архаизмов в условиях индоевропейской периферии в стороне от основных центров культурной жизни древнего мира, принадлежностью к одной и той же изоглоссной области, к одному „языковому союзу“ в понимании Пражского лингвистического кружка и т. д.; второе по-прежнему стоит на точке зрения балто-славянского языкового единства, существовавшего непосредственно после распада индоевропейского прайзыка. Лишь таким образом, по мнению сторонников этого направления, можно объяснить поразительные совпадения между балтийскими и славянскими языками.

Между этими двумя крайними точками зрения есть и промежуточные, предлагающие компромиссное решение или вообще не фиксирующие определенно свою позицию.

* * *

Среди последних работ западных лингвистов, посвященных проблемам общнеиндоевропейского языкоznания, в частности вопросу членения индоевропейской языковой области и взаимоотношения отдельных диалектов друг с другом, обстоятельностью, богатством материала и тонкостью отдельных наблюдений выделяется работа В. Порцига „Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebietes“ (Heidelberg, 1954). Многие разделы этой книги рассматривают место балтийских и славянских диалектов среди других индоевропейских диалектов. Всесторонне выявлены связи диалектов: итал. и слав.; кельт., балт. и слав.; герм. и балто-слав.; герм. и слав.; герм. и балт.; иллир., балт. и слав.; арийск. и балто-слав.; арийск. и слав.; арийск. и балт.; греч. и балто-слав.; греч. и слав.; греч. и балт.; греч., арм., балт. и слав.; арийск., греч., балт. и слав.; алб., балт. и слав.; алб., греч. и слав.; алб., слав. и арм.; алб., греч., балт., слав. и арм.; алб., арийск., балт. и слав.; алб., арийск., балт., слав. и арм. Кроме того, указаны отдельные славяно-тохарские соответствия⁹. Ни одно из перечисленных сопоставлений не претендует на чрезвычайное значение и не дает оснований для строго доказательной дифференциации степеней родственных связей между отдельными диалектами. Вопрос о характере древнейших языковых отношений специально между балтийскими и славянскими диалектами не разбирается, что можно рассматривать (даже если учесть теоретические предпосылки автора) как излишне крайнюю реакцию против теории балто-славянского прайзыка. Однако в трех случаях Порциг все же был вынужден отдать дань старой точке зрения. Речь идет о тех разделах, где он сравнивает герм. с балто-слав., арийск. с балто-слав. и, наконец, греч. с балто-слав. Во всех этих случаях балто-слав. часть противопоставляется как нечто целое герм., арийск. и греч. Отнесение Порцигом

⁹ Отдельные балто-тохарские и балто-славяно-тохарские сходства были отмечены еще Э. Френкелем в работах: „Tocharų kalbos gramatika ir baltyų kalbos“ (Archivum Philologicum“, Bd. III, 1932) и „Zur tocharischen Grammatik“ (IF, Bd. 50, стр. 1—20, 97—108 и 220—231).

славянских и балтийских языков к „восточной“ группе индоевропейских языков представляется отчасти непоследовательным, как, впрочем, и само деление на „восточную“ и „западную“ группы. Дело в том, что, по-видимому, многочисленные нити чрезвычайно тесно связывают балтийские и славянские языки с языками „западноевропейской“ группы. Прежде всего здесь имеются в виду славяно-германские и балто-германские связи, установленные еще в первое десятилетие после основополагающих работ Ф. Боппа и Р. Раска, а также балто-иллирийские, отмеченные Г. Краэ¹⁰, Ю. Покорным¹¹ и К. Каспарсоном¹², и славяно-фракийские, указанные Д. Дечевым¹³. Даже отбрасывая преувеличения в работах такого поборника „паниллиризма“, как Ю. Покорный, все же нельзя пройти мимо некоторых существенных сходств между иллирийским и балто-славянским, хотя они обычно извлечены из топонимического материала.

Идеи о древней „центральноевропейской“ группе языков нашли еще более полное выражение в книге Г. Краэ „Sprache und Vorzeit“ (Heidelberg, 1954), написанной с привлечением большого топонимического материала. По мнению Краэ, балтийские языки также входили в эту группу наряду с германским, итальянским, иллирийским и венетским языками. Об отношении славянских языков к только что перечисленным сказано лишь то, что они были довольно тесно связаны между собой, о чем свидетельствует, между прочим, ряд топонимических соответствий. Однако, несмотря на отдельные не совсем ясные упоминания о балто-славянском языковом единстве¹⁴, практически балтийские и славянские диалекты в трактовке Краэ относятся к разным группам. Во всяком случае, именно так приходится понимать включение балтийских диалектов в „центральноевропейскую“ группу и невключение в нее славянских. Топонимический анализ Краэ в этой книге, как и в других его работах, прежде всего в „Alteuropäische Flußnamen“ („Beiträge zur Namenforschung“, Bd. I—III, 1949—1952), при всей своей важности и популярности, в настоящее время не может, кажется, решить вопрос о древнейших языковых отношениях индоевропейских диалектов, тем более, что некоторые ученые предпочитают видеть в центральноевропейской и балтийской топонимике (не говоря уж о южноевропей-

¹⁰ H. Krae. Illyrica, IV—V. IF, Bd. 49, 1931, стр. 267—274 (V. Baltisch und Illyrisch); его же. Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954, стр. 108—114. Венето-балтийские и венето-славянские связи указаны этим же автором в его книге „Das Venetische, seine Stellung im Kreise der verwandten Sprachen“. „Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaft. Phil.-hist. Kl.“, Bd. 3, 1950, стр. 35. См. также A. Gaters. Die baltische Lauma bzw. Laumé und die venetische Louzera KZ, Bd. 73, N. 1—2, 1955, стр. 52—57.

¹¹ J. Pokorny. Urgeschichte der Kelten und Illyrier. Halle, 1938. См. также ZfCeltPh, Bd. XX, N. 2—3; Bd. XXI, N. 1. Отчасти эти же вопросы затронуты в статье „Die Substrattheorie und Urheimat der Indogermanen“ в „Mitteilungen“ венского Антропологического общества (Bd. 65, 1936). Археологическая сторона вопроса была рассмотрена R. Pittioni. Urnenfelderkultur und ihre Bedeutung für europäische Geschichte. Halle, 1938.

¹² См. K. Kaspars. Illyrica. „Filologu Biedrības Raksti“, 18—20, 1938—1940 (приводятся ряд очень убедительных топонимических и ономастических латышско-иллирийских параллелей: *Ausancalione*, *Aūšņukāleī* — *Aūsukalēji*, *Bausiona* — *Bāizani*, *Gailonius* — *Gailuonas*, *Indenea* — *Indēni*, *Πιγούόντιον* — *Piguta*, *Tautonius* — *Tautuonas* — и др. В 1947 г. в рецензии на труд А. Розетти „Istoria limbii române“, I—IV, опубликованной в „Neuphilologische Mitteilungen“ (Bd. 48, стр. 44—47), В. Кипарский снова коснулся этого вопроса, приведя еще некоторые примеры совпадения).

¹³ D. Déciev. Ein Beitrag zu den slavisch-thrakischen Sprachbeziehungen. ZfSlPh, Bd. IV, N. 3, 1927, стр. 377—383.

¹⁴ H. Krae. Указ. соч., стр. 24.

ской и — в ряде случаев — далее, вплоть до Индии) названия, принадлежащие „лигурийскому“ или „средиземноморскому“ субстрату¹⁵.

Наконец, следует сказать и о том, что рассмотрение балтийской топонимики без учета славянской в ряде случаев ведет кискажению общей картины. Так, например, во многих своих работах¹⁶ Краэ анализирует балтийские топонимические названия с суффиксом *-nt-* только в связи с „центральноевропейскими“, упуская из виду соответствующие славянские факты, отмеченные Э. Френкелем¹⁷.

Попытки связать балтийскую топонимику с „центральноевропейской“ находим и в работах Р. Шмитлейна¹⁸.

Подобный подход к балто-славянской проблеме весьма характерен для некоторых западных индоевропеистов.

Лингвисты, специально занимающиеся вопросами балтийского и славянского языкоznания, вынуждены подробнее и, главное, несколько иначе подходить к проблеме древнейших балто-славянских отношений.

Из ученых, отвергающих теорию балто-славянского единства, более других писали на эту тему выдающийся немецкий специалист в области балтийского и индоевропейского языкоznания Э. Френкель и швейцарский ученый, работавший потом в Германии, а теперь в США, А. Зенн.

Почти пятьдесят лет своей жизни Френкель посвятил изучению балтийских и (в меньшей степени) славянских языков. Его работы касались главным образом вопросов синтаксиса, лексики, семантики, гораздо реже морфологии и фонетики. Поэтому нет ничего случайного в том, что Френкель долгое время не высказывался определенно относительно характера балто-славянских языковых связей. Это было им сделано лишь в 1950 г. в книге, посвященной балтийским языкам¹⁹ и представляющей собой четкое изложение уже достигнутых результатов и анализ еще не решенных проблем. Здесь Френкель пытается объяснить балто-славянские сходства не столько сохранением древних индоевропейских архаизмов или общим отклонением от других языков, сколько долгим соседством, вызвавшим во многих случаях явления параллельного развития, которое, по Френкелю, ничего не дает для понимания древнейших родственных отношений между языками. С другой стороны, Френкель подчеркивает значительные расхождения между балтийскими и славянскими языками в области словаря и синтаксиса. Поэтому Френкель считает возможным говорить лишь о „живой изоглоссной области обеих ветвей“ или даже о германо-балто-славянском языковом союзе.

¹⁵ G. Alessio. Un 'oasi linguistica preindoeuropea nella regione baltica? „Studi Etruschi“, vol. XXI, 1946/47, стр. 141—176; иначе подходит к вопросу Г. Девото (см. G. Devoto. Il problema indoeuropeo come problema storico, V. Romana, 1941).

¹⁶ Специально этому вопросу посвящены две статьи: Beiträge zur alteuropäischen Flußnamenforschung, „Würzburger Jahrbuch“, Bd. I, H. 1, 1946, стр. 79—97, и Baltische Ortsnamen westlich der Weichsel, „Alt Preußen“, Bd. VIII, H. 3, 1943, стр. 43—44.

¹⁷ E. Fraenkel. Zu den slavischen Ortsnamen Holsteins, insbesondere zu den mit-*nt-*-Suffix gebildeten. „Revue des études indoeuropéennes“, vol. IV, 1947, стр. 271—282.

¹⁸ R. Schmittlein. Etudes sur la nationalité des Aestii, Bd. I, Toponymie lituanienne. Baden-Baden, 1948 (объявлено о предстоящем выходе в свет еще трех частей); его же. Sur quelques toponymes lituaniens. „Zeitschrift für Namenforschung“, Bd. XIV, стр. 233—248; Bd. XV, стр. 51—71 и 152—179. Иное направление поисков у Е. Блессе (см. „Beiträge zur Namenforschung“, Bd. IV, 1953, стр. 289—291).

¹⁹ E. Fraenkel. Die baltischen Sprachen. Ihre Beziehungen zu einander und zu den idg. Schwesteridiomen als Einführung in die baltische Sprachwissenschaft. Heidelberg, 1950. См. также рец.: IF, Bd. 61, Nr. 4, H. 2—3, 1954, стр. 311—313 (E. Schwentner), „Language“, vol. 27, 1951, стр. 584—586 (G. Must), BSL, t. 46, f. 2, 1950, стр. 177 (A. Vaillant), „Slavonic and East European Review“, 29, Nr. 72, 1950, стр. 333—334 (G. Nandris), „Lingua Posnaniensis“, t. III, 1950, стр. 274—277 (J. Otrębski) и др.

Однако этот отрицательный взгляд на балто-славянское единство нисколько не мешает Френкелю весьма плодотворно разрабатывать многие вопросы балто-славянского языкоznания.

Так, в 1950 г. появилась его большая статья „Zum baltischen und slavischen Verbum“ (ZfslPh, Bd. XX, N. 2, 1950, стр. 236—320), которая, наряду с работой И. Эндзелина „Zur slavisch-baltischen Konjugation“ („Archivum Philologicum“, Bd. II, 1931) и книгой Х. С. Станга „Das slavische und baltische Verdum“ (Oslo, 1942), является лучшим исследованием в области балто-славянского глагола. Эта работа интересна обилием важных деталей и, пожалуй, дает слависту не меньше, чем специалисту по балтийским языкам. Особенno ценен анализ превентных основ, рассмотрение 2-го и 3-го лица ед. ч. аориста типа *kova*, в котором Френкель подозревает корневой аорист, никогда не имевший *-s-* и сопоставляемый с литовским претеритом *kāvo*²⁰, любопытен разбор пары *žyrg*, *žrēti*, ср. лит. *gér̄ti*, греч. βιβρώσκειν, лат. *vorāre* и т. д. и *žyrg*, *žrēti*, лит. *gírti*, др.-инд. *grnáti*, *grníté*, на основании которого Френкель делает заключение об особой, до сих пор не отмеченной балто-славяно-арийской изоглоссе.

Из других статей, опубликованных Френкелем за последние десять лет, следует отметить важнейшие: „Slavisch gospodъ, lit. *viēšpats*, preuß. *Waispattin* und Zubehör“ (ZfslPh, Bd. 20, N. 1, 1950, стр. 51—88); „Miszellen zur Balto-Slavischen Syntax“ (KZ, Bd. 69, 1951, стр. 139—148; о сравнительных частицах и паратаксисе и т. д.); „Baltisches und Slavisches“ (KZ, Bd. 70, 1952, стр. 129—152; о смешении индоевропейских гуттуральных, палатальных и велярных, в балтийском и в славянском; причины смешения; проблема чередования глухих и звонких согласных); „Baltisches und Slavisches“ („Lingua Posnaniensis“, t. II, 1950, стр. 99—122; о табуистических выражениях с отрицанием типа лит. *nēgandas*, белорусск. *небог*,польск. *nieszpór* и т. д.); „Analogische Umgestaltung und Volksetymologie besonders im Baltischen und Slavischen“ (ZfslPh, Bd. 23, N. 2, 1955, стр. 334—353); „Zum anorganischen Anlaut -s vor Konsonanten im Baltischen unter Berücksichtigung anderer idg. Sprachen“ (IF, Bd. 59, N. 3, 1949, стр. 295—306); „Wortgeschichtliches“ (KZ, Bd. 72, N. 3—4, 1955, стр. 176—197; здесь есть главка о *s*-, *st*- в балтийском и в славянском); „Beiträge zur baltischen Wortforschung“ (KZ, Bd. 69, 1948, стр. 76—94; с разбором отношений между вост.-лит. *sviegas*, лтш. *svaigs*, русск. *свежий*); „Morphologisches und Etymologisches“ („Lingua Posnaniensis“, t. IV, 1953, стр. 85—108; ср. лит. *pažastis*, слав. *paz(d)ucha* и т. д.); „Zur ieur. Wortbildung und Etymologie“ (там же, t. III, 1951, стр. 113—134; с большим количеством балтийских и славянских фактов); „Zum Verschlublaut- und Spirantenwechsel im Wurzelauflaut in mehreren idg. Sprachen besonders im Baltischen“ (ZfslPh, Bd. 22, N. 2, 1954, стр. 383—394); „Zur Bedeutungsentwicklung litauischer Wörter“ (ZfslPh. u. allgem. Sprachwiss., Bd. VIII, N. 1—2, 1954, стр. 41—61 (между прочим, указана семантическая параллель лит. *edžiōti* и болг. *грижа*); „Contributi alla sintassi baltoslava e iranica“ („Studi baltici“, t. IX, 1952, стр. 24—33; анализ трех синтаксических параллелей в балтийских, славянских и авестийском языках); „Morphologische und etymologische Beiträge besonders aus baltischem und slavischem Gebiete“ („Festschrift für Dmytro Čyževs'kyj zum 60. Geburtstag am 23. März, 1954“. Berlin, 1954, стр. 110—120); „Zur slavischen Wort-

²⁰ В этой связи следует упомянуть интересную статью Вайана (V. Vaillant. L'aoriste second du slave. BSL, t. 43, f. 1, 1946, стр. 67—74).

forschung im Anschluss an Otrębskis Buch „Życie wyrazów w języku polskim“ („Lingua Posnaniensis“, t. V, 1955, стр. 11—12); „Etymologische Miscellen“ Corolla Linguistica. Festschrift F. Sommer. Wiesbaden, 1955, стр. 34—42 и т. д. Интересен также материал Френкеля в работах, не посвященных непосредственно балтийской и славянской тематике²¹.

Большая часть из перечисленных работ Френкеля посвящена частным вопросам балто-славянского языкоznания, в ряде случаев относящимся к более позднему периоду, или просто семантическим параллелям, однако в целом они не могут не привлечь внимание исследователей, интересующихся и более древней эпохой балто-славянских языковых отношений.

Большим событием в литуанистике, а также и в славистике является выход в свет в конце 1955 г. первой тетради литовского этимологического словаря Френкеля, о работе над которым было сообщено еще раньше²². Необходимость такого словаря становится еще более очевидной, если учесть, что старый этимологический индекс Г. Бендера и „Балто-славянский словарь“ Р. Траутманна в настоящее время никак нельзя признать удовлетворительными справочниками.

Если Френкель практически весьма часто пользуется понятием „балто-славянский“ и охотно исследует явления, общие балтийским и славянским языкам, признавая исключительно тесные балто-славянские связи, то А. Зенн является самым крайним противником теории балто-славянского единства.

Начав свою научную деятельность как германист, Зенн в дальнейшем работает в области лингвистики. В сороковых годах у него пробуждается интерес к проблемам балто-славянских языковых связей, в результате чего появилась статья в „Slavonic and East European Review“ (vol. XX, 1941, стр. 251—265) под названием „On the degree of kinship between Slavic and Baltic“. Впоследствии Зенн не раз повторял основные мысли этой статьи. Наиболее полно он отразил их и отчасти развел дальше в работе „Die Beziehungen des Baltischen zum Slavischen und Germanischen“ (KZ, Bd. 71, N. 3—4, 1954, стр. 162—188).

Основное положение Зенна заключается в том, что в древности не только не существовало балто-славянского праязыка, единства (*Einheit*) или общности (*Gemeinschaft*), но даже не было особой балто-славянской изоглоссной области. Контакт между балтийскими и славянскими диалектами существовал лишь по выделении их из индоевропейского праязыка, когда балты, славяне, германцы и, может быть, иллирийцы находились южнее Рокитненских болот. После этого, по Зенну, наступил разрыв между всеми этими диалектами, вызванный тем, что балты перешли в область севернее Рокитненских болот. Лишь после 500 г. н. э. славяне снова вошли в контакт с балтийскими племенами. Такова общая картина балто-славянских отношений в представлении Зенна; до известной степени она напоминает некоторые из мыслей К. Буги. С другой стороны, аппелируя к Шлейхеру, Зенн говорит о германо-балто-славянских изоглоссах. Специально балто-славянские сходства (их число для Зенна значительно сократилось по сравнению с 1941 г.) не имеют самодовлеющего значения; кроме того, некоторые из них объясняются прямым заимствованием или „частичной ассимиляцией“ (ср. *oi* > *ě* и *ai*, *ei* > *ie* в лит. и в лтш. и т. д.).

²¹ См., например, «Demeter und „Proserpina“». „Lexis“, III. 1, 1952, стр. 50—63 (между прочим, о слав. *do*, балт. *da*); „Clück Heil“. Там же, III. 1, 1952, стр. 64—68 (анализ ряда балтийских и славянских слов) и др.

²² См. F. Fraenkel, W. Giese, F. Scholz. Die Linguistik an der Universität Hamburg. „Orbis“, Bd. III, Nr. 1, 1954, стр. 189—195.

В некоторых случаях роль заимствований явно преувеличивается Зенном. Так, в статье „Verbal aspects in Germanic, Slavic and Baltic“ („Language“, vol. 25, 1949, стр. 402—409²³) он предполагает, что славяне заимствовали свою видовую систему из германских языков и что балтийская видовая система отлична от славянской в большей степени, чем последняя от германской. По сути дела, единственным аргументом в пользу подобной точки зрения Зенн выдвигает тот факт, что первые готские тексты, которые древнее славянских на пять веков, содержат уже видовые различия, в то время как славянские языки в IV в. н. э. не имели их, так как даже в старославянских памятниках видовая система еще находится в процессе становления²⁴.

Вопросы германо-балто-славянских языковых связей затрагиваются и в некоторых других работах. Среди них следует назвать диссертацию Ф. Шерера „Germanic-balto-slavic etyma“ („Supplement to Language“, vol. 17, 1941), в которой сопоставляется германская лексика со славянской, балтийской и балто-славянской, причем на основании анализа этих сопоставлений делаются некоторые замечания об относительной хронологии этих связей. К сожалению, собственно балто-славянские сходства в области словаря выпадают из поля зрения автора. Относительно степени родства германских языков и балто-славянского Шерер неопределенно замечает, что оно было не очень тесным.

Шире поставлен вопрос о германо-балто-славянских связях в работе болгарского лингвиста Э. Георгиева „Балтославянско-германского езиково родство“ („Известия на семинара по славянска филология“, кн. VIII и IX за 1941—1943 гг. София, 1948, стр. 1—46). Кроме истории вопроса и критики теории балто-славянско-индо-иранского родства, автор довольно подробно останавливается на чертах балто-славянско-германского сходства в фонетике, морфологии, словообразовании и лексике.

К числу противников теории балто-славянского языкового единства следует отнести и И. М. Коржинка, который в посмертно изданной книге „Od indoeuropského prajazyka k praslovančine“ (Bratislava, 1948) приходит к заключению, что балтийские и славянские языки являются двумя параллельными индоевропейскими ветвями, возникшими из одной и той же праязыковой диалектной группы. Подробного анализа соответствующих фактов Коржинек не дает.

Из ученых, скептически относящихся к теории балто-славянского праязыка, но не разделяющих и крайностей некоторых новых теорий, следует отметить видного специалиста в области балтийских и славянских (прежде всего — восточнославянских) языков Хр. С. Станга. В своем монументальном труде о славянском и балтийском глаголе²⁵ Станг стоит на точке зрения балто-славянского „языкового союза“, пост-

²³ См. также V. Machek. Původ slovanských vidv. „Listy filologické“, t. 74, 1950, стр. 157—158.

²⁴ К сожалению, и некоторые другие ученые слишком поспешно прибегают к объяснению тех или иных явлений посредством заимствований (даже когда они относятся к грамматическим элементам). Так, например, делают П. Тедеско в статье „Slavic ne-presents from je-presents“ („Language“, vol. 24, 1948, стр. 346—387), считая, что носовой суффикс у непереходных глаголов был заимствован в V—VI вв. н. э. из германских языков; Дж. Бонфанте в статье „The Origin of the Russian periphrastic future“ (ПАГКАРШЕА. Mélanges H. Grégoire. Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire Orientale et Slave“, t. X, 1950, стр. 87—98), объясняющий происхождение указанной формы греческим влиянием, и др.

²⁵ Chr. S. Stang. Das slavische und baltische Verbum. „Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademii i Oslo, hist.-filos. Kl.“, 1 Oslo., 1942. См. рец. в ZfslPh, Bd. 18, 1942, стр. 453—462 (Endzelin); в DLZ, Bd. 65, 1944, стр. 69—73 (Specht); в BSL, t. 42, 1946, стр. 154—158 (Vaillant); в „Indogerm. Jahrb.“, Bd. 28, 1949, стр. 266—267 (Fraenkel).

янно подчеркивая количественную и качественную разницу между балто-славянскими и германо-балто-славянскими сходствами и большую древность балто-славянских совпадений в области глагола по сравнению с балто-германскими или германо-славянскими. Станг фактически не приводит ни одного примера древнейших различий между балтийскими и славянскими языками в глаголе²⁶. Поэтому вывод норвежского лингвиста о характере древнейших балто-славянских языковых отношений в известной степени менее определенен, чем можно было бы ожидать, судя по анализу конкретного материала²⁷. Приходится согласиться с А. Вайаном, который в упомянутой рецензии на эту книгу писал, что „Станг мог бы с большей твердостью предположить первоначальное балто-славянское единство“.

Идеи Стanga о балто-славянском „языковом союзе“ более подробно были изложены в его статье „Einige Bemerkungen über das Verhältnis zwischen den slavischen und baltischen Sprachen“ („Norsk Tidsskrift Sprogvidenskap“, XI, 1939, стр. 85—98). Кроме анализа литовско-латышско-славянских и прусско-славянских языковых сходств, Станг пытается поставить ряд важных методологических проблем, предлагая двоякое толкование понятия языкового единства и предусматривая, между прочим, единство, имеющее диалектные различия и связанное с наличием определенных политических или культурных отношений²⁸.

Промежуточную позицию между противниками и сторонниками теории балто-славянского единства вот уже свыше сорока лет продолжает занимать крупнейший (наряду с Френкелем) из современных знатоков балтийских языков И. М. Эндзелин. После войны им были вновь изданы „Ievads baltu filologijā“ (Rīga, 1945) и „Latviešu valodas gramatika“ (Rīga, 1951), а также написана книга „Baltu valodu skaņas un formas“ (Rīga, 1948), являющаяся по сути дела единственным пособием по сравнительной грамматике балтийских языков²⁹.

К сожалению, сам Эндзелин избегает подробного рассмотрения проблемы балто-славянских языковых отношений и воздерживается от сколько-нибудь определенных выводов. Правда, во „Введении в балтийскую филологию“ (глава VI) Эндзелин высказывает предположение, что уже в индоевропейском прайзыке, видимо, существовали диалектные различия между будущими балтийскими и славянскими языками (прежде всего это касается судьбы с после известных звуков).

Более подробно, но ничуть не определенное рассматривается вопрос о древнейших балто-славянских языковых отношениях в докладе, прочитанном Эндзелином на объединенной сессии АН СССР, АН Латвийской ССР, АН Литовской ССР и АН Эстонской ССР в феврале 1952 г. и появившемся в том же году в „Известиях“ Академии наук Латвийской ССР в виде статьи под названием „Древнейшие славяно-балтийские языковые связи“ (стр. 33—46)³⁰. Однако эта статья не дает ничего нового по сравнению с работами прежних лет; она лишь популяризирует некоторые его старые идеи. К сожалению, едва ли можно точнее

²⁶ Иначе Френкель, в „Indogerm. Jahrb.“, Bd. 28, 1949, стр. 266—267.

²⁷ Возможно, что эти выводы были бы более определены, если бы Станг попытался воссоздать общую картину балто-славянского глагола, а не рассматривал бы балтийский и славянский глаголы по отдельности.

²⁸ Отчасти сходные мысли можно найти у Г. Краэ (См. H. Krahe. Sprachverwandtschaft im alten Europa. Heidelberg, 1951, стр. 26).

²⁹ До нее существовали лишь лекции по сравнительной грамматике балтийских языков. См. I. Endzelins. Lekcijas par baltu valodu salīdzināmo gramatiku. Rīga, 1927.

³⁰ См. также „Труды Института языка и литературы АН Латв. ССР“, т. II, 1953, стр. 67—82.

определить позицию Эндзелина, чем как такую, которая находится между точкой зрения Мейе 1908 г. и позицией сторонников теории балто-славянского прайзыка.

Компромисс между этими двумя точками зрения открыто предлагается в книге У. Дпс. Энтуистла и У. А. Морисона „Russian and the Slavonic Languages“ (London, 1949). Энтуистл в статье „The Chronology of Slavonic“ („Transactions of the Philological Society за 1944 год“). London, 1945, стр. 28—44) высказывался более определенно в пользу балто-славянской общности („Community“). При этом единственную трудность для английского ученого составляла тогда проблема определения территории и хронологии этой общности.

В традиционном для итальянских неолингвистов плане рассматривает вопрос о древнейших связях балтийских языков Дж. Девото в статье „Invito alla filologia baltica“ („Studi baltici“, vol. IX, 1952, стр. 1—11). Исследуя эти связи, он предостерегает от увлечения традиционной проблемой балто-славянского единства, предлагая обратить большее внимание на географическую интерпретацию лингвистических фактов, на определение понятия „baltico comune“, на балто-германские³¹ и славяно-иранские связи.

Однако большинство лингвистов продолжает придерживаться той точки зрения, что непосредственно после общеиндоевропейской эпохи существовало балто-славянское языковое единство, из которого впоследствии выделились балтийские и славянские языки.

Следует сказать, что число сторонников теории балто-славянского единства в последнее десятилетие увеличивается.

Так, именно в послевоенные годы последовательным защитником и приверженцем этой теории стал известный французский славист А. Вайан, некогда разделявший, видимо, взгляды своего учителя А. Мейе. Уже перед войной Вайан все чаще и чаще обращается к исследованию отдельных балто-славянских проблем³², воздерживаясь, правда, от выводов общего порядка. Продолжая исследования такого рода и после войны, Вайан в ряде статей (о них речь будет ниже) и рецензий открыто заявляет о признании им теории балто-славянского языкового единства и выставляет требование конкретной реконструкции фактов, относящихся к балто-славянской эпохе. Это требование нашло практическое осуществление в „Сравнительной грамматике славянских языков“³³, в которой Вайан сравнивает праславянские факты не прямо с общеиндоевропейскими, а прежде всего с балто-славянскими. По мнению французского слависта, балто-славянское единство окончательно было нарушено лишь в первые века нашей эры вторжением готов и гепидов³⁴.

Одним из наиболее крайних приверженцев теории балто-славянского прайзыка является работающий сейчас в Англии венгерский лингвист О. Семерены. В 1948 г. в журнале „Études slaves et roumaines“ (vol. I,

³¹ Одна из балто-готских изоглосс явилась предметом исследования В. Пизани [V. Pizani. L'ottatio (congiuntivo) baltico e il trattamento di ő in sillaba finale in gotico e baltico“. „Studi baltici“, vol. IX, 1952, стр. 34—43].

³² См. A. Vaillant. Le problème des intonations balto-slaves. BSL, t. 37, 1936, стр. 109—115; его же. L'imparfait slave et les prétérits en -e- et en -a-. Там же, t. 40, 1939, стр. 5—97; его же. L'ancien nom slave du „poisson“. RÉSl, t. 18, 1938, стр. 246—248 и др.

³³ A. Vaillant. Crammiare comparée des langues slaves, l. Paris — Lyon, 1950.

³⁴ Кроме „Сравнительной грамматики“, эта мысль выражена и в статье „Le wör balto-slave du «soleil»“. BSL, t. 46, 1950, стр. 48. Любопытно, что к И. В. Н. Э. относят распадение балто-славянского языка и Г. Смит и Г. Трейджер. См. их статью „A chronology of Indo-Hittite“. „Studies in Linguistics“, vol. 8, Nr. 3, 1950, стр. 61—70.

f. 2, 3) он выступил с большой статьей „Sur l'unité linguistique balto-slave“ (стр. 65—84, 159—172), написанной еще в 1944 г.

Опираясь на старое положение К. Бругманна, заключающееся в том, что более близкое родство может быть признано лишь в тех случаях, когда общие новообразования сводятся к одному источнику (а не являются результатом параллельного развития), а также принимая во внимание очевидный факт существования индо-иранского языка, Семерены исследует вопрос о характере древнейших связей балтийских и славянских языков. Он приходит к выводу, что для балто-славянской части индоевропейской языковой области необходимо предположить тесное языковое единство с одинаковой эволюцией в течение длительного периода, создавшей многочисленные общие новообразования. Следует отметить, что в ряде случаев Семерены явно преувеличивает балто-славянские сходства, считая, что они не уступают индо-иранским.

Особое внимание вопросам балто-славянских языковых связей в древности уделяют польские лингвисты.

Выводы общего характера, основанные в значительной степени на анализе двух конкретных вопросов, содержатся в сообщении Я. Сафаревича „Przyczynki do zagadnienia wspólnoty bałto-słowiańskiej“, напечатанном в 1945 г. в „Отчетах“ Польской Академии наук (т. XLVI, № 8, стр. 199—202). Это сообщение состоит из двух этюдов. В первом из них Сафаревич показывает разные тенденции в трактовке индоевропейских *ā* и *ō* в балтийских и славянских языках. Второй этюд посвящен некоторым балто-славянским сходствам в области глагола, а именно особым типам презенса, построенного на основе праязыкового корневого аориста (тип *dāmь*, *dīomī*, др.-инд. *adāt̄*, греч. ἔδομεν и т. д.), а также некоторым случаям, когда в основе глагола в балтийских и славянских языках выступает долгая ступень гласного при краткой в других индоевропейских (ср. *jāt̄*, *ēt̄i*, **ed-*; *bēgo*, *bēgu*, **bhēḡ* и др.).

На основании указанных фактов Сафаревич считает, что сразу же после распадения индоевропейского праязыка было балто-славянское языковое единство, которое, однако, просуществовало недолго³⁵. Причину нарушения этого единства польский ученый видит в набегах иранских племен в середине второго тысячелетия до нашей эры на восточную часть балто-славянской языковой области.

Особенно много писал за последние годы о балто-славянских языковых связях известный польский славист Т. Лер-Славинский.

В 1946 г. вышла в свет его большая синтетическая работа „O rochodzienniu i praojczyźnie Słowian“ (Poznań)³⁶. Новый лингвистический материал не был привлечен Лер-Славинским, зато были очень широко использованы данные смежных дисциплин. Исходя из того, что общие новообразования при определении родства важнее, чем сохранение архаизмов, Лер-Славинский приходит к заключению, что общие черты балтийских и славянских языков указывают „на такое очевидное сходство в общем строении этих языков, какого не встречается нигде во всей индоевропейской области, и приводят к давно уже установленному в науке выводу, что предки славян и балтов пережили некогда период общего языкового развития, которое продолжалось еще некоторое время после разрыва их связей с другими диалектными индоевропейскими группами“.

³⁵ Ср. *eimī* — *id̄o*, *jōju* — *jad̄o*, *klōju* — *klad̄o* и т. д. — факт, которому Сафаревич придает большое значение в определении длительности существования балто-славянского единства.

³⁶ Краткий отчет о содержании этой книги был опубликован еще в 1945 г. в „Отчетах“ Польской Академии наук (т. XLVI, № 1—5, стр. 23—28).

Впрочем, в дальнейшем Лер-Славинский не раз говорит о том, что этот балто-славянский язык не был вполне однородным.

Причину распада балто-славянского языкового единства Лер-Славинский видит в экспансии племен, создавших лужицкую культуру в третьем периоде бронзового века (1300—1100 гг. до н. э.)³⁷.

Подобные идеи были повторены Лер-Славинским еще в ряде работ³⁸. Особое внимание проблеме хронологического приурочивания балто-славянского языка и даты его распада уделяется польским лингвистом в статье „Wspólnota językowa bałto-słowiańska a problem etnogenezy Słowian“, помещенной в журнале „Slavia Antiqua“ за 1953 г. (т. 4, стр. 1—21)³⁹. В связи с этим здесь ведется полемика с Вайаном и Сафаревичем, придерживающимися других взглядов. В этой же статье Лер-Славинский обращается к поднятому еще Розводовским в 1908 г., а в недавнее время снова затронутому Покорным вопросу о связях балто-славянского языка с финно-угорскими, оставившими ряд следов в балтийских и славянских языках⁴⁰.

Нужно отметить, что работы Лер-Славинского, особенно его книга „О происхождении и прародине славян“, вызвали оживленную дискуссию среди ученых⁴¹, в числе которых были также историки, археологи, антропологи. С критическими замечаниями, касающимися использования антропологических данных, выступил признанный глава польской антропологии Я. Чекановский.

Нельзя также не отметить выступления виднейшего польского археолога И. Костшевского, который в статье „Балтославяне и начало славян“ прямо заявил, что с археологической точки зрения нахождение такой культуры, которая могла бы представлять еще не разделенных предков балтов и славян, до сих пор невозможно, и, если бы достаточно было опереться только на доисторические данные, то нужно

³⁷ Эта же дата принимается и К. Яждевским в „Atlas to the prehistory of Slavs“. Lódź, I, 1949; II, 1948.

³⁸ См. „Prasłowianie“. Kraków, 1946; „Początki Słowian“. Kraków, 1946; „Język Polski. Pochodzenie, Powstanie, Rozwój.“ Warszawa, 1947, и особенно второе издание этой книги в 1951 г., в котором была основательно переработана первая глава, посвященная происхождению славянских языков; „Przegląd i charakterystyka języków słowiańskich“. Warszawa, 1954 (соавторстве с В. Курашевичем и Ф. Славским; глава о происхождении славянских языков, во многом повторяющая то, что было написано в предыдущей работе, принадлежит перу Лер-Славинского); „Gramatyka historyczna języka polskiego.“ Warszawa, 1955 (в соавторстве с З. Клеменсевичем и С. Урбанчиком; глава „Bałtycko-słowiańska wspólnota językowa“ написана Лер-Славинским); „Powstanie, rozwój i rozpad wspólnoty Prasłowiańskiej“. „Przegląd Zachodni“, 1951, № 3—4, стр. 350—378, и „Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian“. Warszawa; 1954, стр. 48—78, и др.

³⁹ Краткое резюме этой статьи было помещено в „Отчетах“ Института языкоznания Ягеллонского университета за 1952—1953 гг., стр. 35—38.

⁴⁰ К сожалению, Лер-Славинский не говорит о точке зрения В. Кипарского, который категорически отвергает мысль о наличии финских племен на территории Польши (см. его две статьи в „Baltische Lande“, I, 1939). Ср. также работу Я. Чекановского „Szkice syntetyczne V. Kiparskiego, Finowie nadbałtyccy i Bałtowie“ (Lud. 41, cz. 1. Wrocław, 1954, стр. 183—241), представляющую собой антропологический комментарий к мыслям Кипарского.

⁴¹ Кроме 12 рецензий на эту книгу, указанных в „Roczniku Sławistycznym“ (т. 17, ч. 2, 1955, стр. 146), приведем еще некоторые: „Język Polski“, 26, 1946, стр. 24—27 (Урбанчик); „Эзик и литература“, т. 2, 1947, стр. 60 и след. (Леков); „The American Slavic and East European Review“, vol. 46, 1947, стр. 199—202 (Войцеховский); ср. также J. Kostrzewsky. Bałtost Słowianie i początki Słowian. „Przegląd Zachodni“, t. II, № 2, 1946, стр. 168—173; J. Czekanowski. Polska synteza slawistyczna w perspektywie ilościowej. PAU. Rozprawy Wydz. Hist.-filoz. Seria II, t. XLVI, Nr. 2. Kraków, 1947; W. Falkenhahn. Entstehung, Entwicklung und Ende der urslavischen Sprachgemeinschaft in polnischen Veröffentlichungen von T. Lehr-Sławinski. „Zeitschrift für Slawistik“, I, H. 2, 1956, стр. 49—88, и др.

бы было признать, что настоящей эпохи балто-славянской языковой общности никогда не существовало⁴².

К числу сторонников теории балто-славянского единства следует отнести и польского лингвиста Я. Отрембского, выступавшего недавно на страницах журнала „Вопросы языкоznания“ с большой статьей, посвященной этой теме⁴³.

Анализируя довольно большое количество явлений, свойственных балтийским и славянским языкам, Отрембский пытается разграничить исконно родственные явления от тех, которые возникли в результате сходных тенденций. Анализ ряда фактов отличается оригинальностью, но, к сожалению, многие построения автора слишком произвольны, и их было бы нетрудно опровергнуть⁴⁴.

Общий вывод Отрембского таков: „Славянские и балтийские языки являются продолжением диалектов одной славяно-балтийской группы. Эту группу надо представлять себе как одно целое, т. е. как происшедшую из одного языка, выделившегося в свою очередь из индоевропейской языковой группы“ („Вопросы языкоznания“, № 6, стр. 43).

Любопытно, что еще в 1947 г. в рецензии на книгу Лер-Славинского⁴⁵ Отрембский писал, что, по его мнению, балто-славянского праязыка никогда не было, так как его существованию противоречит судьба *s* после *i*, *u*, *r*, *k*, разная в славянских и в балтийских языках.

Наконец, недавно появилась еще одна работа, автор которой отстаивает идею балто-славянского единства (см. M. Leumann, *Baltisch und Slavisch. Corolla linguistica. Festshrift F. Sommer*. Wiesbaden, 1955, стр. 154—162).

Остальные работы из области балто-славянских языковых связей затрагивают частные (хотя в ряде случаев и очень важные) вопросы этой темы и не претендуют на решение основного вопроса о характере древнейших балто-славянских отношений. Впрочем, некоторые из подобных исследований представляют собой гораздо большую ценность, чем труды общего характера.

Самым значительным вкладом в балто-славянское языкоznание за последние годы были исследования Е. Куриловича: Прежде всего „L'accentuation des langues indo-européennes“ (Kraków, 1952) и „Le degré long en balto-slave“ („Rocznik Slanistyczny“, t. 16, 1948, стр. 1—14).

В первой из этих работ, обобщая и продолжая свои исследования тридцатых годов в области балто-славянской акцентологии⁴⁶, Курилович

⁴² См. еще большую статью И. Костшевского „Stosunki między kulturą łużycką i bałtycką a zagadnienie wspólnoty językowej balto-słowiańskiej“ („Slavia Antiqua“, V, 1956, стр. 7—75), а также сходные мысли в статье М. Тимбулас „On the Origin of North Indo-Europeans“ („American Anthropologist“, vol. 54, 1952, стр. 602—611, особенно стр. 609) в отношении периода с 1700 г. до н. э. и критику Трейджа и Смита, см. „Ghronology of North-European: a rejoinder“. (Там же, vol. 55, 1953, стр. 295—298, особенно стр. 297).

⁴³ Славяно-балтийское языковое единство. „Вопросы языкоznания“, 1954, 5 и 6, стр. 27—42 и 28—46.

⁴⁴ См., например, анализ флексии 1-го лица ед. ч. наст. вр. в славянских языках, исследование судьбы *s* после известных звуков, объяснение флексии род. п. ед. ч. о-основ и др. Некоторые из предложенных решений были высказаны в прежних работах этого лингвиста. Ср. особенно „Przyczynki słowiańsko-litewskie“. Wilna t. I, 1930; t. II, 1935; в рец. на книгу И. Эндзелина „Baltu valodu skaņas un formas“, помещенной во 2-м томе „Lingua Posnaniensis“, стр. 268—274 и т. д.

⁴⁵ См. „Slavia Occidentalis“, t. 18, 1939—1947, стр. 446—459.

⁴⁶ Укажем лишь важнейшие из них: „Le problème des intonations balto-slaves“. „Rocznik Slawistyczny“, t. 10, 1931, стр. 1—80; „L'indépendance historique des intonations baltiques et grecques“, BSL, t. 35, 1934, стр. 24—34; „Intonation et morphologie en slave“. „Rocznik Slawistyczny“, t. 14, 1938, стр. 1—66; „Intonation et morphologie en lituanien“. „Studi baltici“, vol. 7, 1939, стр. 37—87, и др.

приходит к следующим основным выводам: 1) балтийская и славянская интонационные системы не связаны с греческой и, следовательно, с общеиндоевропейской, 2) балтийская и славянская интонационные системы суть новообразования, возникшие в результате морфологической рецессии акцента в сильных формах окситонной парадигмы, 3) общность в возникновении и развитии интонации в балтийских и в славянских языках обусловила многочисленные общие черты этих языков в морфологическом использовании интонации, 4) признавая морфологический принцип распределения и использования интонаций в балтийских и в славянских языках, необходимо заключить, что и морфологическая структура этих языков была тождественной до возникновения интонаций, 5) различия между двумя языками в отношении интонации начинаются довольно поздно (древнейший балтийский интонационный закон — закон де Соссюра, древнейшее собственно славянское интонационное явление — возникновение нового акута).

Вторая работа Куриловича содержит интересный анализ принципа образования первичных дериватов (долгая ступень гласного + суффиксация: *žolē* — *želiū*, *lūžti* — *laužti*, *požarъ* — *gorjø*, *slava* — *slouø* и т. д.)⁴⁷. Однако объяснение путей распространения долгой ступени (*gēris* по аналогии с *gērti*) несколько проблематично. Во всяком случае, некоторые факты (ср. лит. *širdis*, *šerdis* и др.), кажется, ориентируют на другой путь объяснения⁴⁸.

Несомненно, эти работы Куриловича начинают новый этап в исследовании балто-славянских проблем, поскольку они касаются не внешних или даже внутренних, но допускающих случайное совпадение явлений, а таких, сходство которых обусловлено не только одинаковыми фонетическими процессами, но и одинаковым морфологическим использованием их. В этом принципиальное значение исследований Куриловича⁴⁹.

Более частному вопросу (тип. лит. = *atā* = слав. = *otā*) посвящена его статья в ВРТJ. 12, 1953.

Другие работы по частным проблемам балто-славянского языкоznания или связям с другими индоевропейскими языками содержат немало интересных объяснений⁵⁰.

Среди исследований по фонетике, кроме работ Френкеля и Куриловича и отдельных замечаний в трудах общего характера, следует отметить статьи М. Лейманна и Х. Педерсена, посвященные судьбе индоевр. **sk'* в балтийских, славянском и древнеиндийском языках. В статье „*Idg. sk' im Altindischen und im Litauischen*“ (IF, Bd. 58, 1942, стр. 1—26, 113—130) Лейманн на основании близости балтийских глаголов на *-st-* и индоевр. на *-sk-* приходит к выводу, что презентные основы на *-st-* являются не продолжением медиального аориста (как думали К. Ф. Иоханнисон,

⁴⁷ Этой работе также предшествовал ряд исследований в области индоевропейского вокализма; специально долгой ступени *o*, *a* в балтийских языках была посвящена одна из ранних работ польского лингвиста в „Отчетах“ Львовского научного товарищества (т. 6, № 3, 1926, стр. 108—109).

⁴⁸ См. рец. Вайана в RESI, t. 24, 1948, стр. 189.

⁴⁹ Особый интерес вызывает статья Куриловича, печатаемая в настоящем сборнике и посвященная общему вопросу балто-славянских языковых отношений, поскольку в своей старой статье „*Bałto-słowiańska jedność językowa*“ („*Słownik starozitności słowiańskich*“. Zeszyt próbny. Warszawa, 1934, стр. 4—7) он, естественно, не мог учесть тех открытий, которые были им сделаны за последние двадцать лет. В 1956 г. вышла новая книга Куриловича „*L'apothonie en indo-européen*“, в которой автор многократно останавливается на анализе тех или иных балто-славянских фактов.

⁵⁰ Исключение составляет книга П. Габриса „*Parenté des langues hittite et lituanienne et la préhistoire*“ (Женева, 1944), воскрешающая безнадежно устаревший тезис о связи литовцев с герулами, дебатировавшийся раньше Харткохом и его современниками и модный вплоть до начала XIX века.

Е. Курилович и др.), а возникли из индоевр. *-sk'* — основ чисто фонетическим путем: *-sk->-sc->-sts->-st-*.

Педерсен в „Et baltoslavisk Problem“ („In memoriam Kr. Sandfeld. Udgivet paa 70-årsdagen for hans fødsel.“ København, 1943, стр. 184—194), присоединяясь к точке зрения Лейманна, дополняет ее принятием аналогичного перехода в славянских языках перед гласными переднего ряда. В связи с этим дается ряд любопытных сопоставлений и разъяснений (ср., например, анализ *stěnъ*, *sěnъ*, *těnъ*; *rastъ* — старая основа на *-sk'*, *-st-* по аналогии с *rasteši* и др.).

Против принятия подобного перехода протестовал Френкель в своих аннотациях статей Лейманна и Педерсена, помещенных в 27-м и 28-м томах „Индогерманского ежегодника“. Еще ранее о судьбе **sk'* в балтийских и славянских языках писал Эндзелин. (См. ZfslPh, 16, 1939, стр. 107—115).

Истории начальных гласных в балто-славянском посвящена статья шведского лингвиста Н. М. Хольмера „Qualitative and Quantitative Evolution of Initial Vowels in Balto-Slavic“. Årsbok, 1948—1949 („Slaviska Institutet vid Lunds Universitet“. Lund, 1951).

Статья Э. Херманна „Die Betonung des litauischen Verbums“, опубликованная в 1949 г. в „Известиях“ Академии наук в Геттингене, хотя она рассматривает собственно литовские проблемы, должна быть учтена и специалистами в области балтийского и славянского языкознания.

Значительно большее количество работ посвящено вопросам балто-славянской морфологии.

Немало сведений об истории древнейших балтийских и славянских именных основ и об особенностях склонения можно найти в большом исследовании Ф. Шпехта „Der Ursprung der idg. Deklination“. (Изд. 1, 1944; изд. 2, 1947). Особенно заслуживают внимания балтийские данные, поскольку еще до войны Шпехт провел ряд специальных исследований в области балтийского (преимущественно литовского) склонения. Славянская часть книги была предметом разбора Фасмера в ZfslPh, Bd. 19, 1947, стр. 439—445⁵¹.

Приведенный в статье П. Арумаа „Zur Rolle der Partikel in der litauischen Deklination“ („Studi baltici“, vol. IX, 1952, стр. 163—172) литовский материал помогает понять происхождение двух флексий славянского твор. п. ед. ч. ж. р. (*-ojo* и *-o*). Ср. то же явление в др.-инд.: *jīhvā*, *jīhvayā*.

В области изучения прилагательных наиболее ценной работой следует признать исследование Арумаа „Sur l'histoire des adjectifs en -u en balto-slave“, Årsbok, 1948—1949 („Slaviska Institutet vid Lunds Universitet“. Lund, 1951, стр. 24—105). В нем собран весьма значительный материал из балтийских языков и сделана попытка найти следы славянских прилагательных с основой на *-u* без суффикса⁵² и выяснить причину исчезновения этих прилагательных.

Вместе с более ранней статьей Арумаа о прилагательных с основой

⁵¹ Из работ, посвященных склонению, можно отметить еще недавние статьи П. Скардюса „Zur Entstehung des ē-Ausganges im litauischen“ (ZfslPh, Bd. 23, 1954, стр. 171—175) и „Alte Wurzelnomina im Litauischen“ (IF, Bd. 62, 1956, стр. 158—166), написанные, правда, только на основании литовского материала. О ē-основах в литовском языке, между прочим, писал в 1948 г. Э. Херманн в VI разделе своей статьи в KZ, Bd. 69, стр. 31—75.

⁵² См. замечание по этому поводу в рецензии Вайана в BSL, t. 47, 1951, стр. 198—201.

на *-i*⁵³ указанное исследование составляет известное единство, давая историю двух параллельных во многих отношениях типов основ⁵⁴.

Интересное предположение о том, что литовские прилагательные на *-is*, *-io*, ж. р. *-ē*, *-ēs* первоначально были существительными, которые, употребляясь в аппозиции, в ряде случаев перешли в местоименное склонение, содержится в статье Станга „Adjectifs lituaniens en *-is*“ („Festskrift til professor Olaf Broch på hans 80-årsdag fra venner og elever“. Avhandlinger utgitt av det Norske Videnskaps-Akadem i Oslo, 1947, стр. 271—285; славянских фактов приведено очень немного).

Наблюдения Вайана над балто-славянской сравнительной степенью изложены в BSL, т. 51, 1955, стр. XXI—XXIII.

Немало сделано за последние 10—15 лет и в области изучения балто-славянского глагола.

Помимо вышеуказанных исследований отметим прежде всего те, которые анализируют видо-временные отношения славянского и балтийского глагола. Среди работ такого рода укажем известную книгу К. Г. Регнелля „Über den Ursprung des slavischen Verbalaspekts“ (Lund, 1944)⁵⁵, в которой широко представлен и балтийский материал; во многих случаях автор пытается выяснить происхождение общих балтийскому и славянскому глаголу элементов (ср. рассуждения о параллельном возникновении перфективирующего значения у приставки *ро-*, лит. *ra-* и др.).

Ряд замечаний о балто-славянском виде, о следах „гномического“ аориста и т. д. находим в большой статье Херманна „Die altgriechischen Tempora, ein struktur-analytischer Versuch“ („Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philol.-histor. Klasse“, 1943, № 15, стр. 583—649).

Другая статья этого ученого — „Zusammengewachsene Präteritum- und Futurum-Umschreibungen in mehrerer idg. Sprachzweigen.“ (KZ, Bd. 69, 1948, стр. 31—75) — содержит два этюда, посвященных литовскому (стр. 64—68) и славянскому (стр. 68—71) имперфекту в связи с той значительной ролью, которую играют *e*-основы в перифрастических образованиях.

В уже упомянутой статье Вайана „L'aoriste second du slave“ (BSL, т. 43, 1947, стр. 67—74) доказывается, что тип *idž* продолжает не старый индоевропейский имперфект, а простой тематический аорист. Постоянное внимание к данным литовского и латышского языков, в которых аорист трансформировался в претерит на *-a*, позволяет установить ряд весьма тонких сходств (ср. чередование *vlěšti*, *vlěče*: *vlěkъ*, *vlěklъ*, *vlěčen* и лит. *velkù*: *vilkai* и др.).

В другой статье — „Lituanien *be-*, slave *bē*“ (RÉSl, т. 24, 1947, стр. 151—152), посвященной памяти М. Горлина, Вайан с помощью славянских (прежде всего древнерусских) фактов объясняет происхождение глагольной приставки *be-* в литовском языке из древнего претерита **bē-*, слав. *bē*. Славянские примеры типа *бѣ* *ѹчѧ* помогают понять, как **bē* из претерита стало частицей, обозначающей длительность.

Вопросы, связанные с особенностями строения глагольных основ, были предметом анализа в статьях В. Махека. В ряде исследований —

⁵³ См. „Sur les adjectifs en *-i* dans les langues baltiques“, „Mélanges linguistiques offerts à M. Holger Pedersen“. Aarhus, 1937, стр. 431—442. См. также Stang Chr. S. Slavische Indeklinable Adjektiva auf *-e*. Norsk Tidsskrift for Sprøgvædenkap XI, 1930, стр. 99—103.

⁵⁴ Впрочем, в ряде случаев в некоторых языках этот параллелизм нарушается. См. R. Wells. Secondary derivation from sanskrit *i*-stems. „Language“, vol. 29, 1953, стр. 237—241.

⁵⁵ См. рец. в Lfil., т. 70, 1946, стр. 118—122 (Dostál); в ZfslPh, Bd. 20, 1948, стр. 176—183 (Dostál); „Etudes sl. et roum.“, т. 1, 1948, стр. 55—58 (Szemerényi); „Idg. Jahrbuch“, Bd. 29, 1951, стр. 259—260 (Fraenkel).

„Česká a slovenská slovesa s příponovým -s“ („Sborník prací fil. fak. brněnské Univ.“ I, 1952, c. A/1, str. 82—93), „Les verbes slaves en -chatī“ („Lingua Posnaniensis“, t. 4, 1953, str. 111—136), „Slovanská intensiva slovesná s příponovým -stati“ („Studie a práce linguistické“, vol. I. K šedesátym narozeninám akademika Bohuslava Havránska“. Praha, 1954, str. 248—254) и других — Махек доказывает, что славянские глаголы с указанным элементом являются продолжением старых интенсивных глаголов на -s и должны быть сопоставлены с литовскими глаголами на -soti, -styti;ср. также лат. cursāre и др. Отметим еще статью Махека „Die Stämme der slavischen Verba auf -ēti und -iti“ (ZfslPh, Bd. 18, 1942, str. 61—72), в которой также немало соответствующих балтийских фактов. Относительно старых основ презенса с носовым инфиксом в балтийских языках ряд замечаний содержится в статье Вайана „Hypothèse sur l'infixe nasal“ (BSL, t. 43, 1946, str. 75—81), написанной на индоевропейском материале. Особый тип атематических презентных основ анализировался в уже упомянутой статье Сафаревича и в заметке Семерены „Zwei Fragen des urslavischen Verbums“ („Etudes slaves et roumaines“, t. 1, 1948, str. 7—14⁵⁶; *damъ* из *dōmi, а не из *dōdmi, то же в балтийских языках; балтийские и славянские глаголы на -d возникли по аналогии с императивом на -dhi).

Подробный разбор балтийских инфинитивных типов был дан Шпехтом в статье „Zur Bildung des Infinitivs im Baltischen“, посмертно напечатанной в IF, Bd. 61, 1954, str. 249—256. Это исследование содержит ряд примечательных балто-индо-иранских параллелей, однако славянский материал в статье отсутствует.

Славянской глагольной приставке *ot-*, балт. *at-* посвятил свою недавнюю статью Махек — „Slav. *ot-*, balt. *at-*“ („Zeitschrift für Slavistik“, Bd. I, 1956, str. 3—10). В ней чешский лингвист, пытаясь объяснить разницу в значениях этой приставки в балтийских и в славянских языках и известную изолированность ее в балто-славянской ветви, сопоставляет слав. *ot-*, балт. *at-* с греч. ἀντί, лат. *anti-* и т. д., возводя все эти случаи к индоевр. *ant-. Фонетические трудности мало смущают Махека, приводящего в качестве объяснения отсутствия -n- в балтийской и в славянской приставках две предложенные ad hoc этимологии (сопоставление *ambhi с *ob* и ἀμφω с *oba*)⁵⁷.

Среди работ в области словообразования, бесспорно, лучшей является книга П. Скардюса „Lietuvių kalbos žodžių daryba“ (Vilnius, 1943, 768 стр.). В ней собран огромный, хорошо систематизированный и объясненный материал (включая старые тексты и говоры), указаны необходимые индоевропейские параллели, среди которых славянские занимают первое место.

С рядом ценных дополнений (преимущественно в области ономастики) выступил Отрембский. Укажем лишь наиболее значительные его работы:

⁵⁶ См. статью Коржинека „Praesentní tvary dō- „davati“ v jazycích slovanských a baltských“. Lfil., t. 65, 1938, str. 445 — 454.

⁵⁷ Вызывает недоумение и тот факт, что Махек признает значительную древность и самостоятельность род. п. с предлогом *ot* при прилагательных в сравнительной степени, отрицая преемственность этой конструкции с беспредложной. Однако А. Галлис в „Etudes sur la comparaison slave. La syntaxe de la comparaison. d'inégalité en vieux-slave ecclésiastique et dans les autres dialectes slaves méridionaux du moyen age“. Oslo, 1947, Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademii i Oslo“, II, Hist.-filos. Kl., 1946, Nr. 3 указывает, что в южнославянских языках подобные конструкции начинаются лишь с XIII в. [известное место из Ассеманиева Евангелия: Боли отъ късъхъ (Иоанн, X, 29), является ошибкой Рачкого; нужно читать: Боли есъ късъхъ. Западнославянские примеры едва ли могут считаться в этом отношении доказательными по хронологическим соображениям].

„Randbemerkungen zu dem Werk von Pr. Skardžius „Lietuvių kalbos žodžių daryba““ („Lingua Posnaniensis“, t. III, 1951, стр. 169—186; t. IV, 1953, стр. 34—59); „La formation des noms physiographiques en lituanien“ (там же, т. I, 1949, стр. 199—243); „La formation des noms de lieux en lituanien“ (там же, т. II, 1950, стр. 4—43); „Miscellanées onomastiques“ (там же, стр. 70—98⁵⁸); отчасти „Aus der Geschichte der litauischen Sprache“ (там же, т. V, 1955, стр. 23—40— „Der Bedeutungs faktor in der Gestaltung von Wortstämmen u. 5 Wörter, die aus reduplizierenden Ausdrücken entstanden sind“) и др. Не оставляются автором без внимания и соответствующие славянские факты.

В интересной статье Арума „Die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Baltisch und Slavisch“ (ZfslPh, Bd. 24, 1955, стр. 9—28) подробно анализируются словообразовательные типы с показателем *-b-* из индоевр.-*bh*. Такой выбор оправдывается тем, что лишь балтийские и славянские языки широко развили типы с *-b-*, тогда как в других индоевропейских языках словообразование с помощью этого элемента крайне ограничено.

В негативном плане важны при изучении балто-славянского словообразования две статьи Вайана „Slavon *kraguilъ* „épervier““ (RÉSl, t. 23, 1947, стр. 155—157) и „Le suffixe *-upjī*“ (там же, т. 24, 1948, стр. 181—184), в которых доказывается германское происхождение суффиксов *-vly-* и *-upjī*, тогда как раньше они обычно сопоставлялись с соответствующими балтийскими суффиксами.

Ф. Медгер, наоборот, акцентирует свое внимание на балто-германском словообразовательном типе, оставляя без внимания славянские факты. См. его статью „Ahd. *jungīdi*, lit. *vilkýtis*, got. *nipjis*“. (KZ, Bd. 71, 1953, стр. 117—119).

Статья Р. Айтцетмюлера „Ein baltisch-slavisches Elativsuffix und seine Entsprechungen in den übrigen idg. Sprachen; der griechische Superlativ auf *-atoς/-tatoς*“ („Slavistična revija“, t. 3, 1950, стр. 289—296) рассматривает судьбу индоевропейского элативного суффикса *-nt-* в балтийских и славянских языках в сравнении с некоторыми другими языками (ср. суффиксы в русск. *большущий*, др.-чешск. *bělūci*, лит. *áiškintelis*, хеттск. *dapiqant-*, в греч. суперлативе на *-atoς* и т. д.).

Некоторые вопросы, связанные с этим же суффиксом *-nt-*, анализируются в статье того же автора „Zur slav. *-nt-* Deklination“ (KZ, Bd. 71, Н. 1—2, стр. 65—73⁵⁹).

Ряд работ, посвященных глагольному словообразованию, был отмечен выше.

В области балто-славянской этимологии за последние годы появилось несколько десятков статей.

Вайан в „Le nom balto-slave du „soleil““ (BSL, t. 46, 1950, стр. 48—53), исходя из выдвигаемого им положения, что различия между балтийскими и славянскими языками более поучительны, чем сходства, поскольку они позволяют реконструировать исчезнувшие балто-славянские факты, сопоставляет названия солнца в обеих языковых группах, привлекая к сравнению и новый материал (ср. *сулѣни*, *сулѣти*, лит. *svilti*, лтш. *svelme*, польск. *smalić* (*sv:sm*), смола и др.).

⁵⁸ Ср. также N. Borowska. Z badań nad litewskimi imionami osobowymi (Aus den Forschungen über die litauischen Personennamen). „Lingua Posnaniensis“, t. V, 1955, стр. 6—10 (раздел из неопубликованной работы „Budowa litewskich imion osobowych“); A. Senn. Lithuanian surnames. „The American Slavic and East European Review“, vol. 4, Nr. 8—9, особенно 4, 1945, стр. 127—137.

⁵⁹ Ср. Machek. Origine des thèmes nominaux en *-pt-* du slave. — „Lingua Posnaniensis“, t. I, 1949, стр. 87—98.

В статье „Vieux-slave otūvě „il répondit““, RÉSl, t. 23, 1947, стр. 152—155, Вайан, разбирая редкую форму *отъѣхѣ* вместо более обычного *отъѣхѣти*, встречающуюся в Савиной книге и в Ассеаниевом евангелии, предлагаєт отбросить старое сравнение с прусск. *waitāt*, лит. диал. *vaitenù* и выдвигает новое объяснение: в *отъѣхѣ* тот же корень, что в *ѣхати*; расширение **vē-* в *vēt-* подтверждается балтийской параллелью (*véjas*, *vētyti* и др.); приводятся аналогии семантического перехода *веять* > говорить.

В аннотации на исследование Гуннара Якобсона „Le nom de temps *lēto* dans les langues slaves“ (Uppsala, 1947), помещенной в BSL (т. 44, 1948, стр. 124—126), Вайан выдвигает новую этимологию этого слова: **lē-*, ср. лит. *lētas*, *lēnas*, лѣнь и т. д., не соглашаясь с предложенным шведским славистом объяснением (**ulē-* **ulē-* — ‘греть’).

Можно указать еще этимологическую заметку Вайана „**sern-* — gelée blanche“ (RÉSl, т. 26, 1950, стр. 132—133).

Статьи Френкеля, посвященные этимологии и истории слов в балтийских и славянских языках, были отмечены выше.

Немало новых этимологий, отдельных уточнений и сопоставлений находим в статьях Махека. Так, этимологическое объяснение славянского названия птицы *rarog* и, возможно, лит. *vānagas*, лтш. *vanags* заимствованием из иранского (ср. *Vāragna* — седьмое воплощение Вртрагны) содержится в статье „Slav. *rarog* „Würgfalke“ und sein mythologischer Zusammenhang“ („Linguistica Slovaca“, т. III, 1941, стр. 84—88).

В другой статье — „Beiträge zum baltisch-slavischen Wörterbuch“ (ZfslPh, Bd. 18, 1942, стр. 21—29) — Махек сопоставляет **kasati* — лтш. *kuōst*; **korviti* — лтш. *šarvaī*; **kērpēti* — лтш. *kveŕpt*; чешск. *zamrknoti* — лит. *miřkti*; **orōžbje* — лит. *āpranga*; *pēkny* — лит. *ruikūs*, лат. *pulcher* чешск. диалектн. *osláknút'* — лит. *apsliňkti*; чешск. диалектн. *slákat'* — лит. *sliňkti*.

Ряд сопоставлений названий рыб в славянских и в балтийских языках встречается в „Einige slavische Fischnamen“ (ZfslPh, Bd. 19, 1944, стр. 53—67). Ср. **ogorō* — лит. *ungurūs*; чешск. *hrouzek* — лит. *grūžas*;польск. *zrēka* — лит. *briūsis* и др.).

Славянские и балтийские примеры широко представлены в „Etymologies slaves“ („Recueil linguistique de Bratislava“, т. I, 1948, стр. 93—116), „Einige slavische Vogelnamen“ (ZfslPh, Bd. 20, 1950, стр. 29—50), „Quelques noms slaves de plantes“ („Lingua Posnaniensis“, т. II, 1950, стр. 145—161), „Trois noms slaves de couleurs“ (там же, т. III, 1951, стр. 96—111) и др.

Следует отметить, что в ряде случаев Махек чрезвычайно свободно и широко прибегает к объяснениям с помощью мены глухих и звонких согласных, различного рода метатез, выпадений и других спорадических явлений.

Те же методологические пороки отчетливо выступают в двух статьях К. Яначека „Poznámka k etymologické metodě“ („Slavia“, 22, 1953) и „Nové etymologie“ („Slavia“, т. 24, 1955), где сопоставляются лит. *žiōgas* и *šōkti*; *slēp̄* — лит. *žlibas*; лит. *guoglýs* и *kāklas*; *chlarp̄* — нем. *Kalb*; **gvr̄b̄* — лит. *kuprā*, слав. *gybati*; чешск. *kyčle* — лит. *kūlšē*; лит. *lemetà* и *meletà* (*malatà*); лит. *pláukas* и *chlurp̄*; *kysēl̄b̄* — лит. *gaužotí*; *krysa* — лит. *žiūrkē*⁶⁰, лит. *gamūla* объясняется контаминацией из *glūmas* и *mūlas* и т. д.

Из этимологий Отрембского можно отметить те, которые представлены в статье „Les mots d'origine commune dans les langues slaves et baltiques“ („Lingua Posnaniensis“, т. 1, 1949, стр. 121—151; 30 слов).

⁶⁰ Не проще ли сравнить лит. *žiūrkē* с польск. *szczurka* (тем более, что в латышском есть *šurķs*)?

Многие из них выглядят весьма убедительно. Особенно показательны сопоставления слов, засвидетельствованных исключительно в южнославянских языках, с соответствующими балтийскими словами. Заслуживает внимания также статья Отрембского „*Z badan nad słownictwem słowiańskim*“. Сборник в честь на акад. Теодоров-Балан. (София, 1955, стр. 329—334).

Подробный анализ балтийских и литовских слов, обозначающих „север“ и „вечер“, был дан финским ученым Э. Ниеминеном. См. „Über die Ausdrücke für Norden und Abend im Baltisch-Slavischen“ („Neuphilologische Mitteilungen“, Bd. 56, 1955, стр. 38—50). Автор не дает здесь новых этимологий, но по-новому интерпретирует некоторые факты (в частности, любопытно указание на следы старого аблauta в этих словах, позволяющее объяснить отдельные случаи; ср. **uek-er-* : **uk-er-* > *вчера* и др.).

Другой финский лингвист — В. Кипарский в статье „Der Schwiegersohn als „Bekannter““ (там же, Bd. 43, 1942, стр. 113—121) приводит новые соображения в пользу старой этимологии.

Весьма оригинальна предложенная А. Янценом (A. Jantzén. Ein slavischer Fisch- und Tiername. *ZfslPh*, Bd. 18, 1942, стр. 29—32) этимология слов. *jazъ*, который сравнивается с лит. *ožys*, лтш. *āzis*, прусск. *wosux*, *wosse*, др.-инд. *ajā*, а не с лит. *ešē* как это делалось раньше. Семантическое обоснование этой этимологии столь же убедительно, как и фонетическое.

Этимологию балтийского названия отавы дал А. Гатерс. См. „Der baltische Name für das Grummel“ (KZ, Bd. 71, 1953, стр. 113—117) (лит. *atōlas* и т. д. из **at-volas* ср., с одной стороны, лтш. *ātauga*, *atzieta* и др. и, с другой, лит. *ubłas*, слав. *valъ*, *valjatъ* и т. д.). О сопоставлении балт. *Laita*, *Laitmē* с венетск. *Louzera* говорилось выше.

Короткая заметка об отношении ст.-сл. огражд. к литовскому *rīsti* принадлежит Ф. Шпехту (см. *ZfslPh*, Bd. 19, 1944, стр. 127—128). Более подробно останавливается он на судьбе индоевропейского корня **dīēu-* в балтийском и в славянском (ср. *dъždъ*, лит. *džiáuti* и др.). См. „Der idg. Himmelsgott im Baltisch-Slavischen“ (KZ, Bd. 69, 1948, стр. 115—123). На основании анализа этого корня делаются некоторые заключения о климате, побудившие потом В. Бранденштейна посвятить этому вопросу отдельный этюд⁶¹.

Полемизируя с выводом И. Зубатого о родстве *tāpti* и *tonoti*, *topiti*, Хр. С. Станг в статье „Litauisch *tāpti*“ („Norsk Tidsskrift for Sprogviden skap“, vol. 16, 1952, стр. 259—262) обосновывает сопоставление указанного литовского слова с *terp*, *teti*, сопровождая его семантическими параллелями.

С рядом балтийских и славянских этимологий выступил в статье „*Etyma Balto-Slavica*“ („Slavistična revija“, t. 5—7, 1954, стр. 227—237) словенский учений Б. Чоп. Наиболее удачные из них: слав. *sъměti* — лит. *sūmdyti*, слав. *sotiti* — лтш. *sist*, др.-инд. *cātāyati* и др.

Отдельные балтийские и славянские факты этимологического характера отмечаются и в других статьях Чопа. (См. *Etyma „Živa Antika“*, 3, 1953, стр. 172—194 и др.).

Сравнение лит. *būkas* со слав. *букъ* было сделано И. Эндзелином в статье „Две этимологии“ („Lingua Posnaniensis“, t. I, 1949, стр. 3—4).

⁶¹ См. „Bemerkungen zum Sinnbezirk des Klimas“, „Studien zur indogermanischen Grundsprache“. Wien, 1952, стр. 23—25.

О. Трубачев предложил сопоставление ст.-сл. *ХРЪТЬ* и т. д. с лит. *sagtas* (см. „Вопросы славянского языкоznания“, вып. 2), а И. Шютц — болг. *гръздав* с лит. *gruzdūs*⁶².

О. Семерены предложил недавно любопытное сравнение слав. *blago*, лит. *blōgas* с лат. *flācūs*, которое он возводит к **flāgikos*. См. „The Indo-European Cluster *sl* in Latin“ („Archivum Linguisticum“, т. 6, 1954, стр. 31—45).

Разумеется, что немало балто-славянских этимологических сопоставлений разбросано в этимологических словарях, появившихся за последние 10—15 лет (см. словари Младенова, Голуба и Копечного, Славского, Фасмера, Френкеля).

Из немногочисленных работ в области синтаксиса и семасиологии можно отметить лишь ряд статей Френкеля; однако, как правило, они ограничиваются сопоставлением частных фактов, относящихся к самым различным эпохам.

* * *

В рассмотренных выше работах исследуются лингвистические факты, которые хронологически относятся или к предполагаемой балто-славянской эпохе, или, во всяком случае, к тому времени, когда балтийские и славянские языки выделились из индоевропейского праязыка. Однако, если в этот период связи между балтийскими и славянскими языками (или диалектами) были в известной степени проблематичными и труднодоказуемыми, то балто-славянские языковые отношения с конца первого тысячелетия нашей эры до настоящего времени являются твердо установленным и относительно хорошо документированным фактом. Разумеется, изучение балто-славянских языковых связей, за последнюю тысячу лет проявляющихся преимущественно в плане влияний, едва ли может существенно помочь в выяснении характера древнейших балто-славянских отношений. Однако такое изучение полезно для определения общей картины эволюции балто-славянских языковых отношений на всем их протяжении, для создания предпосылок к исследованию самого темного периода в этих отношениях (после распада предполагаемого балто-славянского единства и вплоть до конца первого тысячелетия нашей эры). Гораздо большее значение имеет исследование позднейших балто-славянских связей для истории отдельных славянских и балтийских языков (тем более, что их письменные памятники известны с относительно позднего времени), для уточнения хронологии ряда явлений.

Прежде всего это относится к польскому языку, древнейшие памятники которого относятся к XIV в.; польские же заимствования в прусском языке отражают состояние польского языка на несколько веков раньше.

В этой связи особенно интересной представляется большая статья Т. Милевского „*Stosunki językowe polsko-pruskie*“ („Slavia Occidentalis“, т. 18, 1939—1947, стр. 21—84; краткое изложение этой статьи см. в „Отчетах“ Польской Академии наук, т. 46, № 10, 1945, стр. 269—272).

Указывая, что из 1800 известных нам прусских слов 200 являются заимствованиями из польско-поморских диалектов, Милевский намечает три эпохи заимствований из польского языка в прусский. Характерными особенностями первого периода (до 900 г.) является сохранение старых кратких *i* и *u* (без перехода в *ъ* и *ѫ*), передача польского *у* через *ui*,

⁶² См. J. Schütz. Bulgarisch *gróz dav* „holperig, rauh; heiser“. „Zeitschrift für Slawistik“, I, Heft. 3, 1956, стр. 42.

сохранение *e* и *ę* перед переднеязычными согласными. Второй период (900—1300 гг.) был отмечен особенно сильным польским влиянием. Третий период (после 1300 г.) характеризуется спадом польского влияния и усилением немецкого. В соответствии с этими тремя периодами Милевский распределяет все прусские слова, заимствованные из польского языка.

Не менее интересными, чем лексические заимствования, представляются нам некоторые фонетические следы прусского языка в говорах северной Польши. Как известно, до XIII в. в прусском языке был лишь один щелевой звук — *s*, передававший равным образом польские *s*, *ś*, *š*. В XIV в. прусское *sj* перешло в *ś*. Поэтому польские заимствования XV в. в прусских памятниках передаются так, что польские *ś*, *š* выступают в виде *ś* (пишется *sch*): *schostro* — *siostra*. В Галиндии, колонизованной поляками в XI—XII вв., и на дальнем Мазовше, захваченном после истребления ятвягов к 1300 г., пруссы, перенимая польский язык, идентифицировали польские *ś*, *ż*, *ć* с рядом *s*, *z*, *c* (ср. мазуренье в польских говорах этих мест). В Вармии же и в Помезании, где польский язык был усвоен позже XIV в., пруссы, ополячиваясь, идентифицировали польские *ś*, *ś* с прусским *ś*, и два польских ряда (*ś*, *ż*, *ć* и *ś*, *ż*, *ć*) совпадали в один: *ś*, *ż*, *ć* (ср. современные польские говоры с двумя рядами щелевых).

Иное, чем у Милевского, объяснение этому фонетическому явлению дал Ст. Урбанчик в статье „*Gwary polskie na substracie staropruskim i geneza mazurzenia*“ („*Księga pamiątkowa 75-lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu*“, 1952, стр. 217—228). Он считает, что, усваивая польский язык, пруссы могли бы воспользоваться и собственными средствами (во всех положениях *s*, перед *e* и *i* — *ś*). Если же этого не произошло, то едва ли можно говорить о прусском субстрате мазуренья в том виде, как это предполагает Милевский. Урбанчик готов видеть влияние прусского субстрата лишь в смешении *ś* и *š* в мальборско-любавских говорах, что подозревал еще К. Нитч в 1911 г. Учитывая некоторые дополнительные исторические данные, Урбанчик предпочитает говорить скорее о финском субстрате, чем о прусском.

Последовательно отмечаются славянские заимствования в прусском языке в книге Энзелина „*Senprūšu valoda*“ (Rīgā, 1943; см. словарь прусских слов; немецкий перевод этой ценной книги не имеет словаря).

Важная в историческом плане статья Г. Ловмянского „*Stosunki polsko-pruskie za pierwszych Piastów*“ („*Przegląd historyczny*“, t. 41, 1950, стр. 152—179) содержит ряд замечаний о прусском происхождении имени *Mieszko*, о котором так много говорилось в последние годы (см. В. Семкович, Ст. Урбанчик и др.).

О том, что прусское *waitāt* Вайан считает славянским заимствованием, говорилось выше.

В уже названной статье о некоторых славянских названиях рыб Махек высказывает предположение, что прусск. *sarote* было заимствовано из польск. *szaran*.

Голландский лингвист Р. ван дер Мёлен приводит новые аргументы в пользу того, что прусск. *mixkai* в конечном итоге восходит к польск. *niemiecki*; с другой стороны, он не отвергает и старое объяснение Преториуса. См. „*Oudpruisisch mixkai*“. Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, VI, 2, 1943, стр. 33—44.

В. Курашкевич в статье „*Domniemany ślad Jadźwingów na Podlasiu*“ („*Studia z filologii polskiej i słowiańskiej*“, 1. Warszawa, 1955, стр. 334—348) обращает внимание на имеющиеся в говорах между Дрогичином и Белой на Буге инфинитивы на *-ie* (типа *it'ie*, *nes'c'ie*, *pečyē*), обнаруженные еще

в 1937 г. Токарским. Курашкевич не видит возможности фонетически объяснить эту флексию и поэтому предполагает здесь влияние ятвяжского инфинитива на *-tie* (ср. лит.—латш. *-ties*)⁶³. Кроме того, в слове *paršuk* — 'поросянок' этих говоров Курашкевич так же видит ятвяжское заимствование.

Если считать, что указанные факты, действительно, объясняются ятвяжским влиянием, то придется согласиться с Курашкевичем, что граница распространения ятвягов проходила южнее, чем думали Тёппен, Шёгрен, Сембрицкий, а в последнее время А. Каминский (ср. его исследование „*Jacwież. Terytorium, ludność, stosunki gospodarcze i społeczne*“ „*Łódzkie Towarzystwo Naukowe*“. Wydz. II, Nr. 14, 1953, а также некоторые другие его статьи) и С. Зайончковский (Ср. его статью „*Problem Jacwieży w historiografii*“ „*Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu*“, t. XIX, Nr. 1—4, 1953, стр. 7—56).

Вообще проблема ассимиляции ятвягов и определения ятвяжских следов (главным образом, в топонимике славянских территорий⁶⁴) нуждается в более тщательной разработке.

В работах, посвященных поздним литовско-славянским связям, в центре внимания стоят вопросы славянских влияний в области словаря и рече синтаксиса.

В 1954 г. в Вильнюсе В. И. Костельницким была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук на тему „Русско-литовские языковые связи по словарным материалам литовского языка“⁶⁵. В этой работе автор пытается определить критерии, при помощи которых можно установить славянские источники заимствований, а также выяснить времена заимствований. Включенный в диссертацию „Словарь литовских лексических заимствований из русского языка“ содержит около 1400 слов. Несмотря на некоторую тенденциозность выводов, эта работа Костельницкого может рассматриваться, как полезное дополнение к известной книге П. Скардюса.

Примерно те же проблемы анализируются Костельницким в статье „Историческое развитие русско-литовских языковых отношений до середины XVI в.“ („*Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko vardo Universiteto Mokslo Darbai*“, V. Istorijos-filologijos fakulteto Mokslo Darbai, t. 1, Vilnius, 1955, стр. 205—218).

Большое внимание славянским заимствованиям в языке старых литовских писателей уделяет И. Круопас. См. „*Žodyninės slavybės Mažvydo raštų kalboje*“ „*Senoji Lietuviška Knyga*“, 1947, стр. 217—256; (словарь славянских заимствований, стр. 225—243, и некоторые замечания о зависимости литовского Катехизиса 1547 г. от секлюдиановского)⁶⁶, а также диссертацию Круопаса „*M. Petkevičiaus raštų leksika*“ (Vilnius, 1951; см. особенно главу „*Skoliniai*“, стр. 292—301; к работе приложен полный список слов, встречающихся у Петкевичюса).

Вышедшая в свет в 1947 г. в Геттингене большая работа Э. Френкеля „*Sprachliche, besonders syntaktische, Untersuchung des kalvinistischen*

⁶³ На этом основании Курашкевич допускает, что в ятвяжском *ei > ie* (в отличие от прусского), хотя дошедшие до нас ятвяжские слова, кажется, противоречат этому предположению польского лингвиста.

⁶⁴ См. диссертацию К. О. Фалька „*Wody wigierskie i hućianskie*“. „*Studium toponomastyczne*“, I—II. Uppsala, 1941.

⁶⁵ „*Rusų-lietuvių kalbiniai santykiai pagal lietuvių kalbos žodyninę medžiagą*“. Вильнюс, 1956.

⁶⁶ Славизмы в „Разговоре самой книги с литовцами и жемайтами“ из указанного Катехизиса отмечены в статье М. Н. Петерсона „*Древнейший памятник литовского языка*“. „*Вестник Московского университета*“, 1948, № 3, стр. 9—11.

litauschen Katechismus des Malcher Pietkiewicz von 1598 лишь в незначительной степени затрагивает вопросы славянского (польского) влияния в области словаря, поскольку это было уже сделано Скарджюсом, зато в книге отмечаются случаи влияний в области синтаксиса и семантики (ср. двойное значение лит. *vasarà* в соответствии с польск. *lato*), а также любопытные примеры ассимиляции заимствованных слов (ср. *perškadyti* и *przeszkodzić*, *suliūbyti* и *ślubić* и др.).

Частному вопросу славянского (белорусского) влияния посвящена статья Френкеля „*Zwei Nachträge. 2. Ostlit. šišavà Schar kleiner Kinder*“ (KZ, Bd. 70, 1952, стр. 240), в которой он полемизирует с Шпехтом (см. „*Litauisch šišavà*“ KZ, Bd. 70, 1951, стр. 184), не обратившим внимания на этимологию этого слова, данную Френкелем еще в „*Studi baltici*“, VII, стр. 22 и след. Автор доказывает, что корень *šiš-* взят из белорусского языка и оформлен балтийским суффиксом *-ava*.

Из других статей Френкеля можно отметить уже упоминавшуюся „*Baltisches und Slavisches, II. Zur Mundart von Linkmenes (Wilnagebiet, Bez. Svenčionys)*“ (KZ, Bd. 70, 1952, стр. 146—152), в которой постоянно указываются „славизмы“ в рукописном словаре С. Гимжаускаса. Отдельные замечания о славянском влиянии в области лексики, синтаксиса, семантики встречаются и в других работах Френкеля.

Совсем недавно, в 1956 г., в Ленинграде была защищена диссертация на тему „Литовский говор в белорусском окружении. (Говор дер. Мальковка в БССР)“. Автор ее — М. Киндурис указывает и „славизмы“ особенно в лексике и словообразовании этого говора, представители которого около 70 лет назад утратили связь с матриархальным говором Швянчонельского уезда. В приложении дается список славянских лексических заимствований; из словообразовательных средств особое внимание уделено приставкам *da-*, *pad-*, *raz-*, *nai-* (ср. *naigražáusas*).

Кое-что о славяно-литовских связях можно почерпнуть из статьи А. П. Коулмэна „*The Lithuanian-White Russian Folk of the Upper Niemen Journal of Central European Affairs*“ (1, 1942, стр. 399—416).

Последовательно отмечаются славянские элементы в литовской лексике в замечательном труде проф. И. Бальчикониса „*Lietuvių kalbos žodynas*“ (Vilnius, t. I — 1941, т. 2 — 1947).

Магистерская диссертация недавно умершей Н. Боровской „*Wpływowe słowniańskie na litewską terminologię kościelną na podstawie Dictionarium Szrywida*“, к сожалению, остается ненапечатанной.

Вопрос о славянских заимствованиях в литовском словаре также ставился в работах А. Зенна. См. „*The Historical Development of the Lithuanian Vocabulary*“ („*Quarterly Bulletin of the Polish Institute of Arts and Sciences in America*“, Nr. 1, 1943, стр. 946—969; уделено внимание белорусским и польским заимствованиям, калькам из славянских языков), а также „*Lithuanian Dialectology*“ („*Supplement to the American Slavonic and East European Review*“ № 1. Menasha, 1945; см. VII. „*Slavic Loanwords in Prussian Lithuanian*“).

С рядом статей, в которых так или иначе рассматриваются вопросы балто-славянских отношений в поздний период, выступил в послевоенные годы В. Кипарский. Лучшая из его работ на эту тему — „*Chronologie des relations slavobaltiques et slavofinnoises*“ — была напечатана в 1948 г. в RÈS!, 24, стр. 29—47. Кипарский уточняет состав древнейших славянских заимствований в балтийских языках, попутно устанавливая состояние некоторых фонетических явлений в период заимствования. В ряде случаев автор высказывает новую точку зрения. Так, например, он отвергает старое мнение о том, что древнейшие литовские заимствования из русского языка относятся к тому времени, когда еще сохранялись

носовые гласные. Лит. *pūndas*, *unguras* и *lénkas* объясняются заимствованием из немецкого или польского. К этим словам следует добавить еще *iñkaras*, *iñkoras*, *ijkaras*, лтш. *eñkurs*, которые рассматриваются аналогичным образом в статье Кипарского „Ein altrussisches Lehnwort im Litauischen“ („Studi baltici“, Vol. IX, 1952, стр. 238—243). Отчасти сходные вопросы решаются им в небольшой статье „The Earliest Contacts of the Russians with Finns and Balts“ („Oxford Slavonic Papers“, 3, 1952, стр. 67—79), в которой также уделяется немало внимания хронологическим фактам.

Менее известна статья Кипарского „Baltogermanica“ (AASF, Bd. 50, 1942, стр. 517—523), аннотированная Френкелем в 28-м томе „Индогерманского Ежегодника“.

Следует отметить, что для Кипарского характерно рассмотрение балто-славянских связей на фоне балто-финских и славяно-финских. В ряде случаев такое расширение материала оказывается полезным для уточнения собственно балто-славянских языковых отношений и особенно их хронологии. Поэтому специалист в области изучения балто-славянских связей в относительно поздний период может найти интересные подробности и в тех исследованиях, которые посвящены специально балто-финским и славяно-финским проблемам⁶⁷.

Помещенная в настоящем сборнике статья В. Мажюлиса содержит новые доказательства славянского происхождения литовско-латышской приставки *da-*.

В некоторых работах поднимался вопрос о литовском влиянии на славянские языки. Среди них укажем статью Я. Сафаревича „Polskie imiona osobowe pochodzenia litewskiego“ („Język Polski“, t. 30, 1950, стр. 113—119)⁶⁸ и особенно книгу К. Яблонского (K. Jablonskis) „Lietuviai žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje“ Kaunas, 1941)— ценное, хорошо документированное собрание литовских слов, употреблявшихся в канцелярском языке Великого княжества Литовского.

В области изучения латышско-славянских языковых связей за последние годы сделано очень немного. В ряде диссертаций, посвященных описанию отдельных латышских говоров, отмечаются заимствования (прежде всего в лексике) из русского языка. Такова, например, работа С. Раче „Описание трех пограничных говоров северной Видзeme (Эргеме, Лугажи, Валка)“, Автореферат кандидатской диссертации, Рига, 1955⁶⁹.

Из диссертаций, написанных в сопоставительном плане, следует отметить две: исследование М. Ф. Семеновой „К вопросу о формах прошедших времен глагола в латышском языке сравнительно с русским“ (М., 1954); см. особенно 4-ю главу, в которой рассматриваются формы сложного прошедшего в русских говорах Латвийской ССР (типа *Я тогда*

⁶⁷ См. работы Кипарского, Ниеминена, Калима, Зенна, Муста, Бергсланда, Тункело Вилкуна, Мэтьюза, Хаккулинена, Абена и др.

⁶⁸ Один из вопросов литовской топонимики на славянских землях был рассмотрен Сафаревичем в небольшой заметке „Rozmieszczenie nazw na -iszki na pograniczu słowiańsko-litewskim“ (SAU, t. 48, № 2, 1947, стр. 45—46). Ср. также более раннюю статью этого же автора „Litewskie nazwy miejscowości na -iszki“ (SAU, t. 45, 1939—1944, стр. 20—23). Наконец, недавно появилась новая статья Сафаревича, „Litewskie nazwy miejscowości na -iszki“. Opomastica, II, 1956, стр. 15—63.

⁶⁹ Вопрос о „славизмах“, видимо, затронут в статье Ф. Заубе об иностранных элементах в латышском языке в стокгольмском журнале „Ceļa Zīmes“, 1950, № 5-6, который, к сожалению, до нас не дошел. С другой стороны, „летьтицизмы“ в русских говорах привлекли внимание J. Schwers'a; см. „Die Kreewinien nebst einem Wörterverzeichnis der lettischen Lehnwörter in ihrer Sprache“. WuS. 21 (N. F. 3), 1940/42, стр. 65—77 (см. подробнее „Izglītības ministrijas mēnešraksts“, 1, 1939, стр. 360—367, 501—507).

был въехачи на работу, Корова наша теливши и т. д. в сравнении с аналогичными латышскими формами, причем на основании сходства в значении и в употреблении этих форм делается едва ли обоснованный вывод об их общем балто-славянском происхождении), и работу Н. Д. Боголюбовой „Родительный-отложительный при предлогах *из*, *из-за*, *из-под*, *от*, с в русском языке в сравнении с родительным-отложительным при предлоге *по* (-пио) в латышском языке“ (Рига, 1955). Здесь, между прочим, говорится о том, что предложные конструкции с *из* и *от* в славянских языках являются древнейшей балто-славянской особенностью; появление же конструкций с *с* и с *пио* произошло уже отдельно в каждой из групп; к недостаткам этой диссертации, как, впрочем, и предыдущей, следует отнести диспропорцию между некоторыми выводами, относящимися к глубокой древности, и материалом, взятым из поздних источников.

Любопытную параллель к развитию праславянской группы *tort* приводит известная исследовательница латышского языка А. Абелे. См. ее статью „Zur Weiterentwicklung urbaltischer Liquidadiphonge im Lettischen: Parallelen zum Slawischen *tort/torot*.“ („Slavic Word“, т. 3, 1954, стр. 429—435). Разумеется, что ряд деталей в эволюции латышских дифтонгов указанного типа (связь с интонацией, возникновение *svarabhakti* и т. д.) может помочь лучше понять соответствующие славянские явления. Можно указать еще, что норвежский лингвист Г. Моргеншерн в статье „Metathesis of Liquids in Dardic“ („Festskrift til prof. Olaf Broch“, 1947, стр. 145—154) обращает внимание на некоторые случаи метатезы в надписях Ашоки на *kharoṣṭhi* (*kra(m)ma* < *karmān* и т. д.) и в дардских диалектах (*träku* < *tarku*, *drä't* < *dātra* и т. д.), отмечая их типологическое сходство со славянскими фактами, обусловленное общей тенденцией к открытию слогов. О. Грюненталь („Zur Liquidametathese“. — ZfslPh, Bd. 19, 1947, стр. 323—324) указывает ряд параллелей (из некоторых немецких говоров и тамского диалекта латышского языка) к эволюции славянских дифтонгов с плавным.

Некоторые интересные вопросы балто-славянского симбиоза на территории Прибалтики поднятыпольским историком Ф. Буяком в работе „Wenedowie na wschodnich wybrzeżach Bałtyku“ (Гданьск, 1948⁷⁰), где он развивает свои старые идеи об исконном существовании славян на восточных берегах Балтийского моря и об их остатках в виде славянского населения Жемайтии, вендов, упоминаемых Генрихом Латышом (в районе Цеклиса) и т. д.⁷¹ Между прочим, на основании ряда соображений (в том числе и топонимического характера) Буяк отождествляет птолемеевских осиев в Паннонии с вендами Генриха Латыша (ср. топонимические названия *Osua*, *Ossowa* и другие в Латвии).

Бесспорно важное, хотя и вспомогательное значение для нашей темы имеют работы в области истории, археологии, антропологии, этнографии, фольклора, мифологии балтийских и славянских народов. Здесь можно ограничиться лишь указанием на наиболее интересные работы. В области изучения этногенеза славян и их древнейших судеб в связи с предполагаемым балто-славянским единством более всего сделали

⁷⁰ О проблеме венедов в последнее время см. работы К. Тыменецкого, М. Рудницкого, К. Малоне, И. Костшевского, Т. Лер-Славинского, К. Треймера и др.

⁷¹ Вопрос о западнославянских вендах поднимался и у нас в последние годы. См. Д. К. Зеленин. О происхождении северновеликоруссов Великого Новгорода. „Доклады и сообщения Института языкоznания АН СССР“, вып. VI, 1954, стр. 49—95; см. так же отчет М. В. Митова об антропологической экспедиции в район Цеклиса, („Советская этнография“, 1955, № 3).

польские историки⁷², несколько меньше — чешские⁷³. Из других работ следует отметить книгу К. Вердиани „Le problema dell' origine degli Slavi. Premessa allo studio del mondo slavo prima del X secolo“ (Firenze, 1951), К. Х. Менгеса „An outline of the early history and migrations of the Slavs“ (New-York, 1953), исследование К. Треймера „Ethnogenese der Slaven“ (Вена 1954) и др.

Слабая изученность балтийских земель в археологическом отношении создает серьезные препятствия для выяснения балто-славянских связей в первом тысячелетии нашей эры и в ряде случаев в более древние периоды⁷⁴. Поэтому вполне закономерно, что в последнее время наблюдается некоторое оживление в этой области. См. диссертацию А. Таутавичюса „Rytų Lietuva mūsų eros pirmajame tūkstantmetyje“ (Vilnius, 1954), книгу Х. Моопа „Pirmatnējā kopienas iekārtā un agrā feodala sabiedrība Latvijas PSR teritorijā“ (Rīga, 1952) и его статьи „Вопросы этногенеза народов Советской Прибалтики по данным археологии“ („Краткие сообщения Института этнографии АН СССР“, 1950, XII, стр. 29—37), „Возникновение классового общества в Прибалтике по археологическим данным“ („Советская археология“, т. XVII, 1953, стр. 105—132) и другие, исследование П. Тарасенка „Lietuvos piliakalniai“ (Vilnius, 1956), диссертацию Р. Волкайте-Куликаускиене „Medžiaginė Lietuvos gyventojų kultūra IX—XII amžiuje, remiantis tyrinėtų laidojimo paminklų duomenimis“ (Vilnius, 1950), статьи П. Куликаускаса „Некоторые данные о первоначальном заселении территории Литвы и о племенных группах в I и начале II тысячелетия н. э. по данным археологии“ [Материалы Балтийской этнографо-антропологической экспедиции (1952), Москва, 1954, стр. 36—46] и „Литовские археологические памятники и задачи их изучения“ („Краткие сообщения Института этнографии“, 1950, XII, стр. 59—61), Т. Левицкого „Obrzędy pogrzebowe pogańskich Słowian w opisach podróżników i pisarzy arabskich głównie z IX—X w.“ („Archeologija“, т. V, 1955, стр. 122—154; особенно стр. 128, 133, 143, 145), отчеты археологических экспедиций Института истории и права АН СССР за 1949—1954 гг., материалы по археологии Пруссии (см. „Wiadomości Archeologiczne“, т. 20, zesz. 3, 1954, стр. 319), L. Kilian „Die schnurkeramische Kultur Ostpreußens und ihre Bedeutung für den Ursprung der Balten“ (Königsberg, 1942; машинопись) и т. д.⁷⁵. Работы латышских ученых в этой области перечислены А. Спекке в статье „I lavori filologici e storici degli scienziati lettoni all' Estero“ („Studi baltici“, т. IX, 1952, 244—250; особо см. стр. 246—248⁷⁶).

⁷² См. обзорную работу Лер-Славинского „Zagadnienie pochodzenia Słowian w świetle nauki polskiej i rosyjskiej“. „Świątowit“, т. 20, 1948, стр. 25—48, и „Rozprawy i dziejów kultury Słowian“. Warszawa, 1954, стр. 15—48.

⁷³ См. Я. Филип. Nové práce o slovanských starožitnostech v Československu v r. 1949—1952. „Slavia Antiqua“, т. 4, 1953; J. Böhm. Pávod Slovanů ve světle nové české literatury prehistorické. „Časopis Matice Moravské“, 1948, стр. 68 и след.

⁷⁴ См. Х. Хенкен. Indo-European Languages and Archeology. „American Anthropologist“, 57, № 6, pt. 3, memoir № 84. December, 1955 (особенно главы „Slavonic“ и „Baltic“).

⁷⁵ См. также К. Ślaski. Udział Słowian w życiu gospodarczym Bałtyku na początku epoki feudalnej (VII—XII w.). „Pamiętnik Słowiński“, 4, zesz. 2, 1954, стр. 227—266; W. Kowaleński. Najdawniejsze związki prasłowian i słowian z Bałtykiem. „Przegląd Zachodni“, т. 7, zesz. 1—2, 1951, стр. 5—38, и др. Эти статьи также посвящены первому тысячелетию нашей эры в истории славян в связи с Балтийским морем (хотя и не в археологическом плане).

⁷⁶ Среди этих работ: „I popoli baltici nel primo millennio della nostra era“ („Europa Orientale“, fasc. V—VI, 1943) и „I problemi demografici ed etnici dei paesi del bacino Baltico“ (Там же, fasc. I—II, 1943), принадлежащие перу А. Спекке, исследования Ф. Балодиса, А. Швабе и др.

Из работ в области антропологии, кроме основополагающих трудов Чекановского, следует упомянуть статьи Н. Чебоксарова „Вопросы этногенеза народов Советской Прибалтики в свете данных этнографии и антропологии“ („Краткие сообщения Института этнографии“, 1950, XII, стр. 15—28), „Некоторые вопросы этнической истории Советской Прибалтики в свете новых антропологических и этнографических данных“ (Материалы Балтийской этнографо-антропологической экспедиции, 1952, стр. 3—12), „Новые данные по этнической антропологии Советской Прибалтики“ (там же, стр. 13—35).

Этническому прошлому Прибалтики и этнографии современных балтийских народов (часто в связи с некоторыми славянскими данными) посвящен ряд статей в уже указанном сборнике „Материалов“ Балтийской экспедиции 1952 г., отчет о Балтийской экспедиции 1954 г. („Советская этнография“, 1955, № 3, стр. 151—153, книга П. Кушнера (Кнышева) „Этнические территории и этнические границы“ (М., 1951; 2-й раздел), „Балтийский этнографический сборник“ (М., 1956) и некоторые другие статьи.

Разумеется, все эти работы касаются лишь частных вопросов и позволяют уточнить лишь некоторые детали, однако во всей своей совокупности они дают важный материал для специалиста в области балто-славянских связей в разные периоды.

Изучение древней религии балтийских и славянских народов в сравнительном плане за последние пятнадцать лет представлено, по сути дела, лишь работами Пизани „Le religioni dei Culti e dei Baltoslavi“ (Milano, 1951) и Р. ван дер Мёлена „De Godsdiensten der Slaven en Balten“ (Cм. G. van der Leeuw, De Godsdiensten der Wereld, т. 2, Amsterdam, 1941, стр. 193—212), продолжающими традицию 30-х годов⁷⁷. Остальные работы в этой области рассматривают религии древних балтов и славян отдельно.

Из сравнительных фольклористических работ можно назвать статью Арумаа „Zur Poetik der litauischen und ostslavischen Volksdichtung“ („Festschrift für D. Čyževský“, стр. 51—58), в которой автор обращает внимание на сходство в употреблении уменьшительных существительных и существительных в аппозиции в языке литовских и восточнославянских (прежде всего белорусских) песен. Некоторые вопросы поздних культурных связей рассмотрены в книге А. Пельше „Latviešu un krievu kulturas sakari“ (Rīga, 1951).

Примечание. Некоторые из отмеченных в обзоре работ оказались для нас недоступными и известными лишь по рецензиям или аннотациям. То, что было нам известно только по названию [как, например, „Commentationes Balticae“, „Jahrbuch des Baltischen Forschungsinstitut“, Bd. 1, 1953, Bonn, 1954; „Contributions of the Baltic University; Zviedrijas Latviešu Filologu Biedrības Raksti“; „Meddelanden“ семинара славистики Лундского университета; „Les Actes du sixième Congrès international des linguistes“, Paris, 1949, стр. 501—504 (о балто-славянских проблемах) и т. д.], не нашло отражения в нашем библиографическом обзоре.

(май 1956 г.)

⁷⁷ См. V. Pisani. Il paganesimo balto-slavo. „Storia delle Religioni“, I. Torino, 1934; X. Thomas. Die slawische und baltische Religion vergleichend dargestellt, 1934; K. Klemens. Die Religion der Balten und Slaven. „Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft“, Bd. 53, N 3-4, 1938, стр. 76—95.

В. МАЖЮЛИС

К. БУГА

(*К 75-летию со дня рождения*)

В 1954 г. исполнилось 75 лет со дня рождения и 30 лет со дня смерти известного литовского лингвиста проф. К. Буги, в лице которого языкознание потеряло крупного специалиста по литовскому и другим балтийским языкам.

Казимир Буга (Kazimieras Būga)¹ родился 6 ноября 1879 г. в д. Пажеге (Pažiegė) Дусетосской (Dusetos) волости (северо-восточная Литва), в семье крестьянина. Учился он сначала в г. Дусетос, затем в г. Зарасай. С 1892 до 1896 г. Буга учился в прогимназии в Петербурге. После ее окончания он по требованию родителей поступил в Петербургскую духовную католическую семинарию, но через год ушел из нее, не желая стать ксендзом. Уйдя из семинарии, Буга лишился помощи родителей и был вынужден некоторое время служить домашним учителем. В 1899 г. он поступил на службу в Главную Николаевскую физическую обсерваторию, где в свободное от службы время изучал литовский язык, его диалекты, а также латышский, прусский и другие языки. В это же время К. Буга начал писать лингвистические статьи. На него обратили внимание К. Явнис, Э. Вольтер, а позднее А. А. Шахматов и Ф. Ф. Фортунатов. В 1903 г. К. Буга был назначен Академией наук личным секретарем проф. Явниса, считавшегося тогда лучшим знатоком литовского языка. В 1905 г. он экстерном сдал экзамен на аттестат зрелости и в том же году поступил в Петербургский университет на историко-филологический факультет, где в это время преподавали И. А. Бодуэн де Куртене, А. А. Шахматов, А. И. Соболевский.

В 1912 г. К. Буга окончил университет с дипломом первой степени и по рекомендации Ф. Ф. Фортунатова и А. А. Шахматова был оставлен на кафедре сравнительного языкоznания Петербургского университета. В 1914 г. К. Буга был командирован за границу; он работал в Германии (в Кенигсбергских архивах), откуда перед самым началом первой мировой войны вернулся в Петербург. Весной 1916 г. К. Буга сдал магистерские экзамены и был оставлен приват-доцентом по кафедре сравнительного языкоznания Петербургского университета; осенью того же года он поехал в только что открытый Пермский университет, где в 1917 г. стал экстраординарным профессором. В 1920 г. К. Буга вернулся в Литву и до конца жизни работал в качестве ординарного профессора балтийского и индоевропейского языкоznания на факультете гуманитарных наук Литовского университета в Каунасе. Летом 1924 г. Буга тяжело заболел; он лечился в Германии, где скончался 1 декабря 1924 г.

¹ О К. Буге см. „Humanitarinių mokslo fakulteto raštai“ (Commentationes ordinis philologorum), т. I. Kaunas, 1925, стр. 274—293, 297—347; „Lietuviškoji Enciklopédija“, т. IV. Kaunas, 1936, стр. 962—967; „Indogermanisches Jahrbuch“. Berlin und Leipzig, 1926, стр. 435—441.

Несмотря на короткую жизнь, К. Буга оставил большое и ценное лингвистическое наследство, известное языковедам всего мира.

Еще будучи студентом первого курса, К. Буга перевел на русский язык литовскую грамматику проф. К. Явниса (1916)², редактировал по поручению русской Академии наук литовский словарь Антанаса Юшки, написал книгу „Aistiški studijai“ (1908). В 1911 г. вышла в свет его работа „Apie lietuvių asmens vardus“ (напечатана в журнале „Lietuvių tauta“, т. II, кн. 1, стр. 1—50), в которой он доказал, что двухосновные литовские фамилии с окончаниями на -as и -a (им. п. ед. ч.) — литовского происхождения, как и двухосновные фамилии с окончанием на -is. В этой работе К. Буга, обнаруживая прекрасные знания истории литовского и русского языков, установил фонетические преобразования древнелитовских собственных имен в древнерусских летописях; таким образом, К. Буга восстановил и точные имена (по-литовски) литовских князей (так как из памятников литовской письменности XIII—XVI вв. самый древний памятник на литовском языке относится к 1547 г.). Кроме того эта работа ценна и тем, что в ней устанавливается хронология ряда звуковых изменений как литовского, так и русского языков.

В „Русском филологическом вестнике“ были опубликованы статьи К. Буги по фонетике и этимологии литовского и других балтийских языков: „Baltica“ 1911; „Славяно-балтийские этимологии“ (в каждом номере за 1911—1916 гг.). В 1912 г. публикуется его „Lituanica“ (ИОРЯС, т. XVII, кн. 1, стр. 1—52), к этому же времени относится и его этюд „К вопросу о хронологии литовских заимствований с русского“ (дипломная работа К. Буги, за которую он был удостоен золотой медали). В этом же году Петербургский университет издал „Литовско-русский словарчик“ К. Буги, а журнал „Rocznik Slawistyczny“ (№ 6, стр. 1—38) в 1913 г. напечатал его этюд „Kann man Keltenspuren auf baltischem Gebiet nachweisen? (Aus Anlass der Arbeiten Schachmatov's über keltisch-slavische und finnisch-keltische Beziehungen)“, в которых К. Буга на основании своих исследований по топонимике Прибалтики и Белоруссии пришел к выводу, что положения А. А. Шахматова, доказывавшего пребывание кельтов на территории Прибалтики, являются несостоительными. В журнале „Draugija“ (1913, № 77—78) была напечатана его „Kalbų mokslas bei mūsų senovė“, где определялась степень родства балтийских языков с другими индоевропейскими языками. К. Буга принимал активное участие в работе по установлению единой литовской орфографии в журнале „Vairas“. В журнале „Lietuvos mokykla“ в 1921 г. была напечатана его работа „Priesagos -ūnas ir dvibalsio uo kilmė“. В 1922 г. вышла в свет книга К. Буги „Kalba ir senovė“, которая представляет собой ряд исследований в области литовского и вообще балтийского языкоznания; особо следует отметить в этой же книге этюд „Visų seniausi lietuvių santykiai su germanais“, где исследовались древнейшие германские заимствования в литовском и других балтийских языках.

К. Буга принимал активное участие в основании журнала „Tauta ir žodis“ (1923, № 1 и след.), сотрудничал в других литовских, а также иностранных лингвистических журналах („Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen“, „Zeitschrift für slavische Philologie“ и др.). В опубликованном в 1923—1924 гг. труде „Die Metatonie im Litauischen und Lettischen“ (КZ, № 51, стр. 109—142; № 52, стр. 91—98, 250—302) К. Буга установил закономерности

² К. О. Явнис. Грамматика литовского языка, перевод К. Буги, под ред. Ф. Фортунатова, Пг., 1916.

изменений интонаций в литовском и латышском языках. В этюде „Die Litauische-weissrussischen Beziehungen und ihr Alter“ (ZfslPh. Bd. 1, стр. 26—55) он исследовал древнерусские заимствования в литовском языке и установил их хронологию (данная работа является дальнейшим развитием темы, взятой К. Бугой для дипломной работы, см. выше).

К. Буга внимательно следил за всей литературой, касающейся балтийского, славянского, а также вообще индоевропейского языкознания, о чем свидетельствуют многочисленные рецензии, написанные им (например, только в I томе журнала „Tauta ir žodis“ Буге принадлежит 21 рецензия, во II — 20 рецензий).

В последние годы своей жизни К. Буга дал ряд ценных работ по балтийской топонимике в связи с решением проблемы этногенеза балтийцев, а именно: „Upių vardų studijos ir aiscių bei slavėnų senovė“ („Tauta ir žodis“, т. I, стр. 1—44), „Lietuvių įsikūrimas šių dienų Lietuvoje“ (там же, т. II, стр. 1—27), „Aiscių praeitis vietų vardų šviesoje“ (Kaunas, 1924); то же по-немецки „Die Vorgeschichte der aistischen (baltischen) Stämme im Lichte der Ortsnamenforschung“ (Streitberg — Festgabe, 1924, стр. 22—36) и др. В данных трудах К. Буга пришел к выводу, что балтийцы в древности жили восточнее своих современных этнических границ. В этюде „Sis-tas iš lietuvių ir indoeuropiečių senovės“ („Tauta ir žodis“, т. II, стр. 98—110) К. Буга обобщил свои исследования по этногенезу балтийцев и их соотношению с другими „индоевропейцами“ в древнюю эпоху [кстати, надо отметить, что К. Буга не признавал славяно-балтийского языкового единства (ср. „Tauta ir žodis“, т. 1, стр. 431)].

Однако главной своей работой К. Буга считал подготовку издания Литовского словаря, материалы для которого он начал собирать еще в 1902 г. В 1920 г. Министерство просвещения Литвы поручило ему издать этот словарь. В связи с этим К. Буга организовал сбор материалов для пополнения им самим собранной полумиллионной картотеки литовского словаря. В 1924 г. появился первый выпуск словаря — „Lietuvių kalbos žodynus“, второй (до слова *anga*) — посмертно в 1925 г. Во введении к данному словарю К. Буга описал историческую основу ударения и интонаций литовского языка, а также поместил обширное исследование „Lietuvių tauta ir kalba bei jos giminaičiai“. К. Буга мыслил дать словарь типа „Thesaurus linguae Lituanicae“, о чем свидетельствуют два опубликованных выпуска данного словаря. В них были включены не только литовские и заимствованные слова, но и собственные имена, фамилии, литовские (а также отчасти прусские, латышские) топонимические названия и т. п.; кроме того, в словарных статьях давалась история слов, диалектологические сведения и этимология.

Преждевременная смерть К. Буги прервала издание этого большого труда.

Лингвистическое наследство К. Буги показывает, с каким глубоким знанием дела и добросовестностью он применял сравнительно-исторический метод в области исследования литовского и других балтийских языков. К. Буга был прекрасным знатоком славянских языков, особенно в области славяно-балтийских языковых связей, о чем свидетельствуют его лингвистические исследования, упомянутые выше.

В связи с этим следует особо остановиться на одном неопубликованном его труде, относящемся к последнему десятилетию его жизни, а именно на работе „Поправки и дополнения к этимологическому словарю русского языка А. Г. Преображенского“. Данная рукопись объемом в 16 тетрадей (свыше 400 стр.) находится в архиве проф. К. Буги — в Библиотеке Вильнюсского государственного университета им. В. Капукаса. Это обширное исследование по этимологиям русского (resp. слав-

вянских) языка. В рукописи нумерованные этимологии (№ № 1—324) охватывают буквы R—Ž, ненумерованные этимологии — буквы P, N, O. В конце рукописи находится приложение этимологий на буквы T—Ž (№ 219—263), которое является частью более ранних (1913 г.) исследований К. Буги по славянским этимологиям. Таким образом, в этой работе К. Буги даются этимологии и для тех слов, которых в этимологическом словаре русского языка А. Г. Преображенского еще не было, — последний выпуск (*тело—ящур*) данного словаря А. Г. Преображенского был опубликован только в 1949 г. (в „Трудах института русского языка“). Итак, замысел К. Буги — написать „поправки и дополнения“ к упомянутому словарю А. Г. Преображенского — вырос по сути дела в большое исследование по этимологиям русского (resp. славянских) языка с привлечением обширного материала балтийских языков. На основании данного исследования К. Буга давал советы А. Г. Преображенскому (о чем упоминает и сам А. Г. Преображенский)³. Этот неопубликованный (и поэтому почти никому не известный) труд К. Буги имеет большое значение при составлении этимологических словарей как русского (resp. славянских), так и литовского (resp. балтийских) языков.

Немаловажное значение для слависта имеет еще одна работа К. Буги: „*Baltica* в «Праславянской Грамматике» Г. А. Ильинского⁴. Этот труд К. Буги представляет критику данной грамматики с точки зрения балтийского языкоznания и вместе с тем ряд отдельных исследований и заметок по славяно-балтийским этимологиям, фонетике, морфологии.

Мы не намерены перечислять и анализировать все работы К. Буги, это возможно лишь в большой монографии (которая, к сожалению, еще не написана). Библиография его трудов, составленная проф. В. Биржишкой, помещена в журнале „*Tauta ir žodis*“ (т. III, стр. 224—231). Кроме того имеется 129 рукописных работ; их библиография находится в журнале „*Tauta ir žodis*“ (т. III, стр. 563—577), часть которых еще не опубликована. Следует упомянуть и то, что К. Буга оставил большой лексикографический материал (им самим собранный): 1) картотеку (429 026 карточек)⁵ Литовского словаря (этот материал положен в основу Литовского академического словаря, издающегося в настоящее время Академией наук Литовской ССР); 2) картотеку (65 971 карточка) словаря древнелитовской письменности; 3) картотеку (12 380 карточек) словаря слов славянского происхождения; 4) картотеку (46 881 карточка) словаря собственных имен; 5) картотеку (19 355 карточек, в том числе 400 карточек по угро-финским этимологиям) этимологического словаря литовского языка. Этот огромный лексикографический материал представляет большую ценность как для литовского, так и для всего балтийского языкоznания (в этих картотеках много ценного и нового черпали не только литовские лингвисты, ими неоднократно пользовались и Р. Траутманн, М. Нидерманн, А. Мейе и др.).

До сих пор труды К. Буги вместе, в одном издании не публиковались, к тому же часть его работ осталась в рукописях. В настоящее время Издательство политической и научной литературы Литовской ССР наметило издать избранные труды К. Буги, в 3—4-х томах (объемом свыше 100 печатных листов).

³. См. его „*Этимологический словарь русского языка*“. „*Труды института русского языка*“. М.—Л., 1949, стр. 11, 12, 25 и др.

⁴ Опубликовано в „*Archivum Philologicum*“, т. I. Kaunas, 1930, стр. 37—68.

⁵ Число карточек приводится по подсчету А. Салиса. См. „*Tauta ir žodis*“, т. III, стр. 573—577.

Хроника

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА В ЛИТОВСКОЙ ССР

Литовский язык стал объектом научного исследования в середине XIX в. Основоположниками литовского языкоznания следует считать А. Шлейхера, Ф. Куршата, Ф. Фортунатова, А. Барановского, К. Явниса, К. Бугу и И. Яблонского.

После восстановления в Литве Советской власти языковедческую работу возглавил Институт литовского языка и литературы Академии наук Литовской ССР, в котором имеется два лингвистических сектора: сектор лексикографии и современного литовского языка и сектор диалектологии в истории языка.

Пожалуй, лучше всего обстоит дело в области литовской лексикографии. Здесь уже имеются многолетние традиции, есть и опытные специалисты. В 1941 г. вышел в свет первый том Академического словаря литовского языка, в 1947 г. — второй. Сейчас печатается третий том и подготовлен к печати — четвертый. Этот словарь в свое время задумал составить К. Буга, который с 1902 г. начал собирать для него материалы и успел издать две тетради словаря (до слова *angas*). После смерти К. Буги работа над словарем на некоторое время прекратилась. Позднее ее возглавил проф. Бальчиконис. В настоящее время картотека Академического словаря литовского языка содержит более 2,5 млн карточек. Материал для нее собирается из современного разговорного языка, диалектов, художественной литературы и древних литовских памятников. Издание Академического словаря в некоторой степени замедлилось, так как одновременно шла работа над однотомным словарем современного литовского языка („Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“, Vilnius, 1954), выход в свет которого является большим достижением литовской лексикографии.

В области исследования лексики и теории лексикографии сделано сравнительно немного. Известные раньше лексикологические труды К. Буги, П. Скардюса, И. Отрембского и других в последнее время новыми работами почти не пополнялись. Можно указать только отдельные неизданные диссертации по вопросам лексикодогии и среди них в первую очередь — работу В. Урбутиса „Lietuvių kalbos leksikos homonimių susidarymo būdai“, в которой автор разъясняет причины и освещает исторический путь возникновения омонимов в литовском языке. В диссертации Б. Толутена „Antano Juškos lietuvių kalbos žodynas“ исследуется первый большой словарь живого народного литовского языка и фразеологии. В работе впервые использована неопубликованная переписка И. Юшки, К. Буги, И. Яблонского с русскими языковедами — Гротом, Срезневским, Фортунатовым, Шахматовым и др. Заслуживает

внимания также диссертация В. И. Костельницкого — „Русско-литовские языковые связи по словарным материалам литовского языка“.

В области исследования языка древних памятников сделано мало. Можно указать только „Beiträge zur Geschichte der litauischen Sprache“ (Göttingen, 1887) А. Бещенберга, „Daūkšos akcentologija“ (Kaunas, 1935) П. Скардюса и несколько статей того же П. Скардюса, а также П. Ионикаса, Г. Геруллиса, Э. Френкеля и др. За последние годы эта работа мало продвинулась вперед. До сих пор завершена лишь диссертация И. Круопаса, посвященная языку древних памятников — „Petkevičiaus raštų leksika“ (1949, рукопись), в которой исследуется язык, особенно лексика, одного из древнейших памятников XVI в. — Катехизиса М. Петкевичюса. И. Круопас выдвинул некоторые интересные положения о диалекте языка катехизиса, составил и проанализировал его полный дифференциальный словарь, а также исследовал использование лексики XVI в. в позднейшие времена. Вопросам развития литовского языка во второй половине XIX в. посвящена диссертация доц. И. Палиониса — „Lietuvių literaturinės kalbos normalizacija XIX a. pabaigoje (1880—1901)“ (готовится к печати). В ней автор детально и на большом материале разбирает вопросы теории и практики нормализации литературного языка (правописания, морфологии, синтаксиса и лексики), а также тщательно исследует заслуги в этой области И. Яблонского.

Исследование истории литовского литературного языка идет медленно. В ближайшие годы в этой области предполагается только одна работа — об анонимной грамматике 1747 г. („Universitas linguarum Litvaniae“). Между тем еще почти не исследован язык восьмитомного перевода Библии Бреткунаса (XVI в.). Мало исследован язык М. Даукши, К. Ширвидаса и других древнелитовских авторов. В настоящее время И. Палионис исследует лексику рукописной Библии Бреткунаса. В связи с 400-летием появления первой литовской книги вышел в свет сборник статей „Senoji lietuviška knyga“ („Valstybinė Enciklopedijų, Žodynu ir Mokslo Literatūros Leidykla“, 1947), в котором нужно отметить статью И. Круопаса „Mažvydo slavizmai“. В связи с 300-летием первой литовской грамматики Д. Клейна (1653—1654) была опубликована заметка Т. И. Бухене и И. И. Палиониса „Первая печатная грамматика литовского языка“ („Вопросы языкоznания“, 1954, № 2) и статья Т. Бухене в „Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko Universito Mokslo Darbai“ (1956, т. VI) и др.

Исследованию древнелитовских памятников в некоторой степени мешает и то, что некоторые из них имеются только в рукописях или в одном печатном экземпляре. Поэтому весьма важной задачей является издание и переиздание основных памятников. В 1947 г. в связи с 400-летним юбилеем первой литовской книги был вновь переиздан Катехизис Мажвидаса. В связи с 300-летием переиздается древнейшая из сохранившихся грамматика Д. Клейна вместе с переводами текста на литовский язык и с обширными комментариями. Лингвистическое значение имеет вышедшая в 1956 г. книга „Smulkioji lietuvių tautosaka XVII—XVIII a.“, в которой дается фольклорный и фразеологический материал из рукописного словаря Бродовского, а также и других лингвистических и этнографических трудов XVII—XVIII вв. Сборник подготовил Ю. Лебедис, он же автор вступительной статьи. Ведется подготовительная работа для переиздания словаря К. Ширвидаса.

Однако темпы переиздания древних текстов не могут удовлетворить все растущий интерес к истории литовского языка. Особое значение имело бы издание рукописной Библии Бреткунаса, имеющаяся фотокопия которой начинает портиться. Очень желательно было бы переиздать и другие труды Бреткунаса, Вилентаса и др. Следовало бы подумать

также о переиздании памятников древнепрусского языка, издание которых, подготовленное в свое время Траутманном, стало библиографической редкостью.

Лучше дело обстоит с исследованием современных литовских диалектов. В буржуазной Литве были изданы описания трех диалектов литовского языка: „Pagramančio tarmė“ (Kaunas, 1939) П. Ионикаса, „Lietuvių žvėjų tarmė Prūsuose“ (Kaunas, 1933) Станга-Геруллиса и „Wschodniolitewskie narzecze twereckie“ (I—III, Kraków, 1932, 1934) Я. Отрембского. За десять лет Советской власти уже подготовлено четыре описания отдельных диалектов и готовится еще три. Особенно значительна из подготовленных монографий диссертация В. Гринавецкиса „Šiuaurės vakařų dūnininkų tarmių fonetiškės ir jų raida“ (рукопись). В работе исправляются некоторые ошибки, допущенные исследователем жемайтского диалекта, уточняются границы наречий, дан хороший критический обзор истории исследования жемайтского диалекта. Автор интересно и часто по-новому ставит некоторые вопросы жемайтского ударения, его ретракции, сокращения окончаний. Это первая работа из области исторической диалектологии литовского языка. Монографии по отдельным говорам написали также И. Сенкус „Pazanavykio kapsų tarmė“, Е. Гринавецкене „Mituvo sruopo tarmė“, М. Киндурис „Изолированный литовский говор на территории Белоруссии“ (в последней исследуется говор литовцев, переселившихся в конце XIX в. из окрестностей местечка Linkmenys в Белоруссию). В настоящее время заканчиваются еще три монографии, а именно „Pakajkio dzūkų tarmė“ Е. Микнаускайте, „Linkmenų tarmė“ Я. Карделите, „Šakynos tarmė“ А. Ионайтите. К сожалению, еще слабо исследуются окраинные восточные наречия литовского языка в Белорусской ССР, которые сохранили многие весьма древние морфологические особенности.

Ценным вкладом в дело исследования литовских говоров являются также работы дипломантов Вильнюсского университета, подготовивших под руководством преподавателя З. Зинкевичюса и других 32 монографии небольшого объема, из которых особое внимание заслуживают: „Rimšes tarmė“ В. Циценайте, „Svēdasų tarmė“ В. Валунта, „Biržų tarmė“ И. Яшинскайте, „Leipalingio tarmė“ Б. Савукинас.

Наряду с исследованием отдельных диалектов большая работа ведется по созданию атласа говоров литовского языка. Материал собирается по программе Института литовского языка и литературы Академии наук Литовской ССР. Сотрудники Института АН Литовской ССР провели 15 диалектологических экспедиций, пять экспедиций провели сотрудники Вильнюсского университета, три экспедиции — сотрудники Вильнюсского педагогического института. В настоящее время уже исследовано больше 200 пунктов (из 700), расстояние между которыми в среднем 12 км. До сих пор больше всего материала собрано в юго-западных районах Литвы.

Материал диалектологических экспедиций дает хорошую основу для создания фундамента для учебника по диалектологии. Он позволяет дать и более точную характеристику отдельных говоров, чем это сделано Г. Геруллисом в „Lithauische Dialektstudien“ (Leipzig, 1930), а также А. Салисом. Подготовка такого учебника становится жизненно важной.

Если в области лексикографии и диалектологии положение в целом неплохое, то с исследованием вопросов исторической грамматики дело обстоит несколько хуже. За послевоенные годы были выполнены только две работы в этой области: З. Зинкевичюса — „Lietuvių kalbos įvardžių-

*tinių istorijos bruožai*¹ и В. Мажюлиса — „Литовские числительные и соотношение балтийских числительных с числительными индоевропейских языков“ (подготовляется к печати).

В работе В. Мажюлиса на основе обильного материала из древней литовской письменности и диалектов дается глубокий сравнительно-исторический анализ литовских числительных. Работа представляет интерес и в сравнительно-индоевропейском плане вообще. Вопросы исторической грамматики затрагивает К. Ульвидас в своей работе „*Dabartinės lietuvių kalbos prieveiksmis*“ (рукопись, одна глава напечатана в „*Vilniaus Valsstybinio V. Kapsuko vardo Universiteto Mokslo-Darbai*“, т. VI, Vilnius, 1956). Анализируя наречие в современном литовском языке, К. Ульвидас особенное внимание посвящает процессу адвербиализации падежей, рассматривая этот вопрос в историческом плане, выясняет происхождение многих наречий.

В настоящее время ведется подготовительная работа для составления новой научной нормативной грамматики. Исследуются вопросы употребления местного падежа в литовском языке (А. Лойгонайте), употребление творительного падежа (А. Рамичавичус), возвратных глаголов (П. Бернадишене), простых и местоименных прилагательных (А. Валецкене), синтаксис простого предложения (И. Круопас). Первая часть нормативной грамматики литовского языка должна выйти в этой пятилетке. Одновременно уделяется большое внимание ранее начатым работам.

В ближайшие годы появятся избранные сочинения К. Буги и И. Яблонского со вступительными статьями и комментариями.

(*И. Каэлаускас, А. Сабаляускас*)

(май 1956 г.)

¹ Печатается в данном сборнике.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- AM — „Altpreußische Monatsschrift“.
- APh — „Archivum philologicum“, I—VIII. Kaunas, 1930—1939.
- ArP — P. Arumaa. Untersuchungen zur Geschichte der litauischen Personalpronomina. Tartu, 1933.
- ArT — P. Arumaa. Litauische mundartliche Texte aus der Wilnaer Gegend. Dorpat, 1931.
- BB — „Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen“, I—XXX. Göttingen, 1877—1906.
- BEW — „Slavisches etymologisches Wörterbuch“ von E. Berneker.
- BGLS — A. Bezzemberger. Beiträge zur Geschichte der litauischen Sprache. Göttingen, 1877.
- BrB — „Biblia tatai esti Wissas Schwentas Raschta Lietuwischkai pergulditas per Janą Bretkuną Lietuvos Pleboną Karaliauciuie“, 1579—1590. Следующими буквами при данном шифре сокращения дается название отдельных книг перевода.
- Brom. — „Broma Atwerta ing Wiecznasti... Par Kuniga Mikołja Olszewski...“ Wilniuj, 1753.
- BrSt. — A. Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego.
- BrP — „Postilla tatai esti Trumpas ir Prastas Ischguldimas Euangeliu... Per Janą Bretkuna... Karaliauciuie...“, I—II, 1591.
- BS — „Balticoslavica“ I—III. Wilna, 1933—1938.
- BSL — „Bulletin de la Société linguistique de Paris“.
- DD — „Daukantas S. Darbaj senuiu Lituuiu yr Zemayciu 1822“. Kaunas, 1929.
- DK — „Литовский Катехизис М. Даукши. По изданию 1595 г., вновь перепечатанный и снабженный объяснениями Э. Вольтером“. (Приложение к 53-му тому „Записок имп. Академии наук“, № 3. СПб., 1888).
- DK(TB) — „Trumpas Budas Pasisakimo“. (Приложение к ДК).
- DLKŽ — „Lietuvių kalbos žodynas“, I—II — Vilnius, 1941 и 1947.
- DP — „Postilla Catholicka Tai est: Izguldimas Ewangeliu... Per Kuniga Mikaloiv Davksza...“ W. Wilniui..., 1599.
- Du Cange.
- Glos. med. — „Glossarium mediae et infimae latinitatis“, condit. a G. Du Cange.
- Ev. — „Ewangelie polskie y litewskie...“ Vilnae..., 1674.
- IF — „Indogermanische Forschungen“.
- KEW — „Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache“ von Fr. Kluge.
- KG — „Naujos Giesmju Knigos...“ Karalauczuje, 1705.
- KN — „Kniga Nobaznistes Krikščioniszkos...“ Kiedayniše..., 1653.
- KS — Būga K. Kalba ir senovė. Kaunas, 1922.
- KZ — „Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen“, begründet von A. Kuhn. Göttingen, 1852.
- LF — A. Bezzemberger. Litauische Forschungen. Göttingen, 1882.
- LK — „Kathechisman... “Untrukart iszspaustas Vilniui..., 1605. Цит. по изданию „Der Polnische Katechismus des Lederma und des Anonymus vom Jahre 1605 nach dem Krakauer Original... interlinear herausgegeben von E. Sittig“. Göttingen, 1929.

- LM — „Litauische Mundarten gesammelt von A. Baranowski... herausgegeben von Dr. F. Specht“, I—II. Leipzig, 1920—1922.
- LT — „Lietuvių tauta“, I—V. Vilnius, 1907—1936.
- Lfil. — „Listy filologiczne“.
- LŽTP — G. Gerullis. Stang Chr. Lietuvių žvejų termė Prūsuose. Kaunas, 1933.
- MEW — Fr. Miklosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen.
- MLLG — „Mitteilungen der Litauischen Litterarischen Gesellschaft“, I—VI. Heidelberg, 1883—1912.
- MP — „Postilla Lietuwiszka Tatay est Iszguldimas prastas... Nu isz nauia su didžiu perweizdeghimu est ižduota. Nokladu Jos Mili: Ponios Zophios paszuszves Ponios Morkuwiennes Whuczkienes... per Jokubą Morkuną...“, 1600.
- MSZ — „Mémoires de la Société de linguistique de Paris“.
- MT — „Margarita Theologica... per Simona Waischnora...“ Karaliauciuie, 1600.
- MT(PM) — „Apie popieszischkaie missche“. (Приложение к МТ).
- Mž. — Mažv y das. Seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams. Kaunas, 1922.
- NT — „Naujas Testamentas musu Pono bey Iszganytojo...“ Karalauczuje, mette 1735.
- PF — „Prace filologiczne“.
- PK — „1598 metų Merklio Petkevičiaus Katekismas 2-s leidimas (fotografinis). Kaunas, 1939.
- PS — „Punkty Kazań od Adwentu aż do Postu Litewskim ięzykiem, z wytlumaczeniem na Polskie Przez Księcza Konstantego Szrywida...“ W Wilnie..., MDCXXIX.
- PT — „Pagramančio tarmė. Aprasė P. Jonikas“. Kaunas, 1939.
- RESl — „Revue des études slaves“.
- SE — „Die Fabeln Aesopii. Zum Versuch nach dem Principio Lithvanicae Lingvae, Litauisch vertiret von Johan Schultzen... Königsberg... 1706.
- TD — „Tautosakos darbai“, I—VII. Kaunas, 1935—1940.
- TZ — „Tauta ir žodis“, I—VII. Kaunas, 1923—1931.
- VE — „Enchiridion... isch Wokiszka lieszuwa ant Lietuwiszka pilnai ir wiernai pergulditas per Baltramieju Willentha...“ Karalauczui..., MDLXXIX.
- VEE — „Eaungelias bei Epistolas... pilnai ir wiernai pergulditas ant Lietuwischka Szodzia per Baltramieju Willenta...“ Karalauczui..., MDLXXIX.
- VP — „Iszguldimas Evangeliv per wisvs Mettvs...“ 1573. Цитаты извлечены из W. Galgalat. Die Wolfenbütteler litauische postillenhandschrift aus dem Jahre 1573. Tilsit, 1900.
- ZfCeltPh — „Zeitschrift für celtische Philologie“.
- ZfSlPh — „Zeitschrift für slavische Philologie“.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Т. Лер-Славинский. Балто-славянская языковая общность и проблема этногенеза славян	5
Е. Курилович. О балто-славянском языковом единстве	15
З. П. Зинкевичюс. Некоторые вопросы образования местоименных прилагательных в литовском языке	50
В. В. Иванов. К этимологии балтийского и славянского названий бога грома	101
В. Н. Топоров. Заметки по прусской этимологии	112
О. Н. Трубачев. Из истории табуистических названий	120
В. Мажюлис. Происхождение приставки <i>da-</i> в балтийских языках	127
. Н. Топоров. Новейшие работы в области изучения балто-славянских языковых отношений (<i>Библиографический обзор</i>)	134
В. Мажюлис. К. Буга (<i>К 75-летию со дня рождения</i>)	162
Хроника. Изучение литовского языка в Литовской ССР. И. Казлаускас, А. Сабаляускас	166
Принятые сокращения	170

Вопросы славянского языкознания, вып. 3

*

Утверждено к печати
Институтом славяноведения АН СССР

*

Редактор издательства В. В. Иванов
Технический редактор Ю. Рылина

РИСО АН СССР № 59-78В. Сдано в набор 3/II 1958 г. Подп. в печать 11/VI 1958 г. Формат бумаги 70×108^{1/15}. Печ. л. 10,75=13,73. Уч.-изд. лист. 15,2. Т=35751. Тираж 2500. Изд. № 2124. Тип. зак. 543.
Цена 9 р. 10 к.

Издательство Академии наук СССР. Москва Б-64, Подсосенский пер., д. 21

1-я типография Издательства АН СССР. Ленинград В-34, 9 линия, д. 12

ЦЕНА
1 января 1961 г.
- ру. 40 коп.

УЦЕНЕНО
НОВАЯ ЦЕНА - 40

УЦЕНЕНО
НОВАЯ ЦЕНА 20